

КУЛЬТУРА  
И  
ОБЩЕСТВО  
В ЭПОХУ  
СТАНОВЛЕНИЯ  
НАЦИЙ

---



ИЗДАТЕЛЬСТВО · НАУКА ·

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ

КУЛЬТУРА  
и  
ОБЩЕСТВО  
в ЭПОХУ  
СТАНОВЛЕНИЯ  
НАЦИЙ

(Центральная и Юго-Восточная Европа  
в конце XVIII—70-х годах XIX в.)



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
МОСКВА — 1974

Редакционная коллегия:  
И. А. БОГДАНОВА, В. И. ЗЛЫДНЕВ, Ю. И. РИТЧИК

К 10605 — 0003  
042 (01) — 74 67—74

© Издательство «Наука», 1974 г.

## ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Предлагаемая вниманию читателей книга подготовлена в секторе историко-культурных проблем Института славяноведения и балканстики АН СССР. Она представляет собой сборник статей, в основу которых положены выступления на состоявшемся в феврале 1972 г. в Институте славяноведения и балканстики АН СССР всесоюзном симпозиуме «Генезис капитализма, национально-освободительные движения и формирование национальной культуры в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (конец XVIII — 70-е годы XIX в.)».

Проблемы культуры, особенно славянских стран, занимают важное место в научно-исследовательской работе института. Для более целенаправленной разработки этой проблематики в институте в 1961 г. была создана группа культуры славянских народов. Проблемы истории культуры народов славянского региона получили отражение в ряде коллективных трудов и монографий, таких, как «История и культура славянских народов» (М., 1966), «Межславянские культурные связи» (М., 1971), «Славянский и балканский фольклор» (М., 1971), М. Н. Кузьмин. Школа и образование в Чехословакии (М., 1972) и др. Однако опубликованные работы в основном касались отдельных, изолированных друг от друга сфер и отраслей культуры, разрозненных и с точки зрения проблематики, и с точки зрения хронологии. Тем не менее проделанная ранее работа явилаась закономерной и необходимой стадией специальных, конкретных исследований, позволивших вплотную подойти к комплексной разработке проблематики истории культуры и к решению методологических вопросов.

В 1970 г. в связи с общей реорганизацией и преобразованием института в Институт славяноведения и балканстики АН СССР, а также ввиду настоятельной научной потребности во всестороннем изучении истории культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы был создан сектор историко-культурных проблем. Его назначением является комплексное исследование истории культуры народов данного региона в неразрывном единстве культурных процессов с общесторическими и координация разработки историко-культурных исследований как внутри института (на базе сотрудничества многих научных дисциплин — ис-

тории, филологии, искусствоведения и т. д.), так и с другими научными учреждениями.

Расширение региона ныне дает возможность в более широких масштабах проводить сравнительно-исторические и типологические исследования. В настоящее время одним из важных направлений работы сектора историко-культурных проблем является изучение проблемы становления национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы — как становедческого характера, так и в плане соотнесения и обобщения закономерностей формирования национальных культур на материалах всего региона. В ходе этих исследований намечена разработка ряда методологических и общетеоретических вопросов, начиная с понятия «культуры», «национальной культуры», ее состава, структуры, механизмов действия, периодизации и т. д. Эта работа войдет составной частью в общеинститутскую разработку проблемы закономерностей перехода от феодализма к капитализму в пределах Центральной и Юго-Восточной Европы.

Коллективный труд «Культура и общество в эпоху становления наций» является первым опытом сектора историко-культурных проблем в разработке указанной выше проблематики. В отличие от предшествующих изданий института, посвященных более частным вопросам культуры, в данном сборнике коллектив авторов стремился — в меру возможностей — соблюсти важный методологический принцип комплексного исследования: проблемно-хронологическое единство всех работ. В данном случае такой проблемой является формирование национальных культур в эпоху образования буржуазных наций, исследуемое в тесном единстве с общественно-историческими процессами этой эпохи, с эволюцией общественного сознания и национального самосознания, хронологически заключенное в рамки конца XVIII — 70-х годов XIX в. (с учетом нарушения синхронности этих процессов в некоторых национальных культурах).

Предлагаемая книга состоит из трех разделов. Равноценное по значению место отводится как материалам по общим вопросам истории развития общественного сознания в эпоху становления наций, составившим I раздел книги, так и собственно историко-культурным, объединенным во II разделе.

В I раздел книги редакция включила только те материалы названного выше симпозиума, в которых проблематика историко-культурных явлений рассматривается как составная часть процесса формирования и эволюции общественного сознания наций (на конкретном материале истории отдельных народов данного региона). Неполнота и фрагментарность представленных в этом разделе материалов компенсируется исследованиями, опубликованными ранее в сборнике «Вопросы первоначального накопления капитала и национальных движений в славянских странах» (М., 1972), а также введенными в книгу «Общественно-политические движения в Центральной Европе в XIX — начале XX в.»,

подготовленную на основе материалов исторической части упомянутого выше симпозиума.

Содержание II раздела, составляющего ядра настоящей книги, определяется программой историко-культурной секции симпозиума. Статьи расположены в основном по страноведческому принципу.

Редколлегия сочла целесообразным завершить сборник разделом III, куда вошли материалы докладов, рассматривающих взаимодействие культур народов данного региона с русской культурой.

Предлагаемая книга, не претендуя на полноту в освещении своей заглавной темы и на окончательную завершенность истолкования тех или иных фрагментов историко-культурного процесса, тем не менее поможет, как нам кажется, ввести в научный обиход широкий материал по комплексному изучению культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы.

В дальнейшем сектор историко-культурных проблем предполагает подготовить коллективные монографии по проблемам: «Культура и нация», «Театр и становление национальной культуры», «Из истории славянских культур».



---

В. И. ЗЛЫДНЕВ

**ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР  
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  
(ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)**

В последние два десятилетия проблемы культуры привлекли внимание многих исследователей. К ним обращаются философы и социологи, этнографы и историки, литературоведы и искусствоведы, критики и писатели. В результате возникла огромная литература, рассчитанная на исследователей и на широкие круги читателей. Стали даже говорить о рождении новой области знаний — «культурологии», призванной изучать и обобщать разные явления в области культуры.

Такое повышенное внимание к вопросам культуры следует объяснить возрастшей ролью гуманитарных наук, искусства, средств массовой информации в формировании общества и человека. Наряду с этим широким значением культуры усиливается и обостряется идеологическая борьба мира социализма с миром реакции и насилия в капиталистических странах. Отсюда вырисовываются и противоположные подходы к современному состоянию культуры и к классовой оценке культурного наследия прошлого.

В буржуазной науке настойчиво проводится мысль о наличии культуры «элиты» и культуры массовой. Первая якобы предназначена удовлетворять запросы липь самых взыскательных ценителей художественных достижений, а вторая обращена к «невзыскательной» массе потребителей. По существу оба вида культуры в буржуазном обществе призваны упрочить, закрепить сложившееся привилегированное положение правящих слоев современного буржуазного общества, выхолостить классовую сущность культуры, поставив ее над классами, а творцов культуры использовать в интересах господствующих монополий.

Другая тенденция в буржуазной науке, распространяемая усиленно в последние годы, сводится к дискредитации национальной культуры и литературы как явлений сугубо «провинциальных», «старомодных» и отмирающих. На смену им выдвигается

(особенно настойчиво это проводится американской наукой) концепция «сверхнациональной» (или «наднациональной») литературы и культуры. Только такая культура, с точки зрения буржуазных идеологов, заслуживает внимания, а поэтому — распространения и изучения (см.: Р. Веллек. Американский компаративизм сегодня. «KL», 1965, № 14). Разные, на первый взгляд, концепции смыкаются в стремлении отвлечь широкие круги читателей, зрителей, слушателей (а вместе с ними и деятелей культуры, искусства) от серьезных социальных, нравственных и этических проблем современности. Они призваны выхолостить живую сердцевину культуры, ее нерв и вместо этого широко культивировать секс, опиум, разжигание чувства жестокости в отношениях между людьми.

Интерес нашего — социалистического — общества к культуре продиктован желанием воспитать подлинно творческую личность на лучших образцах. Отсюда самый живой интерес к современности и прошлому, к культуре отечественной и зарубежной.

Классики марксизма-ленинизма и деятели коммунистических партий всегда придавали большое значение проблемам развития культуры, использования ее широкими массами в целях подъема культурного уровня социалистического общества. Проблемы культуры заняли важное место в материалах XXIV съезда КПСС.

Итак, перед исследователями культуры открываются широкие перспективы, большие возможности, которые вместе с тем накладывают на нас и большую ответственность за верный выбор изучаемого направления, за концентрацию главных усилий, за методологию и уровень самих исследований. Известно ленинское положение о двух культурах, о партийности литературы и искусства, о классовом подходе к изучению этих надстроек явлений. Само понятие «культура» рассматривается разными учеными по-разному и потому бытуют самые различные его определения. Корни различия этих определений в классовом подходе к оценкам сущности культуры. По подсчетам одного буржуазного исследователя, к концу 50-х годов насчитывалось свыше 250 определений культуры.

Большинство наших ученых разделяет взгляд на культуру как на совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеком в процессе трудовой деятельности и в практике его общественно-исторического развития<sup>1</sup>. При этом материальные и духовные ценности наследуются и используются в целях прогресса всего общества.

Нельзя сказать, чтобы приведенное определение культуры во всех отношениях удовлетворяло взыскательных исследователей — философов, социологов и собственно историков культуры. Но, думается, что его вполне можно считать основой определения, позволяющей вести дальнейшее изучение разных сторон культуры и общественно-культурного процесса. В связи с появившимися новыми работами по проблемам теории и социологической сущ-

ности культуры хотелось бы заметить, что споры в литературе нередко носят несколько отвлеченный характер. Очевидно, что и в решении отдельных теоретических вопросов легче продвигаться вперед, основываясь на конкретных историко-культурных материалах. А сочетание того и другого аспектов — теоретического и историко-культурного — может в наибольшей степени помочь в преодолении как голых абстракций, так и унылого эмпиризма. Вот почему мы считаем, что вынесенная на симпозиум Института славяноведения и балканистики АН СССР проблема формирования национальных культур стран Центральной и Юго-Восточной Европы актуальна в плане историческом — для уяснения некоторых историко-культурных процессов и в плане теоретическом — для раскрытия закономерностей развития культуры на определенном историческом этапе.

Подступы к этой проблеме наметились, опыты ее разработки известны в марксистской научной литературе. Заслуживает специального внимания тот факт, что наибольший интерес к этому периоду в европейских социалистических странах проявился в первые годы народно-демократических и социалистических революций. Это было вызвано некоторым родством подъема революционного воодушевления после победы над фашизмом, сопровождавшейся широкой демократизацией движения, грандиозностью преобразований с тем, что было в годы развития и подъема национально-освободительного движения, подъема всей культурной жизни у славянских народов с конца XVIII столетия и до 60—70-х годов XIX в. и что именуется у большинства зарубежных славянских народов национальным Возрождением.

О роли и значении тех исторических и историко-культурных процессов сохранилось немало высказываний видных политических деятелей и ученых. Приведем некоторые из них. «Демократическое и республиканское наследие Христо Ботева и наших возрожденцев,— писал Г. Димитров,— нашло продолжение со стороны самого народа в лице его политических, общественных, хозяйственных и культурных организаций и это наследие восторжествовало в победе Отечественного фронта 9 сентября 1944 года»<sup>2</sup>. К. Готвальд отмечал, что эпоха национального Возрождения, наряду с гуситским революционным движением, представляет собой «самые светлые страницы нашей истории»<sup>3</sup>. В статье «Коммунисты — наследники великих традиций чешской нации» (1946) видный ученый и деятель культуры Чехословакии З. Неедлы писал: «Из среды народа вышли и наши „будители“, а не из кругов онемеченной буржуазии... Молодые люди из буржуазных кругов черпают силы не в среде буржуазии, а в народе [в качестве примера называются Маха, Немцова.— В. З.]... А Сметана, величайший из всех, становится подлинным представителем нации, он воспевает ее ширь и глубину, красоту своего чешского Отечества, великое прошлое нации, ее настоящие мечтания и рассвет недалекого будущего»<sup>4</sup>.

Вскоре после второй мировой войны в зарубежных славянских странах и у нас появилось немало работ, освещавших знаменательный исторический период Возрождения с разных точек зрения, в том числе и с точки зрения достижений в области культуры. Позднее эти интересы несколько ослабели, сместившись в одном случае к раннему периоду с целью выявления и более полного освещения предшествующих национальных завоеваний, в других — к более близким по времени к нам периодам. Отнюдь не умаляя роли других исторических этапов и периодов, следует все же сказать, что время генезиса капитализма, национально-освободительных движений, формирования наций и национальных культур изучено еще недостаточно в историческом и историко-культурном отношении, что и сейчас эта проблематика остается актуальной, важной в научном аспекте.

Освещению культурных процессов этого времени у нас посвящен ряд работ историков, литературоведов, искусствоведов и языковедов, хотя обобщающих и синтетических трудов в этой области все еще не создано. Из общих работ следует назвать в первую очередь разделы о культуре в коллективных трудах, подготовленных Институтом славяноведения АН СССР: «Истории Болгарии» в двух томах, «Истории Польши» в трех томах, «Истории Чехословакии» в трех томах, «Истории Югославии» в двух томах, а также в недавно изданных «Истории Венгрии» в трех томах и «Истории Румынии» в трех томах. Достоинство помещенных здесь разделов о культуре — небольших, но достаточно емких по содержанию — состоит в разнообразном охвате явлений культуры — от просвещения, печати и науки до литературы, искусства, архитектуры. Здесь зафиксированы наиболее значительные явления национальных культур и в этом заключается неоспоримое достоинство разделов. Но сейчас они не могут нас удовлетворить в ряде отношений. Во-первых, они лишь иллюстрируют исторический процесс, а не вскрывают его закономерности. Во-вторых, сами факты культуры даются по большей части в статическом виде, без динамики их взаимосвязи между собой и без раскрытия процесса поступательного развития. Высказывая критические замечания по разделам культуры в обобщающих исторических трудах, мы тем не менее не собираемся умалять их положительного значения, содержащуюся в них информацию. В то же время следует иметь в виду, что сам жанр подобных разделов не давал возможности ответить на многие научные вопросы о существе происходивших процессов развития культуры, что заслуживает специального внимания.

Другая группа работ по проблемам культуры славянских народов XVIII—XIX вв. содержится в коллективных сборниках, также подготовленных Институтом славяноведения АН СССР: «История и культура славянских народов» (1966), «Славянское Возрождение» (1966, часть материалов посвящена культуре), «Развитие капитализма и национальные движения в славянских стра-

нах» (1970, помещены материалы симпозиумов, в том числе и о культуре), «Межславянские культурные связи» (1971). Статьи этих сборников, содержательные сами по себе, все же носят слишком пестрый характер. Они затрагивают разные вопросы, освещают разные периоды из истории славянских культур и культурных отношений. Но они не объединяются какой-либо одной проблемой и потому остаются материалом разрозненным, хотя определенную ценность его отрицать нельзя. Такой же характер носят и доклады, подготовленные к V и VI Международным съездам славистов,— «История, фольклор, искусство славянских народов» (1963) и «История, культура, фольклор и этнография славянских народов» (1968).

Далее следует отметить работы отдельных авторов, проявляющих постоянство и целеустремленность в разработке избранных ими для изучения областей культуры зарубежных славянских народов. Широко известны труды И. Ф. Бэлзы, относящиеся к музыкальной культуре западных славян. Особенно заслуживают внимания такие его обобщающие работы, как «История польской музыкальной культуры» в трех томах (1954, 1957, 1972), «История чешской музыкальной культуры» в двух томах (1959, 1973) и его монографии о Ф. Шопене, М. Огиньском, А. Дворжаке и других польских и чешских композиторах. И. Ф. Бэлза является инициатором и организатором ряда коллективных работ по истории культуры славян и культурных отношений. Среди них специального внимания заслуживают труды, подготовленные совместно с зарубежными учеными,— «Русско-польские музыкальные связи» (1963), «Из истории русско-чешских музыкальных связей» (выпуск 1—2, 1954—1956). Эти труды — весомый вклад исследователя в одну из областей художественной культуры западных славян.

Целенаправленностью отличаются и работы последних лет А. С. Мыльникова, внимание которого сосредоточено на изучении широкого круга вопросов, связанного с истоками и развитием эпохи Просвещения в Чешских землях, с возникновением славянского национального самосознания в чешском обществе XVIII в., с исследованием предпосылок развития чешского просвещения и чешской культуры. Все это нашло выражение в ряде работ исследователя и, в частности, в его очерках по истории чешской книги — «Чешская книга. Очерки истории (книга, культура, общество)», 1971 г., и в докторской диссертации «Возникновение национально-просветительской идеологии в Чешских землях XVIII века» (1971).

Другой круг вопросов, связанных с национальным Возрождением в Хорватии и таким вершинным его явлением, как иллиризм, разрабатывается И. И. Лепциловской. Ее внимание было сосредоточено на изучении предпосылок возникновения движения иллиризма, на его характеристике с учетом разных идейных и культурных течений. В результате мы располагаем не только

ее монографией «Иллиризм» (1968), получившей одобрение научной общественности, но и рядом специальных, более частных исследований, опубликованных в изданиях Института славяноведения и балканистики АН СССР. У двух последних славистов хотелось бы отметить органическое сочетание исторического аспекта исследования с историко-культурным, что и привело к положительным результатам.

В настоящей статье нет возможности характеризовать историко-культурные исследования, относящиеся к другим периодам, хотя их опыт также имеет значение. Ограничимся здесь лишь тем, что назовем наиболее характерные труды в области, близкой нам. Это монографии Д. С. Лихачева «Человек в литературе Древней Руси» (1958), «Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого» (1962), И. Н. Голенищева-Кутузова «Итальянское Возрождение и славянские литературы XV—XVI веков» (1963), книга П. Г. Богатырева «Вопросы теории народного искусства» (1971). Опыт показывает, что к историко-культурной проблематике идут своим путем собственно историки и литературоведы, фольклористы, искусствоведы и представители других гуманитарных наук. И это представляется естественным и оправданным, ибо сам предмет исследователя культуры — явление сложное, многообразное, требующее комплексного подхода и в его изучении.

Если говорить о степени разработанности истории отдельных видов культуры, то, очевидно, следует назвать прежде всего созданные в Институте славяноведения АН СССР коллективные труды по истории польской, чешской, болгарской и словацкой литератур. В каждом из этих трудов содержатся обстоятельные разделы, касающиеся упомянутых национальных литератур периода XVIII—XIX вв. На основе обобщающих и монографических глав складывается определенная картина и литературного процесса, и его вершинных завоеваний. Естественно, что она дополняется к тому же имеющимися монографиями о писателях той поры. И тем не менее при сравнительной полноте материала даже здесь мы не можем сказать, что в историко-культурном плане эта область уже исчерпана с исследовательской точки зрения. Такие аспекты, как литература и общественная жизнь, литература и процесс развития национального самосознания, литература и ее роль в формировании нации могут и должны быть изучены более основательно, именно под углом историко-культурного рассмотрения проблем.

В последние годы появился у нас ряд монографий и по изобразительному искусству, в которых интересующий нас период представлен соответствующими разделами. Мы имеем в виду монографии Л. С. Алешиной и Н. В. Яворской «Искусство Югославии» (1969), Л. И. Тананаевой «Польское изобразительное искусство эпохи Просвещения» (1968), М. Т. Кузьминой «Искусство Румынии» (1965), Е. П. Львовой «Искусство Болгарии»

(1971). В области истории театра мы располагаем монографией К. Н. Державина «Болгарский театр» (1950), А. А. Гершковича «Поэтический театр Петефи» (1970), а также рядом более частных исследований, помещенных в научных изданиях. Кроме того, созданы работы по проблемам образования в славянских странах, из которых заслуживает специального внимания монография М. Н. Кузьмина «Школа и образование в Чехословакии» (1971), охватывающая период с конца XVIII в. до 30-х годов XX в. Дополнить этот перечень следует работами в области народного творчества, где существуют частные и более общие исследования. Кроме упоминавшейся книги П. Г. Богатырева, назовем «Проблемы славянского фольклора» Н. И. Кравцова, работы В. Е. Гусева, Б. Н. Путилова, К. В. Чистова и др. Мы привели здесь лишь наиболее характерные издания, которые относятся к истории культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы периода складывания современных наций и формирования национальных культур. За пределами настоящего, по необходимости краткого, обзора остается еще много статей, которые могут подкрепить ту же мысль, а именно — интерес к этой проблематике не ослабевает, а нарастает, и, с другой стороны, исследования ведутся преимущественно по отдельным видам культуры, а отсюда и возникает распыленность научных сил.

Коллективные труды, индивидуальные монографии, а также более частные исследования позволяют говорить, что у нас есть кадры исследователей, проявляющих устойчивый интерес к вопросам формирования и развития культур стран Центральной и Юго-Восточной Европы, что у нас есть богатый материал, заслуживающий введения в научный оборот,— особенно это относится к проблеме межславянских и русско-славянских культурных взаимоотношений. Наконец, у нас есть возможности создания обобщающих трудов, но для этого необходимо преодолеть существующую разобщенность, необходимо выработать общую программу, чтобы усилия большинства исследователей были направлены на решение основных вопросов историко-культурной проблематики.

В последнее время, с проведением проблемных симпозиумов, намечается поворот в сторону концентрации усилий специалистов разных видов культуры, но это лишь начало. Сама научная проблема требует большего. Ведь изучение процесса формирования нации, подъема общественной мысли в пору роста национального освободительного движения теснейшим образом связано с проблемами формирования национальной культуры, складывания культурных центров, распространения образования, печати и пр. А это практически означает, что есть целый ряд важных, кардинальных вопросов рассматриваемой эпохи, которые можно и даже должно решать совместными усилиями историков и историков культуры. Далее, в момент формирования нации важную роль, как известно, приобретает проблема языка — его распро-

страніїя, нормалізації как національного літературного языка, изучения. Из этого логически следует, что в орбите исследования культуры следует вовлечь и языковедов с лингво-социальной проблематикой. При этом речь должна идти не о механическом соединении представителей разных гуманитарных наук, а о творческом объединении усилий для решения общекультурных задач.

Если историки-слависты, литературоведы, в какой-то степени и языковеды, уже сейчас в состоянии перейти к сравнительно-типологическим исследованиям, поскольку уже существуют и достаточно разработаны отдельные национальные истории, истории литератур, накоплен и языковедческий материал, то в отношении истории культуры этого сказать нельзя. Здесь еще предстоит этап изучения культуры отдельных народов, изучения сквозного и по отдельным историческим периодам. Не следует упускать из виду и то обстоятельство, что изучение культуры даже одного народа — явления очень широкого, разностороннего,— несомненно, задача более трудная, чем изучение одной литературы или одного изобразительного искусства. У нас еще нет опыта, нет единых критерииев, не разработана методика исследования культуры как комплексного явления.

Трудным представляется сейчас и выделение какого-либо одного единственного направления в изучении культуры, которое бы в одинаковой степени всех удовлетворило. Но если исходить из реальных возможностей и из назревшей к данному моменту необходимости, то следовало бы выделить по крайней мере два направления в изучении этой области знаний. Во-первых, выявление общих и специфических особенностей (закономерностей) в формировании национальных культур стран Центральной и Юго-Восточной Европы и этапов их развития с середины XVIII столетия до 70-х годов XIX в. Во-вторых, исследование процесса взаимодействия формирующихся национальных культур и их связей с историческим процессом. Разумеется, между этими двумя направлениями не существует непроходимой границы. В некоторых вопросах они близки или соприкасаются, хотя в то же время каждое из них имеет свою самостоятельность.

Остановимся на некоторых спорных вопросах, получивших различное толкование в научной литературе. Когда мы говорим о формировании или становлении национальных культур в период Возрождения, мы сразу же сталкиваемся по крайней мере с двумя сложными вопросами: 1) можно ли считать, что становление национальных культур у всех зарубежных славян происходит с середины или конца XVIII в.? А разве до этого у них не было национальной культуры? 2) правомерно ли вообще применение термина «национальное Возрождение», или «славянское Возрождение», применительно ко всем зарубежным славянам? Этим термином широко пользовались буржуазные ученые, и не лучше ли, считают некоторые исследователи, оставить его прошлому?

Так сразу же ставятся под сомнение очень важные положения, которые бытуют в научной литературе.

Автор настоящей статьи присоединяется к тем исследователям, которые употребляют термин «национальное» или «славянское Возрождение». Так, в докладе к VI съезду славистов С. А. Никитин указывал на то, что «есть все основания не отказываться от него»<sup>5</sup>. И далее он писал: «Славянское Возрождение — это начальный период складывания нации, начальный период формирования национального сознания до того, как сформируется политическая программа нации. Но та культурная деятельность, которая подготавливает ее и служит формированию национального самосознания, заслуживает и внимания, и признания»<sup>6</sup>. Мы не убеждены, что это только начальный период. Думается, следует оговорить специфику польского Возрождения, ведущего свое начало с XV столетия, но в главном вполне можно согласиться. Этот термин дает возможность объединить проблемы исторического и историко-культурного характеров.

Формирование или становление национальной культуры у разных народов протекало по-разному, хронологически родственные процессы не совпадали. Неравномерность социально-экономических и политических процессов, естественно, накладывала отпечаток и на отдельные области культуры данного народа.

Если в Польше в 1773 г. была уже создана Эдукационная комиссия, выступавшая за приближение образования к потребностям общества, то в Болгарии в это время одиноко звучал призыв Паисия Хилендарского — автора «Истории славяно-болгарской» (1762) — к болгарам о необходимости распространения болгарского языка, развития просвещения. Призыв его практически стал реализовываться лишь с появлением учебной литературы в 20-х годах XIX в. и особенно с появлением в 1835 г. светских школ «на пользу всех состояний». Если в Чехии в конце XVIII в. появляется уже чешский любительский театр и к началу 90-х годов насчитывалось около 300 драм на чешском языке, то первый любительский театр в Болгарии возникает лишь в 1856 г., а в литературе насчитывается лишь несколько драм на болгарском языке. И все же при такой неравномерности можно выявить некоторые общие процессы и закономерности, которые присущи культурам всех зарубежных славянских народов, а в чем-то они могут быть распространены и на весь регион Центральной и Юго-Восточной Европы.

Вместе с ломкой феодальных отношений и вызреванием отчоплений капиталистических начинаются новые процессы и в культуре каждого народа. Прежде всего рушатся прежние религиозно-схоластические догмы, а на их место приходят идеалы разума и гуманизма. Культура отделяется от религии и приобретает светский характер. Она ломает и рушит сословные перегородки в собственной среде, которые ранее ее стесняли и ограничивали, и приобретает более широкий и демократический характер. Она

становится выразителем интересов не узкого слоя, а широких масс народа, формирующейся нации. Это и дает нам основание говорить о культуре национальной (включая сюда понятие, связанное с формированием нации, имея в виду ее народность, демократизм). А что же было до этого? Была культура польского или чешского народа, сербского или хорватского народа. Конечно, и раньше были вспышки в развитии культуры отдельных народов — достаточно вспомнить дубровницкую литературу у хорватов, Тырновскую литературную школу у болгар, выступления Яна Гуса или Коменского у чехов, наконец, целое польское Возрождение XV—XVI вв. Как отнестись к этим явлениям культуры? Они, безусловно, имеют огромное значение в жизни каждого народа, они также подготавливали почву для национальной культуры, но то был ее предшествующий этап, ее предыстория.

Интересную мысль по этому поводу мы находим в недавно изданной у нас «Истории польской литературы». В главе «Литература польского Возрождения» Л. В. Разумовская и Б. Ф. Стахеев пишут: «Гуманизм [речь идет о периоде XV—XVI вв.—В. З.] получил в Польше распространение не в радикальном мировоззренческом варианте, а в умеренно-компромиссном, не в раннебуржуазном, а в просвещенно-дворянском. Социальная база его оказалась не слишком широкой, скорее — преходящей. Та переделка, которую он произвел в общественном сознании, оказалась и в конечном итоге не слишком глубокой, во многом поверхностной, и, как показало последующее развитие, в ряде отношений обратимой»<sup>7</sup>.

Мне представляется, что наши полонисты здесь верно подметили и ограниченность процесса изменений, и возможность его обратимости в условиях, когда нет предпосылок для буржуазного развития.

Тот же процесс, который шел у всех славянских народов в пору генезиса капитализма, был уже необратим, а становление национальной культуры неуклонно шло к своему завершению, пока не выдвинуло такие вершинные явления, как Мицкевич и Шопен, как Прешерн, Караджич или Негош, как Добровский, Тыл или Палацкий, как Петефи, Ботев и др. В этом случае понятие национальная культура оказывается исторически определенным, приобретает конкретный смысл, потому оправдано его введение.

Формирование или становление национальной культуры — процесс длительный, сложный (он включает в себя разные компоненты культуры), противоречивый (в нем действуют разные тенденции, противостоящие социальные силы) и специфически протекающий у каждого народа (т. е. имеет при общей закономерности и местные национальные особенности, вызванные настоящим существованием или историческими традициями).

Когда мы говорим об особенностях, мы имеем в виду, что у каждого народа на первый план выступают, особенно на первом

этапе, разные культурообразующие факторы (ведь культура — это не только разрозненные виды ее, особенно в момент более высокого развития), которые играют огромную роль в создании общности людей в народно-психологическом отношении, общности в национальном самосознании, в образовании понятия патриотизма как явления национального.

У сербского народа роль такого культурообразующего фактора выполнял, видимо, фольклор и особенно эпические песни, которые получили столь широкое распространение с первых сборников Вука Караджича, выпущенных в 1814 и 1815 гг. («Песмарица» и «Српска народна песен» и последующие издания). Вот что по этому поводу пишет югославский литературовед М. Попович: «Многогранна миссия Вуковых сборников народных песен: культурная, национальная, эстетическая. Эти сборники ввели нас в сокровищницу общечеловеческой культуры. Они играли и роль народного объединителя, будителя единого героического порыва. В Сербии они распространяли славу далматинских и приморских герояев, в австрийских землях — непокорность гайдуков, удачу Марко и повстанческий дух. Сохранились документы, которые говорят, что в 20-е годы XIX в. Вука обвиняли в том, что народными песнями он подстрекает бунтовщические настроения и таким образом косвенно помогает восстанию этеристов в Турции»<sup>8</sup>. В другой монографии М. Попович снова возвращается к мысли о роли фольклора в национальной жизни сербов. «Если ученые писатели,— говорит он,— выражали взгляды просвещенной части сербского общества австрийских областей, то устное творчество, особенно эпические песни, отражали духовный мир и стремления всего сербского народа. Воспевая культа героизма, общенародные легенды и мифы, песни эти духовно связывали сербов всех слоев на огромной территории от Котора до Будима. Уже в XVIII в. народная эпика становится объединяющей силой сербской нации, а в начале следующего столетия она выдвигается как центральная национальная литература. Во время восстания (1804—1815 гг.) она будет вестником и орудием национальной (и социальной) революции»<sup>9</sup>.

Роль народного творчества в формировании национальной культуры огромна у всех народов. Она выявила в развитии национального самосознания, в раскрытии народных идеалов, нравственности, в народной поэтичности и мудрости. Устное творчество имело большое, можно сказать огромное, значение в развитии национальных литератур, в развитии мастерства, пробуждении эстетических чувств, художественного вкуса. Это целая область, которая ждет своих исследователей, в том числе — со стороны историков культуры.

Для чехов и словаков важным культурообразующим фактором были филология, проблемы развития чешского и словацкого языков. Не случайно у чехов в 1792 г. появляется в Пражском университете кафедра чешского языка и выдвигаются такие круп-

ные филологи, как Й. Добровский и Й. Юнгман, а у словаков — Бернолак и Штур.

У поляков, нам представляется, роль значительного культурообразующего фактора выполняли просветители. Им принадлежит не только осуществление реформ в области образования, но и развитие философии, истории, естественных наук. Деятельность Коллонтая, Сташица, братьев Снядецких — это огромное завоевание рационалистической мысли, материалистической философии, дававшей основу для нового этапа развития польской культуры. Интересно, что именно польским просветителям принадлежит идея демократизации культуры и обоснования понятия нации. «Как я думаю,— писал Езерский,— простой народ следовало бы назвать самым первым сословием нации, или, говоря прямее,— полной нацией»<sup>10</sup>.

Важным культурообразующим фактором у болгар была публицистика: воззвания и призывы, обращения, трактаты, политические выступления. Многие из них проникнуты глубоко личным отношением, подчеркивавшим значимость документа. Одним из первых таких выступлений явилось взволнованное обращение к простым болгарам Паисия Хилендарского в его предисловии к «Истории славяно-болгарской», затем эта идея отклинулась у просветителя Н. Рилского, у пламенного революционера Г. Раковского, а затем воплотилась как яркое выражение национальной и революционно-демократической мысли в публицистике Ботева и Каравелова.

Не станем категорически утверждать, что только эти факторы сыграли решающую роль в культуре упомянутых народов, но нельзя не заметить ведущих тенденций в выдвижении отдельных видов культуры у разных народов. Наша общая задача состоит в том, чтобы более определенно сказать и о сходных явлениях, и о специфических, которые ведут к пониманию национальных особенностей в жизни народа и в его культуре.

И в заключение нельзя не коснуться одной в высшей степени примечательной особенности этого периода. Мы имеем в виду богатые, разносторонние культурные связи между славянскими народами, весьма плодотворные связи русской культуры с культурой народов Центральной и Юго-Восточной Европы, а также их связей с прогрессивной западной культурой. Здесь еще многое можно по-новому осветить и в плане теоретическом — как осуществляются связи в пору формирования национальных культур,— и в плане историко-культурном. Не исчерпаны еще возможности в этом отношении наших славистических центров XIX в., где имеется не поднятый архивный материал, не освещенная периодика со множеством ценных фактов того времени.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> См.: «Философский словарь». М., 1972, стр. 196.
- <sup>2</sup> Г. Димитров. За литература, изкуството и култура. София, 1971, стр. 203—204.
- <sup>3</sup> К. Готвальд. Избранные произведения, т. 2. М., 1957, стр. 279.
- <sup>4</sup> З. Неделы. Статьи об искусстве. М.—Л., 1960, стр. 576—577.
- <sup>5</sup> «История, культура, фольклор и этнография славянских народов». М., 1968, стр. 76.
- <sup>6</sup> Там же.
- <sup>7</sup> «История польской литературы», т. I. М., 1970, стр. 23.
- <sup>8</sup> М. Поповић Вук Стеф. Каракић. 1787—1864. Београд, 1964, стр. 325.
- <sup>9</sup> М. Поповић. История српске книжевности. Романтизм. Београд, 1968, стр. 15.
- <sup>10</sup> См.: «История Польши», т. I. М., 1956, стр. 422.

Л. А. ОБУШЕНКОВА

ВЛИЯНИЕ ПОЛЬСКОГО  
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ  
НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ  
(КОНЕЦ XVIII — 60-Е ГОДЫ XIX В.)

Национально-освободительное движение отражает стремления, чаяния нации и само по себе является свидетельством наличия у определенных групп или у всего населения высокоразвитого национального самосознания. Но оно не только следствие национального самосознания, оно в свою очередь является фактором его формирования, углубления, социального распространения. Именно эта обратная связь, воздействие различных форм национально-освободительного движения польского народа на процесс формирования национального самосознания является темой данной статьи. В настоящее время эта проблема уже поставлена в польской и отчасти в советской историографии, но еще далеко не выяснена. Ввиду этого и в статье сделана попытка лишь первоначальной систематизации сведений о путях упомянутого воздействия.

Процесс развития национального самосознания в Польше проходил под влиянием тех же факторов, что и в других странах: формирования единого общенационального рынка, складывания общего литературного языка, общности территории расселения, наличия общих культурных традиций, участия в национально-освободительной борьбе. Но как факторы, определявшие развитие польского национального самосознания, так и сам процесс его развития в польских условиях обладали ярко выраженной спецификой. Свои отличительные особенности имело и национально-освободительное движение польского народа во второй половине XVIII — 60-х годах XIX в., сыгравшее значительную роль в формировании национального самосознания.

Известно, что одной из характерных особенностей национально-освободительного движения в Польше в рассматриваемый период являлся тот факт, что оно часто принимало формы вооруженной борьбы, охватывавшей значительные части всех социальных слоев формировавшейся нации. Война против правительства Екатерины II накануне разделов Речи Посполитой, национально-освободительное восстание 1794 г. под руководством Т. Костюшки против государства, участвовавших в разделах, сражения в рядах польских легионов и в составе наполеоновской армии в 1807—1809 гг. с целью добиться воссоздания Польского государства, национально-освободительное восстание 1830—1831 гг. в Королевстве Польском против царского правительства, восстание 1846 г. в Галиции и 1848 г. в Княжестве Познанском, направленные против национального угнетения поляков в рамках Авст-

рийской империи и Прусского государства, национально-освободительное восстание 1863—1864 гг. в Королевстве Польском — таков перечень хотя и неравнозначных по своему влиянию, но крупных по числу участников вооруженных выступлений поляков против национального угнетения. Разумеется, массовая национально-освободительная борьба с оружием в руках в составе легионов или национальной армии, а тем более в условиях общенационального восстания, оказывала иное влияние на развитие национального самосознания, чем национальные по форме, но в основном крестьянские партизанские выступления у южных славян или греков (например гайдуки или клефты), либо борьба за развитие национальной культуры или широкое распространение национального литературного языка как средства национальной коммуникации. В то же время национально-освободительные восстания польского народа происходили в условиях раздробления польской этнической территории на области, включенные в состав нескольких государств, и этим они отличались от выступлений народов, потерявших свою национальную независимость, но сохранивших довольно компактную территорию, подчиненную одному государству-захватчику (например, Сербия). С другой стороны, отторжение польских земель от независимого Польского государства началось с X в. и к концу XVIII в., т. е. ко времени ликвидации Речи Посполитой, уровень осознания национальной этнической принадлежности отдельными социальными слоями населения различных частей польской территории был резко дифференцирован. На северных и западных окраинах польской этнической территории, в течение десятилетий не имевших тесных контактов с центральными землями, чувство этнической принадлежности было слабее, чем у поляков, сохранивших самостоятельное национальное государство, тем более что во второй половине XVIII в. Польское государство пережило период Просвещения, во многом способствовавшего распространению национальных и патриотических идей.

Важнейшим аспектом, определившим особенности развития национального самосознания и национально-освободительного движения, были живые традиции национальной государственности, традиции 800-летней непрерывной истории самостоятельного государственного существования, активного участия в международной жизни Европы того времени, наличия абсолютистского государства, когда к нему имели отношение не только магнаты и шляхта, но и новый класс — нарождающаяся буржуазия. От других славянских стран Польшу отличало также сохранение после потери независимости тех социальных групп, потомственной элиты — магнатства, государственных и общественных деятелей,— которые являлись носителями идеи независимой государственности и самостоятельного государственного существования народа.

Точно так же по-разному влиял на процесс формирования и развития национального самосознания социальный характер ка-

ждого конкретного выступления или этапа национальной борьбы и даже региональные особенности в социальном характере национально-освободительных восстаний. Взять, например, отношение к социальным проблемам руководителей национально-освободительных восстаний 1794 и 1830—1831 гг. и соответственно участие в движении широких слоев населения или характер движения 1848 г. в Познани и Галиции и отношение к нему крестьянства, либо позицию крестьянства в разных частях Галиции в период восстания 1846 г.

На специфику национального самосознания в Польше важнейшее влияние оказало и то обстоятельство, что роль гегемона в национально-освободительном движении, как и в Венгрии, выполняло шляхетство в отличие, например, от таких народов, как словаки или словенцы, у которых вообще не было национального дворянства. Этот факт наложил отпечаток как на формирование национального самосознания, на процесс его углубления, так и на степень охвата национальным самосознанием разных социальных групп. Гегемония шляхетства в национально-освободительном движении имела двоякие последствия. Она означала быстрое развитие политических форм движения, что способствовало вовлечению в него широких слоев народа и распространению национального самосознания. Но вместе с тем она сдерживала развитие национального самосознания крестьян. Польское шляхетство было в то время наиболее образованным и мобильным сословием. По сравнению с дворянством других европейских стран польская шляхта в количественном отношении занимала первенствующее положение. В конце XVIII в. каждый шестой поляк был шляхтичом. Шляхетство обладало наибольшими материальными возможностями. Поэтому шляхетство, возглавив национально-освободительное движение, смогло придать ему большую организованность и целенаправленность, привлечь к участию в вооруженной борьбе широкие слои городского населения. С другой стороны, возглавлявшие восстание помещики, отказавшиеся от проведения аграрной реформы и наделения крестьян землей, остались для крестьян основными классовыми противниками. В результате выступление польской шляхты под национальными знаменами представлялось крестьянам чуждым для них — панским, господским делом.

Темпы проникновения национального самосознания в широкие народные массы в каждой стране зависят от поведения крестьянства в процессе национально-освободительной борьбы, от того, является ли крестьянство основной движущей силой или резервом национально-освободительного движения, союзником или потенциальным союзником ведущего слоя. Польский крестьянин раньше начинал чувствовать себя поляком там, где он сталкивался с национальной дискриминацией. Это одна из причин того, что именно в Княжестве Познанском, где польскому крестьянину-католику противостояли немецкая власть, лютеранская государственная

ство, целенаправленная германизаторская политика, идеи национального самосознания быстрее проникли в среду крестьянства, чем в других польских землях.

Хотя в конце XVIII — первой половине XIX в. польское крестьянство и являлось носителем национального языка и народной, фольклорной культуры, его национальное самосознание было развито слабо. Крестьянину легче было назвать себя католиком или жителем данной местности. У тех западно- и южнославянских народов, у которых национального дворянства не было или оно было денационализировано, почти единственными хранителями национального языка и культуры являлись социальные низы, из среды которых вырастала национальная интеллигенция и национальная буржуазия. Задача национально-освободительного движения в значительной степени состояла во внесении в этническое самосознание крестьянства понимания задач, перспектив освободительного движения. В Польше конца XVIII — начала XIX в. выразителями национального самосознания нередко выступали шляхетство и шляхетская в своей массе интеллигенция. Поэтому задачей и спецификой польского национально-освободительного движения являлось пробуждение национального самосознания крестьянства, привлечение его на свою сторону. Сказанное выше ни в коей мере не должно заслонять того положения, что основным фактором пробуждения национального самосознания в крестьянстве является ликвидация барщины, аграрная реформа. Национально-освободительное движение в Польше в рамках феодального общества в этом плане выполняло лишь вспомогательную роль. Нельзя, однако, отрицать наличия у крестьян национального самосознания. Польский исследователь С. Кеневич считает, что нельзя полагать, будто в период господства крепостного права национальное самосознание польских крестьян было равно нулю, что усилиями Т. Костюшки национальное самосознание «достигло и крестьян»<sup>1</sup>. В условиях господства феодальных отношений, сословной изолированности, весьма слабой мобильности у крестьянства преобладали классовые интересы, затруднявшие осознание ими национальных и гражданских задач.

Итак, преимущественно повстанческий характер национально-освободительной борьбы, руководящая роль шляхетства и слабое развитие национального самосознания среди крестьянства — важнейшие характерные особенности польского национально-освободительного движения в конце XVIII — 60-х годах XIX в., определившие его специфику.

Что касается национального самосознания, то в его развитии надо иметь в виду два аспекта, идущих параллельно, иногда обгоняющих друг друга и взаимопроникающих. Речь идет о развитии национального самосознания вглубь и вширь и пространственном распространении. Развитие вглубь — это формирование идеологической стороны национального самосознания, углубление понимания национальных идеалов, связи национальных идеалов

с социальными, т. е. отвечающими интересам всей нации. Развитие национального самосознания вглубь шло по этапам. Первоначальная стадия этого процесса — этническое сознание, тесно связанное с религиозным и сословным. Самосознание в этот период еще не вышло за пределы сословной замкнутости.

Следующий этап характеризуется нарушением сословных барьеров, зарождением понятий об общности более широкой, чем сословие, включающей в себя разные сословия. Осознание общности не только сословных интересов прежде всего характерно для более образованной и мобильной части населения — шляхетства. Трагедия польской государственности, потеря господствующим классом государственного суверенитета разрушили сословную самоизоляцию шляхетства. Возникла ситуация, при которой «несчастье помогло». Шляхетству понадобились союзники, новые силы, новые рычаги к ним (а не только католичество). В этих условиях вспомнили не только о третьем сословии, но даже о народе, «быдле». «При господстве феодальных отношений,— пишет польский исследователь А. Зайончковский,— у шляхты преvalировало чувство сословного единства... появление надсословного национального самосознания и эмоциональной связи требовали предварительного разрушения состояния изоляции, в которой находились отдельные социальные структуры, „встречи“ на почве совместно осознанных и прочувствованных интересов, не обязательно материальных. Документом первого акта этого нарушения состояния изоляции была конституция 3 мая. Возникли условия, в которых часть шляхты начала думать и чувствовать общепольскими категориями»<sup>2</sup>. Думается, что отдельные прогрессивно мыслящие представители шляхты, обсуждая в 70—90-х годах XVIII в. вопросы, связанные с определением понятий: «нация», «Родина», «патриотизм», и выводя понятие «нация» за рамки только шляхетского сословия, положили начало этому процессу.

Дальнейший этап в углублении идеологического аспекта национального самосознания связан с процессом его демократизации. Понимание, объем национальных идеалов поднимается на новую, качественно более высокую ступень: национальный идеал объединяется с задачей социальных преобразований. На этом этапе оформляется прогрессивное, демократическое течение, национальная и социальная программа которого является наиболее национальной, так как отвечает интересам всей нации. «...Национальное польское движение, чтобы иметь шансы на победу, должно было стать также социальным, форсируя наделение крестьян землей»<sup>3</sup>. Национальное самосознание легионеров, участников национально-освободительных восстаний все больше наполняется социальным содержанием, становится более демократическим в соответствии с передовыми европейскими учениями, конечно, с учетом местных условий. Идеология прогрессивных польских мыслителей и передовых общественных деятелей 90-х годов

XVIII в. испытывала на себе влияние якобинства. 40—60-е годы XIX в. приходятся на период деятельности «Молодой Европы», отмечены общеевропейской борьбой за создание национальных государств. Радикальное крыло «красных» в 1863—1864 гг. близко подошло к национальной программе движений, влившихся затем в I Интернационал.

Заключительный этап формирования демократического национального самосознания наступает тогда, когда чувство национального самосознания дополняется чувством интернационализма. Первые ростки этого проявились в лозунге левого демократического крыла повстанцев 1830—1831 гг. «За нашу и вашу свободу». В период восстания 1863 г. радикальная группа «красных» осуществила на практике боевой революционный польско-русский союз. Повстанцы 1863 г. дело интернациональной борьбы против тиарии продолжили на баррикадах Парижской Коммуны. Но наиболее последовательно проблема насыщения национального самосознания пониманием его связи с интернациональными задачами и революционно-демократическим содержанием решается на следующем этапе, когда зарождается социалистическое движение, в рамках пролетарской идеологии.

Развитие национального самосознания вглубь — это не только приобретение новых идей, это одновременно и отказ от старых иллюзий. История польского национально-освободительного движения и развитие прогрессивной национальной общественной мысли наглядно свидетельствуют об этом. Постепенно, путем тяжелой борьбы и больших лишений, не сразу, а после длительных размышлений и краха надежд руководители национально-освободительного движения и рядовые участники борьбы вынуждены были понять несостоенность надежд легионеров и поляков — солдат наполеоновской армии на получение независимости из рук Наполеона. Очень живучими, не преодоленными до конца многими национальными деятелями были иллюзии получить помочь в деле восстановления независимого Польского государства от европейских держав. Лишь революционные деятели и прогрессивные польские мыслители под влиянием уроков национально-освободительной борьбы смогли отрешиться от шляхетских иллюзий достичь независимости самим, без союзников, без отказа от всех либо от части сословных привилегий.

Развитие национального самосознания вглубь — процесс, в котором сочеталось появление новых представлений и отказ от старых, ошибочных, — происходил не в умах отдельных деятелей, а у поколений. Программы предшествующих движений не отвечали духу и обстановке новых движений, которые выдвигали новые требования и новых деятелей. Поэтому старые становились легендой, символом, но не программой.

Развитие национального самосознания вглубь не шло единым потоком: в нем имелось много течений, находившихся в зависимости от социальных групп, классов, политических группировок.

Отсюда и непреодоленность отдельным шляхетским национальными деятелями таких ошибочных стремлений, как националистический лозунг «от моря до моря». Развитие национального самосознания вглубь не было прямым процессом развития по нарастающей, оно включало в себя также отклонения и спады, например, после национально-освободительного восстания 1794 г. под руководством Т. Костюшки — легионерское движение, после национально-освободительного восстания 1863—1864 гг.— Пилсудский. Ряду течений в польском национально-освободительном движении в XIX в. чужды были интернациональные задачи, которые уступили место шляхетскому национализму (лозунг представителей «белого» крыла в восстании 1863 г.— «в Москву», а не «с Москвой»).

Развитие национального самосознания вширь означало привлечение на сторону национально-освободительного движения все более широкого круга лиц, представителей всех сословий.

Одновременно шел процесс пространственного распространения национального самосознания. Он начинается еще на первом этапе, но приближается к максимально массовому лишь тогда, когда национальная программа руководителей движения становится демократической. Развитие национального самосознания вширь и пространственно шло неравномерно, переживая свои подъемы и спады.

Процессы развития национального самосознания вширь и вглубь взаимно связаны друг с другом. Выше уже говорилось о том, что крестьянство с самого начала является носителем национального языка, народной культуры, но его национальное самосознание находится в первичной форме, является этническим. Крестьянство и впредь остается носителем этнического самосознания, но глубина понимания национальных идей меняется. Процесс развития и углубления национального самосознания крестьянства идет волнами. И если коренным образом изменяет самосознание крестьян аграрная реформа, выход крестьян на рынок как товаропроизводителей, усиление мобильности, получение образования, то национально-освободительное движение, особенно тогда, когда в ходе его ставились социальные вопросы, помогало крестьянам осознать себя поляками. Чем больше крестьянин убеждался в том, что для решения социальных вопросов нужно решить национальный, тем более глубоким становилось его национальное самосознание. В тех странах (например, в Болгарии, Сербии), где землей владели инонациональные помещики, национальные и социальные противоречия для крестьян были более понятны. Необходимость решения национальной проблемы для улучшения своего материального положения польский крестьянин мог бы осознать через повстанческую борьбу. Но события польской истории говорят о том, что имели место и прямо противоположные результаты.

Национальные требования горожан идут дальше возможности

говорить на родном языке. Для них важно преподавание на родном языке, свой национальный театр, музеи, пресса и т. д. Борьба за развитие национальной культуры, создание очагов национальной культуры, которые в XIX в. внесли свой вклад в развитие общеевропейской культуры (Мицкевич, Шопен), развитие польской политической мысли, с одной стороны, привлекало под национальные знамена все более широкие круги горожан, с другой — способствовало углубление национального самосознания. Развитие польского национального самосознания вширь и вглубь взаимопроникающе и в том плане, что каждый раз по новому, в зависимости от обстановки, представляются национальные задачи.

Таким образом, основным фактором развития национального самосознания вширь являлись экономические процессы: развитие капиталистических отношений, складывание единого экономического рынка. Национально-освободительное движение, массовая вооруженная национально-освободительная борьба оказывали влияние на развитие национального самосознания и вширь, и вглубь, а также на пространственное распространение последнего. Оно расширяло социальную базу сторонников и участников национально-освободительной борьбы и в то же время способствовало углублению содержания национальных задач, наполняя национальные требования социальным содержанием. Рассмотрим механизм воздействия польского национально-освободительного движения на развитие национального самосознания. В дальнейшем изложении упор будет сделан на изучение влияния вооруженной повстанческой борьбы при одновременном учете и других видов национальной освободительной деятельности.

Формы проявления национального самосознания в отдельные периоды польской истории и у разных социальных групп польского населения были различными. В 1764—1794 гг. национальная позиция выражалась в реформаторской деятельности по укреплению государственного строя Речи Посполитой, в развитии польской культуры и совершенствовании польского языка. Высшим проявлением патриотизма и национального самосознания была вооруженная борьба против захватчиков в 1792 г. и особенно национально-освободительное восстание 1794 г. После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 г. поляки, активно участвовавшие в легионерском движении и в национально-освободительных восстаниях, сознавая, что они борются за воссоздание Польского государства, несомненно, обладали развитым чувством национального самосознания \*.

\* Надо сразу же оговориться, что, во-первых, служба в легионах или в регулярной польской армии солдат из крестьян вовсе не свидетельствовала о национальных чувствах всего или определенной части польского крестьянства. Вопрос о взаимовлиянии этих двух процессов — воздействия легионеров на формирование идеологии односельчан и отражение позиций польского крестьянства во взглядах солдат-легионеров — в современности остается нерешенным.

Одновременно содействие развитию польской национальной культуры и языка, просвещения и экономики, охрана национальных традиций после потери независимости — вся эта деятельность была выражением национального самосознания. Проявлением национального самосознания у населения давно отделенных от Польши земель также было стремление к сохранению своих языковых и культурных особенностей и, наконец, осознание своей принадлежности к единому польскому народу, духовной общности жителей всех польских земель.

Вооруженная национально-освободительная борьба оказывала непосредственное воздействие на расширение национального самосознания и содействовала формированию современной польской нации. Можно проследить несколько направлений этого воздействия.

Во-первых, вооруженные выступления польского народа играли объединительную, интеграционную роль, способствовали разрушению сословной замкнутости, выдвигая в качестве общей идеи надсословный, национальный лозунг.

Объединительную роль восстаний, осознание национальной общности, т. е. преодоление социальной изолированности, нельзя оценивать однозначно, лишь в плане положительного воздействия на развитие национального самосознания. В действительности этот процесс шел параллельно с процессом отвлечения от классовых задач, что в свою очередь также накладывало отпечаток на национальное самосознание широких слоев народа и в определенные моменты задерживало процесс консолидации нации. Но необходимо учитывать сложность ситуации, так как неизбежность этого отвлечения была объективно обусловлена наличием национального гнета и весьма слабым развитием капиталистических отношений. В. И. Ленин, рассматривая суть национального вопроса для «угнетенных и капиталистически неразвитых наций», писал: «В таких нациях есть еще *объективно* общенациональные задачи, именно задачи *демократические*, задачи *свержения чуженоционального гнета*»<sup>4</sup>. При такой постановке вопроса всегда надо помнить о том, что объективно революционный процесс становится мощнее только при гармоническом сочетании обеих сторон. Тем не менее обострение национальных чувств в периоды восстаний было явлением прогрессивным.

Идея борьбы за общий идеал — польское дело — воодушевляла легионеров и солдат наполеоновских войск (вспомним слова «Песни польских легионов в Италии»: «Еще Польша не умерла, пока мы живем»). Вооруженная борьба сплачивала под национальным знаменем значительный процент польского населения.

---

менной литературе пока окончательно не решен. Во-вторых, численность участников повстанческих отрядов также не была показателем того, что все повстанцы активно поддерживали национальные лозунги. Часть из них, особенно крестьяне, записывалась в отряды потому, что так поступал помещик, часть шла по принуждению.

Из 4 млн. жителей Княжества Варшавского через ряды наполеоновской армии в 1807—1809 гг. прошло около 200 тыс. поляков. «И мы можем утверждать,— считает С. Кеневич,— что значительная часть этого войска осознала, что борется за Польшу»<sup>5</sup>. Для солдат и офицеров служба в легионах была школой патриотизма и демократических взглядов. В легионах Ю. Дембовского было около 65% крестьян, 25% мещан и 10% шляхты. Легионы строились по принципу французской революционной армии, поэтому большой дистанции между солдатами и офицерами не было. Солдат — бывших крестьян и ремесленников — обучали читать и писать, вели с ними разъяснительные беседы в патриотическом духе. Т. Костюшко писал из Парижа: «Помните, граждане, что вы являетесь зародышем (*załóżkiem*) вооруженной силы польской нации, что ваше предназначение — принести дар свободы Родине и светлую долю соотечественникам»<sup>6</sup>. Обращение к польским солдатам и офицерам как равноправным гражданам свидетельствовало о том, что руководители национально-освободительного движения в самом конце XVIII в. понимали необходимость и осуществляли на практике задачу воспитания сознательных борцов за национальное дело. Демократические порядки в армии, находящейся далеко от польских земель, способствовали установлению более тесных контактов между солдатами и офицерами, т. е. между крестьянами и мещанами, с одной стороны, и шляхтическим — с другой.

Пребывание в рядах польской армии даже в мирное время само по себе играло воспитательную роль в освоении национальных идей. В летних лагерях во время маневров добровольцы и призывники пересекали страну, завязывая всесторонние контакты с польским населением от Силезии до Вильно, от Гданьска до Львова. «Крестьянин, который прошел через армию Костюшки, Княжества Варшавского и позже Королевства Польского, вообще значительно расширял свой гражданский кругозор, узнавал, что такое Родина»<sup>7</sup>.

Национально-освободительные восстания на территории Королевства Польского также затронули значительную часть польского населения. Во время восстания 1830—1831 гг. польский народ вооружил около 140 тыс. человек, которые в течение 10 месяцев с переменным успехом сражались с самым сильным в военном отношении государством в Европе. В 1863 г. на стороне повстанцев в общей сложности выступило столько же добровольцев, которые сражались с противником в течение 15 месяцев. Солдаты повстанческой армии и добровольцы из повстанческих отрядов жили одной судьбой, совершали переходы по польской территории, имели общую патриотическую цель. Даже если повстанец-крестьянин пробыл в повстанческом отряде несколько дней и ушел из него, не принял участия ни в одной боевой операции, эти несколько дней больше обогащали его общественное сознание, чем долгие годы повседневной жизни. Пусть на короткое

время, но сознание крестьянина — участника национально-освободительной борьбы вышло за рамки чисто сословных представлений. В период, предшествовавший проведению аграрной реформы, национально-освободительное движение выполняло роль будителя национального самосознания. «Что могло объединять крепостного крестьянина из-под Кракова с крепостным крестьянином из-под Познани, если оба жили в полной изоляции? Они имели общее, объективно общее социальное самосознание, но не имели условий для совместного эмоционального переживания в рамках этого самосознания», — пишет А. Зайончковский<sup>8</sup>. В конце XVIII — первой половине XIX в. совместные эмоциональные переживания возникали у крестьян в периоды подъема национально-освободительной борьбы. Причем общность цели возникла не только и даже не столько у крестьян, сколько у представителей разных сословий.

Объединительная роль восстаний выражалась также в том, что национально-освободительная борьба всегда приобретала общепольский характер, вызывала отклики и содействие на всех польских землях. Национальные лозунги восстания 1830 г. в Королевстве Польском подняли национальный дух в Галиции и Познани. Из каждой провинции к восстанию примкнуло по 2 тыс. добровольцев. Из Гданьского Поморья в восстании приняли участие около 100 человек. Добровольцы из Королевства Польского участвовали в революции 1848 г. в Великом Княжестве Познанском. В 1863—1864 гг. в Королевстве Польском сражались добровольцы из всех польских провинций. Познанское княжество дало восстанию около 3 тыс. добровольцев, Поморье — около 500, Вармия и Мазуры — около 300 человек. Добровольцы прибывали из Кракова, Тешина, Верхней Силезии. Население пограничных польских территорий оказывало повстанцам действенную помощь. Если выше говорилось о том, что численный состав местных повстанческих отрядов нельзя отождествлять с количеством сознательных защитников национальных интересов, а, следовательно, с числом поляков, которые обладали развитым национальным самосознанием, то добровольцы, выезжавшие за границы того государства, гражданами которого они являлись, чтобы с оружием в руках бороться за польское дело, тем самым демонстрировали высокий уровень своего национального самосознания.

Большое значение для расширения социальной базы национально-освободительного движения имело оживление общественного мнения во время восстаний, пробуждение национальной мысли и включение в обсуждение национальных проблем широких кругов польского населения во всех польских землях. Сам факт начала восстания на любой польской территории концентрировал внимание общественности на этом событии. Разговоры, связанные с борьбой за независимость или выдвижением национальных требований, естественно, усиливали интерес к национальным про-

блемам вообще. Огромную роль в этом плане выполняли пресса, возвзвания, листовки, театральные представления. В период восстания 1794 г., например, пропагандой патриотических идей руководили представители национальной варшавской интеллигенции, большую роль играли и театры В. Богуславского и стихи Заблоцкого. Во время восстания 1830—1831 гг. революционизирующее влияние на настроение варшавян оказывала газета «Новая Польша» и вообще пресса Патриотического общества: «Патриот», «Польский курьер» и другие издания. Национальная и социальная проблематика восстания 1863—1864 гг. широко освещалась в возвзваниях Центрального Национального Комитета и Национального правительства и в подпольной прессе, распространявшейся на сравнительно широкой территории, охваченной движением. Особую роль сыграло манифестационное движение 1861—1862 гг. в Королевстве Польском. Патриотический подъем охватил преобладающую часть польского населения городов и местечек.

Воздействие национально-освободительных восстаний на развитие национального самосознания впирь и пространственно не было всеобъемлющим. С подавлением очередного восстания и прекращением деятельности национально-патриотических организаций волна общественного возбуждения спадала, но идеи, посеянные в умах определенной части польского населения, безусловно, продолжали жить. Нам представляется неправомерным недооценивать воздействие патриотического подъема, вызванного национально-освободительным движением 1795—1860 гг., сводя его практически только к моменту самого действия, как это делает Т. Лепковский<sup>9</sup>. Единовременный взрыв энтузиазма быстро затихал, но отнюдь не проходил бесследно. Пробуждение национального самосознания, вызванное национально-освободительными восстаниями, означало осознание населением польских земель, подчиненных ионациональному государству, национальной дискриминации в самом широком смысле этого слова. Постоянное ощущение этой дискриминации было фактором первостепенной важности в национальной жизни польских земель в конце XIX — начале XX в., ибо, по мнению В. И. Ленина, «Всякий национальный гнет вызывает отпор в широких массах народа, а тенденция всякого отпора национально угнетенного населения есть национальное восстание»<sup>10</sup>.

Во-вторых, само продвижение частей повстанческой армии или партизанских отрядов, их вооруженная борьба и связи с местным населением, способствуя усилению мобильности населения, являлись фактором национальной консолидации, воспитания чувства польской общности. Польские исследователи отмечают особую роль в пробуждении национального самосознания так называемых малых национальных маршей, связывающих борьбой, присутствием, пропагандой польские поветы и районы, воспитывающих в национальном духе народные массы. В деле пропаганды

национальных идей особенно большое значение имели марши Т. Костюшки в 1794 г., Ю. Понятовского в 1809 г., Ю. Дембовского в 1831 г., В. Врублевского и Ю. Гауке-Босака в 1863—1864 гг. И действительно, когда на смену локальным шляхетским конфедерациям пришла межссловная национальная армия Костюшки, пересекающая польские воеводства и идущая воевать за цели, понятные местному населению, то сам факт прибытия отрядов в населенный пункт имел большее пропагандистское значение, чем письменные воззвания. Отряды Ю. Понятовского в периоды наполеоновских войн, пересекавшие государственные границы, содействовали укреплению надежд на воссоздание Польского государства. Деятельность польских эмиссаров в Галиции в 1809 г. по вербовке добровольцев в армию Княжества Варшавского содействовала пробуждению патриотических чувств поляков. По воспоминаниям современников, «имена Костюшки и Домбровского, польская одежда и язык были причиной восторгов»<sup>11</sup>. Много сделали для распространения национальных идей в широких слоях польского народа крупные повстанческие отряды в 1863—1864 гг. Этому способствовало то обстоятельство, что во главе некоторых отрядов стояли деятели левого, радикального крыла партии «красных», провозглашавшие и претворявшие в жизнь демократические принципы. С другой стороны, многие отряды, формируемые такими руководителями, были наиболее демократичными по своему составу, что также облегчало им контакты с местным населением.

Большое значение для пробуждения польского национального самосознания в Гданьском Поморье имел переход по его территории интернированных повстанцев в 1831 г.<sup>12</sup> Марш в места интернирования этой армии, которой прусские власти разрешили оставить на шапках эмблему орла, явился своего рода манифестацией жизнеспособности польского народа, духовной пищей для местного польского населения. Отряды польской армии шли по территории Гданьского Поморья в течение недели и всюду на встречу им выходило польское население. Попытки прусских властей изолировать повстанцев от польского населения успеха не имели. Контакты с солдатами и офицерами устанавливались повсеместно. Беседы с польскими солдатами помогали зарождению чувства общности поляков-поморян с поляками, живущими на других землях. Мещане Эльблонга подружились с офицерами, О прочности этих отношений можно судить по тому, что в доме одного из приятелей повстанческих офицеров мещанина Шульца позже нашел убежище польский революционер Ш. Конарский.

В-третьих, восстание на любой из польских территорий содействовало развитию национального самосознания вглубь на соседних польских землях, где национальная мысль еще не получила своего широкого развития. Так, контакты с интернированными в Пруссии образованными пленными польскими офицерами в Гданьском Поморье и Мазурах в 1831 г. пробудили у местного

польского населения интерес к польской литературе. Отражение влияния повстанцев прежде всего сказалось в поэзии. Откликом на события 1831 г. явилось стихотворение Винцента Поля «Ночлег в Черске». Большую популярность в Гданьском Поморье получили повстанческие песни, особенно песни времен восстания Костюшки. Впервые после отторжения этой территории от Речи Посполитой зазвучали голоса в пользу введения польского языка в начальной школе. Результат пробуждения и углубления польского национального самосознания среди польского населения Гданьского Поморья проявился в том, что была подготовлена почва для национальной агитации на этих землях. Первые польские эмиссары начали действовать в Поморье уже в 30-х годах XIX в.

Большое значение для судей польской нации имело пробуждение народных масс, проявившееся в участии десятков тысяч поляков в выборах в прусский и австрийский парламенты, в различных общественных организациях, публичных чтениях и т. п. Особенно значительным с этой точки зрения было пробуждение польского национального самосознания в Верхней Силезии и во многих районах Поморья. Польские студенты во Вроцлаве поддержали краковское восстание 1846 г. Революция 1848 г. разбудила национальные чувства поляков. Этот год явился важным этапом в национальном возрождении в Силезии. Воспользовавшись свободой печати и организации обществ, группа интеллигентов создала в Бытоме центр польской национальной агитации. В Верхней Силезии впервые появилась польская пресса, стал издаваться «Дзенник Гурношленский», в котором говорилось о польском характере населения Силезии. Под влиянием национальной агитации двести гмин Верхней Силезии выступили с требованием введения польского языка в школах, учреждениях и судопроизводстве, там был создан национальный клуб и открыта польская читальня. Во Вроцлаве был создан общепольский (от областей, включенных в состав Пруссии и Австрии) политический съезд. Сам факт созыва такого съезда должен был подчеркивать связь Силезии со всей Польшей. Характеризуя национальную деятельность в Верхней Силезии в период революции 1848 г., С. Кеневич писал: «Эта агитация не выдвигала ни революционных, ни повстанческих лозунгов, не подготавливала вооруженную борьбу за Польшу, которая в данный момент — после поражения восстания в Познани — не имела реальных основ. Зато она открывала глаза жителям Силезии на их национальную при надежность и на старые связи с Польшей, учила, чего они должны добиваться для защиты этой национальности»<sup>13</sup>.

Вообще 1848 г. был переломным моментом в процессе формирования польского национального самосознания у населения польских земель, отошедших к Пруссии. В это время борьба с германизацией в Познанском княжестве приняла радикальные формы. Одной из особенностей национального движения этого

периода был тот факт, что национальные деятели рекрутировались по большей части не из пляхетских кругов, а из интеллигенции мещанского, а то и крестьянского происхождения. Это свидетельствовало о жизненности национальной идеи среди сравнительно широких слоев населения. Об этом же говорило и то обстоятельство, что многие массовые издания 1848 г. были предназначены для сельского населения и городских рабочих: «Курек Мазурский», «Велькополянин», «Бедаче», «Дзенник Гурношленский». Прусские власти для противодействия влиянию польских газет впервые стали издавать на польском языке ультраполятистские газеты для Познанского княжества и Верхней Силезии.

Переломным стал 1848 г. и в истории польского населения Тешинской Силезии. Март 1848 г. ликвидировал преграды, затруднявшие развитие национального движения. В начале мая начал выходить «Тыгодник Тешинский» — еженедельник, который становится центром оформления национальной программы. Еженедельник повел кампанию за введение в учреждениях польского языка и за присоединение к Галиции. Большие достижения были в области распространения польского языка, значительно возросла его роль в общественной жизни, так как вся политическая агитация велась исключительно по-польски. Постепенно из общедемократического движения выкристаллизовалась программа развития польской национальности. Революция 1848 г. ускорила также формирование национальных программ в Галиции. Оживление общественного движения, установление контактов с политическими деятелями других частей австрийской монархии содействовали оформлению польских политических партий в Галиции.

Под влиянием нарастания революционного движения под патриотическими лозунгами в Королевстве Польском в 1861—1862 гг. оживились освободительные настроения и в соседних польских провинциях. В Познанском княжестве, Поморье и Галиции состоялись массовые религиозно-патриотические манифестации, во время которых в сферу национальных интересов включилось значительное число горожан.

В-четвертых, социальная политика руководителей национально-освободительного движения оказывала непосредственное воздействие на развитие национального самосознания в ширь, так как национальная позиция крестьянства в преобладающей степени зависела от характера социальных лозунгов. Издание Поланецкого универсала в 1794 г. и попытки нарушить сословные барьеры немало содействовали тому, что не только крестьяне — солдаты польской армии, но и крестьяне-ополченцы проникались идеей борьбы за Родину, Польшу. Первая крупная победа над войсками оккупантов под Рацлавицами была одержана благодаря мужеству краковских крестьян. Изданный 7 мая Поланецкий универсал устанавливал некоторые послабления в системе личной зависимости крестьян. При условии уплаты долгов и государ-

ственной подати крестьяне объявлялись лично свободными, число барщинных дней в неделю сокращалось. Участники всеобщего ополчения на время пребывания в нем освобождались от барщины. Помещикам запрещалось отнимать землю у крестьян, выполняющих свои повинности. В универсале объявлялось о том, что помещики и экономы, нарушившие постановление, будут привлекаться к ответственности. Хотя универсал не ликвидировал основ феодального способа производства, он в значительной степени облегчал положение крестьянства и поэтому открывал возможность для участия крестьян в восстании.

Во время восстания впервые в истории Польши были созданы межсословные административные учреждения. В состав дозоров — низшей административной единицы в уездах — назначались лица любого сословия, включая крестьян. Дозоры разбирали конфликты между помещиками и крестьянами. В Кракове даже был объявлен конкурс на должности дозорцев. Социальный состав многих новых органов власти изменился, так как в них не было официального деления на сословия. Крестьяне, проявившие способности в военном деле, могли стать офицерами.

Таким образом, социальные предпосылки для привлечения крестьян и мещан к восстанию как бы были созданы. Но шляхта в подавляющем большинстве восстала против подрыва основ феодальной эксплуатации крестьянства, начался повсеместный саботаж распоряжений правительства. «Сталкиваясь с консервативной социальной программой шляхты, крестьянство отворачивалось от такого национального знамени. Оно с разочарованием отошло от поддержанного им первоначально с энтузиазмом восстания 1794 г.»<sup>14</sup>

Отказ от постановки аграрного вопроса в 1830 г. предопределил сужение социальной базы восстания. Крестьяне связывали восстание с надеждой прежде всего на отмену барщины. Но когда (уже с декабря 1830 г.) стало ясно, что барщина остается в силе, многие начали отказываться от участия даже в отрядах стражи безопасности, затем дезертировали из армии. С начала восстания наблюдались отдельные антипомещичьи выступления крестьян, которые отказывались выполнять принудительные работы; по мере развития восстания в некоторых местах антипомещичьи выступления перерастают в антиповстанческие\*. Кре-

\* С этой точки зрения заслуживает внимания оценка позиции повстанцев 1830—1831 гг.— шляхтичей, данная рядовым солдатом польской армии из крестьян. Крестьянин Казимеж Дечиньский был взят в армию за какую-то провинность, участвовал в боях, был вынужден уехать в эмиграцию, где стал учителем. В своих воспоминаниях он писал: «Напрасно польская шляхта пытается убедить крестьян в том, что она также стремится к независимости, хотя она даже никогда не думала об изменении существующей в течение веков системы. Каждый польский шляхтич предпочитет любым путем потерять половину своего имущества, нежели допустить, чтобы крестьяне в его деревне могли быть свободными от барщины».

стяне, не дожидаясь решения сейма, стали сами освобождать себя от барщины. С июня 1831 г. классовая борьба крестьян против помещиков набрала силу (в это время сейм отказался решить крестьянский вопрос). С общей позицией крестьян контрастировали отдельные факты массового наплыва крестьян в повстанческие отряды к тем предводителям, которые обещали им землю либо другие материальные льготы.

Яркой иллюстрацией зависимости национальной позиции крестьянства от характера повстанческой пропаганды являются события 1846 г. Галицийские поляки-крестьяне выступили против поляков-помещиков; краковские крестьяне в том же году оказались на патриотических позициях, так как до последних успела дойти радикальная социальная программа. Восстание в Кракове готовил Ф. Гожковский, объявляя по окрестным деревням об отмене барщины и чиншей. В манифесте Национального правительства от 22 февраля говорилось о передаче в руки крестьян обрабатываемой ими земли, отмене чинша и барщины, наделении землей безземельных участников восстания. Э. Дембовский, которому принадлежала особенно активная роль в проведении демократической агитационной работы среди крестьян, обещал землю безземельным крестьянам независимо от их участия в восстании. Оценивая итоги восстания 1846 г., К. Маркс особо подчеркнул связь национальных и социальных планов восставших<sup>15</sup>.

Аграрный декрет Национального правительства в январе 1863 г., обращения к повстанцам-крестьянам руководителей партизанских отрядов с разъяснениями повстанческой социальной программы содействовали более широкому распространению в массах национального самосознания. «Социальное значение борьбы на этот раз не только не терялось, не оставалось на втором плане, как это было в 1831 г., не растворялось в так называемом общеноциональном действии, но фактически превращало это национально-освободительное восстание, продолжающее дело предшествующих восстаний, в опрокидывающую феодальный строй революцию, какой не смогло стать ни одно восстание ранее»<sup>16</sup>. В январском манифесте Центрального Комитета говорилось о передаче крестьянам в собственность обрабатываемой земли, праве пользования сервитутами, о наделении безземельных участников восстания тремя моргами земли. Правда, помещикам было обещано вознаграждение, но это не меняло в целом прогрессивного характера документа. Дальнейший ход восстания, отношение к нему крестьянства зависели от того, насколько последовательно манифест проводился в жизнь. На территории Королевства Польского с весны 1863 г. крестьяне перешли на позиции дружественного нейтралитета, а позже кое-где — сотрудничества с партизанами. При определении численного состава повстанцев на территории Королевства Польского, привлеченных к суду за участие в восстании, выяснино, что крестьяне составляли 35,35% от общего числа репрессированных. Около 80

наиболее активных крестьян-повстанцев были казнены. Показания пленных крестьян из повстанческих отрядов иногда указывали на связь социальной пропаганды руководителей повстанческих отрядов с возросшей патриотической активностью крестьян. Видимо, не случайно самый стойкий повстанческий крестьянский отряд, руководимый Бжоской, действовал в Подлясье, где особенно сильна была демократическая агитация в канун восстания.

Конечно, всякий раз, говоря об участии крестьян в национально-освободительном движении и мотивах этого участия, необходимо учитывать несколько побочных факторов. К ним относятся и чисто антифеодальные выступления крестьянства, и принуждение со стороны помещиков либо повстанческой администрации, и временный, преходящий характер патриотического порыва. Надо учитывать и то, что ни одно польское повстанческое правительство не было в состоянии изменить аграрные отношения непосредственно в ходе восстания. Но постановка вопроса об аграрной реформе повстанческим руководством во время восстания несомненно активизировала национальную мысль крестьян.

В-пятых, национально-освободительные восстания в конечном счете определяли развитие национального самосознания вглубь, так как именно они способствовали формированию левого, радикального крыла движения. В этом плане решающую роль сыграл опыт восстания 1830 г. Анализ причин поражения восстания привел к расколу и выделению революционно-демократического направления сторонников проведения аграрной реформы. Часто национальные деятели, стремившиеся провести реформу вопреки воле ионационального правительства, в интересах народа, не могли добиться доверия крестьян.

В связи с этим Ст. Кеневич пишет: «Шляхетский демократ, идущий в народ с добной вестью, провозглашал, что паны исправились или исправятся и вместе пойдут на общего врага. Он встречал недоверие, так как гнет барщины еще существовал, а чужой чиновник умел это недоверие разжечь. Шансы на привлечение крестьян имел революционный демократ, так как он был готов встать на сторону народа против шляхтича... Именно этот пункт — дойти до крестьянина с собственной пропагандой — является главной проблемой конспирации после 1831 г.»<sup>17</sup>. Возникшая в 1835 г. в эмиграции революционно-демократическая организация «Люд польский», деятельность П. Сцегенного и Э. Дембовского в 1840-х годах в польских землях явились поворотным пунктом в развитии идеологической и социальной программы польского национально-освободительного движения, означенными начало демократического этапа в развитии идеологической стороны национального самосознания<sup>18</sup>.

Польское национально-освободительное движение в конце XVIII — 60-х годах XIX в. оказывало также опосредованное влияние на развитие национального самосознания, которое шло по нескольким направлениям.

1. Вооруженная борьба за независимость в ряде случаев заставила правительства стран, разделивших Польшу, поторопиться с проведением аграрной реформы. Специфичная связь социального с национальным в Польше, т. е. аграрной революции и национального освобождения,— самое слабое место польского национально-освободительного процесса. Аграрная реформа, проведенная правительствами захватчиков, наносила удар в это слабое место, лишая национальное движение массовой базы, приостанавливая развитие национального самосознания вширь. Но тогда вступали в действие другие факторы развития национального самосознания. Проведение аграрной реформы, превращение крестьянина в товаропроизводителя, усиление мобильности сельского населения являлись основными предпосылками пробуждения национальных чувств крестьянства. Аграрная реформа в Галиции была проведена правительством, но под натиском революции 1848 г. Этим объяснялся сравнительно широкий размах реформы, которая охватила всех крестьян-земледельцев. По реформе немедленно отменялись повинности крестьян и в пользовании последних оставались сервитуты. Хотя реформа, проведенная имперским правительством, своим непосредственным последствием имела более резкое разграничение польского общества на пана-поляка и крестьянина — верноподданного императора, новое поколение крестьян, выросшее свободным, стало более отзывчивым на национальные лозунги.

Крестьянская реформа в Королевстве Польском, также проведенная сверху, но под непосредственным нажимом национально-освободительного восстания 1863—1864 гг., была более радикальной, чем в других частях России. Она дала ускорение более быстрому темпу развития капиталистических отношений в Королевстве Польском, что в свою очередь со временем обусловило и более широкое распространение в крестьянстве национальных идей.

2. В польских землях, подвергшихся германизации, восстание 1848 г. имело своим последствием введение преподавания в начальных школах на польском языке. В 1848 г. польский язык был введен в начальных школах Тешинской Силезии, в 1849—1850 гг.— в Верхней Силезии. Обучение на польском языке содействовало развитию национального самосознания и потому, что крестьянские дети просто учили польский язык, и потому, что теперь получение начального образования не влекло за собой онемечивание, денационализацию. Воспитание целого поколения поляков в польских школах определило то положение, что усиление германизации в Силезии во второй половине XIX в. не увенчалось успехом.

3. Каждое поражение национально-освободительного движения влекло за собой гибель, высылку и эмиграцию наиболее активной части посчителей национального самосознания. Эти процессы ослабляли национально-освободительную борьбу, но не ос-

танавливали процесс развития национального самосознания. Результатом репрессий было то, что замедлялся процесс развития самосознания вглубь в польских землях, так как большая часть оставшихся в живых идеологов национально-освободительного движения вынуждена была жить в эмиграции. Перенос центра тяжести борьбы идейных течений за пределы страны, отрыв их от основной массы польского населения, в определенной мере замедлял развитие идеологической стороны национального самосознания из-за отсутствия постоянных и тесных контактов с Родиной. С другой стороны, пропаганду демократической национальной программы представители эмигрантских организаций могли вести лишь через эмиссаров, что, естественно, сужало круг лиц, охватываемых этой пропагандой, а следовательно, тормозило и развитие национального самосознания вширь.

В то же время репрессии в известном смысле играли объединительную роль. Через семьи и вообще круг близких к репрессированным шел процесс пространственного развития национального самосознания. Вот как вспоминал о влиянии рассказов на патриотическое настроение молодежи сын и внук повстанцев, будущий деятель социалистического движения Вацлав Серопшевский: «Я принадлежу к поколению, которое выросло в тени поражения 63 года. Мои глаза полны прошлых воспоминаний... Я помню произносимые шепотом, с болью и жалостью имена... сыновей, мужей, братьев... Мы, молодые поляки, предпочитали бегать в лес на одинокие могилы с поросшими мхом крестами, любили подслушивать разговоры старших, которые, убедившись, что двери закрыты, вспоминали, как это было под Бодзантыном, Маковом, Малогощем, Седльцами... Из этого молодого поколения выросло освободительное движение, которое в свою очередь должно было греметь кандалами неволи...»<sup>19</sup>. Постепенно рождался культ национальных героев — повстанческих вождей, начиная с Т. Костюшки. Традицией стало отмечать годовщины национально-освободительных восстаний, наиболее выдающихся сражений и других общенациональных дат.

В эмиграции рядовые участники восстания, если они не поддерживали тесной связи с польскими колониями и жили изолированно, быстро денационализировались. Зато эмигранты, у себя на Родине не придававшие особого значения национальным проблемам, оказавшиеся в трудных условиях жизни на чужбине, в инонациональной среде, и находящие поддержку лишь среди товарищей-поляков, быстрее, чем на Родине, проникались чувством национального самосознания.

Конец XVIII — 60-е годы XIX в. явились важной вехой в формировании польской буржуазной нации. Особенно большое влияние оказал этот период на процесс формирования национального самосознания широких слоев польского населения на всех польских землях. Причем одним из важных факторов, легших в основу этого процесса, было национально-освободитель-

ное движение. В последней трети XIX в., по мнению польских исследователей, преобладающему числу поляков было присуще чувство национального самосознания. Поражение восстания 1864 г. означало окончательную потерю надежды на завоевание независимости в ближайшем будущем. С другой стороны, восстание определило более радикальный характер буржуазных реформ 60-х годов в Королевстве Польском, что ускорило победу капиталистических отношений на польских землях. Победа капитализма, зарождение и развитие польского рабочего движения и смена шляхетского национализма буржуазным по-новому поставили национальный вопрос, определили новые аспекты в его постановке. Тем не менее особенности развития национального движения и национальной мысли в последней трети XIX — начале XX в. во многом были обусловлены характером национально-освободительного движения в предшествующий период и связанным с ним процессом формирования национального самосознания.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> S. Kieniewicz. *Świadomość narodowa*. In: «Dziejów Polski blaski i cienie». Warszawa, 1968, str. 329.
- <sup>2</sup> A. Zajączkowski. *Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce. Ideologia a struktury społeczne*. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1961, str. 95.
- <sup>3</sup> Cm. Кеневич. Польско-русский революционный союз в период восстания 1863 г. «Советское славяноведение», 1971, № 3, стр. 59.
- <sup>4</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 30, стр. 111.
- <sup>5</sup> S. Kieniewicz. *Świadomość narodowa*, str. 331.
- <sup>6</sup> Цит. по: S. Kieniewicz. *Historia Polski. 1795—1918*. Warszawa, 1969, str. 27.
- <sup>7</sup> T. Łepkowski. *Polska — narodziny nowoczesnego narodu. 1764—1870*. Warszawa, 1967, str. 225.
- <sup>8</sup> A. Zajączkowski. Указ. соч., стр. 95.
- <sup>9</sup> T. Łepkowski. Указ. соч., 309—310.
- <sup>10</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 30, стр. 113.
- <sup>11</sup> J. Chałasiński. Od narodu szlacheckiego do ludowego. «Kultura i społeczeństwo», I—III, 1969, т. XIII, № 1, стр. 3—16.
- <sup>12</sup> S. Mikos. Wpływ powstania listopadowego na wzrost świadomości narodowej na Pomorzu Gdańskim. In: «Szkice polityczno-gospodarcze». Gdańsk, 1965, str. 116—123.
- <sup>13</sup> S. Kieniewicz. *Historia Polski*, str. 185.
- <sup>14</sup> И. С. Миллер. К вопросу о формировании польской буржуазной нации. «Вопросы истории», 1952, № 7, стр. 62.
- <sup>15</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 458.
- <sup>16</sup> И. С. Миллер. Русско-польские революционные связи в период восстания 1863 г. В кн.: «История, фольклор и искусство славянских народов. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, сент. 1963)». М., 1963, стр. 121.
- <sup>17</sup> S. Kieniewicz. *Historia Polski*, str. 148.
- <sup>18</sup> В. А. Дьяков. Революционная деятельность Петра Стегенного. М., 1972.
- <sup>19</sup> Цит. по: J. Wiatr. *Polska — nowy naród*. Warszawa, 1971, str. 147.

«ЧЕШСКОЕ» И «МОРАВСКОЕ» ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ В XVII—XVIII в.  
К ВОПРОСУ О ВЫЗРЕВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ  
И РОЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИИ

За последние годы в советской исторической литературе наметилось усиление внимания к проблемам формирования этноса<sup>1</sup>. Все же далеко не все, возможные здесь, проблемы не только исследованы, но даже и названы, тем более применительно к истории западных славян. Одна из таких проблем — на каком стадиальном уровне развития этноса возможно его дробление или, наоборот, интеграция, только ли на начальных этапах его складывания или также и позднее? В данном случае нас интересует эпоха перехода от феодализма к капитализму, когда из феодальных народностей возникали современные нации. Очевидно, что постановка подобного вопроса упирается в недостаточную изученность общей эволюции того или иного национального коллектива.

С этой точки зрения история чешского народа XVII—XVIII вв. способна дать небезинтересный материал. Этому во многом способствует сохранившееся длительное время, уже после национально-политического порабощения страны австрийскими Габсбургами (1620 г.), реликтовое феодальное деление чешских коронных земель на Чешское королевство и маркграфство Моравию<sup>2</sup>. Как показано в марксистской историографии, в Чешских землях XVII—XVIII вв. происходил процесс разложения феодально-крепостнического строя и зарождались новые буржуазные отношения, что находило отражение в коренных социально-экономических и культурно-политических сдвигах. Гораздо менее известно, как, по каким путям шло формирование чешской нации, в какой связи с этим процессом находилось местное «чешское» и «моравское» общественное сознание, какие исторические альтернативы таил в себе факт его существования, к какому времени можно отнести начало переплавки сознания земского в сознание общечешское. Проблема эта, до сих пор по сути дела не разработанная<sup>3</sup>, сложна еще и из-за недостаточности источниковедческой базы. Решение ее в полном объеме — дело будущего и, возможно, лишь на основе широкого привлечения источников, которые отразили бы отношение к пробуждавшемуся самосознанию формировавшейся чешской нации различных классов и социальных групп чешского общества — горожан, крестьянских масс, складывавшихся буржуазных слоев, дворянства, духовенства, представителей австрийской бюрократии и т. п., ибо, как подчеркивал В. И. Ленин, «...лучшей проверкой... доводов является изучение отношения к вопросу различных классов общества»<sup>4</sup>. Важ-

ное место при этом занимает правильное определение очередности исследования. На наш взгляд, с учетом состояния источников, его целесообразнее начать с анализа позиции ранних просветителей, выступавших на исторической сцене в 1740-х — начале 1780-х годов и наиболее полно отразивших прогрессивные по тем временам тенденции общественной мысли и культуры Чехии и Моравии. Тем более, что вопрос о соотношении просветительского и национального был основательно запутан в чешской буржуазной историографии, а школой Пекаржа трактовался с откровенно реакционных позиций.

\*

Местная национально-культурная традиция сохранилась в Чешских землях и в период разгула феодально-клерикальной реакции XVII — первой половины XVIII в. Она находила проявление в трудах Б. Бальбина и его последователей, в выступлениях патриотически настроенных авторов из мещанской среды первой половины XVIII в., в деятельности тайных протестантов, в народном творчестве крестьянства и городских низов<sup>5</sup>. Однако формационно эта традиция была еще связана с кругом феодальных понятий, отвечая определенной (заключительной) стадии эволюции чешской феодальной народности. И потому понятно, что на первых порах развивавшаяся в Чешских землях идеология раннепросветительского типа не имела с этой традицией сколько-нибудь значительного соприкосновения. Об этом, в частности, свидетельствовала история научно-культурных объединений, возникающих в Чехии и Моравии в 1740-е годы. Так, члены оломоуцкого «Общества неизвестных литераторов» (1746—1751) проявляли одинаковый интерес к проблемам истории и культуры чехов, немцев, венгров и некоторых других народов и в этом смысле общество носило характер наднационального или, лучше сказать, межнационального объединения. Впрочем, М. Гисек ошибался, полагая, что «Общество неизвестных литераторов» было совершенно отчуждено от культурного развития Чешских земель<sup>6</sup>. Можно сослаться на предполагавшееся издание источников из чешской истории, рецензии в «Ежемесячных извлечениях» на книги по истории чешского и других славянских народов<sup>7</sup>. Внимание к изучению чешских источников проявлял и один из учредителей оломоуцкого объединения Ф. Джанини, в личной библиотеке которого имелись книги и рукописи по истории Моравии и Чехии. Но в целом интерес этот носил чисто научный характер и был далек от каких-либо намеков на пробуждение национального самосознания среди участников оломоуцкого общества. Наоборот, основная их часть сознавала свою принадлежность к немецкой культурной среде, а родным языком считала немецкий<sup>8</sup>. Показательно, например, что активный участник «Общества неизвестных литераторов» М. Зигельбауэр, пытавшийся в 1750-х годах создать в Оломоуце национальную гимназию, был членом чешской гильдии купцов и даже ее президентом.

савший о чешской истории, не владел чешским языком, пользуясь переводами, которые изготавлял для него Ф. Джанини<sup>9</sup>.

В последующие годы среди просветителей начинает пробивать дорогу осмысление Чехии и Моравии как определенных территориальных комплексов, а патриотизма как земского понятия. В таком смысле они трактовались, по-видимому, участниками пражского Философского собрания (1753—1756), не говоря уже о членах чешского, моравского и силезского экономических обществ (основанных на рубеже 60—70-х годов XVIII в.), где уже сам объект приложения сил был административно ограничен Чехией, Моравией или Силезией<sup>10</sup>.

Но процесс этот в Чехии шел несколько иначе, чем в Моравии, и проявлялся далеко не единообразно.

\*

В Чехии уже выход в свет в 1760-х годах первых томов критического комментария Г. Добнера к «Чешской хронике» летописателя XVI в. В. Гаека показал, что процесс пробуждения национального самосознания начал приобретать общественное значение. Ф. Пубичка и его приверженцы — «чехисты» — борьбу против прогрессивной позиции Г. Добнера во второй половине 1760 — начале 1770-х годов маскировали патриотическим флером. Изображая из себя спасителей национальной старины от покупок на нее со стороны «немцев», они могли спекулировать на немецком происхождении пражанина Г. Добнера. Но в исторической перспективе правда была не на их стороне. Ибо прежняя национально-культурная традиция, несшая на себе отпечаток духа контреформации, все более и более переставала соответствовать задачам дальнейшего развития чешской культуры и общественной мысли. Тем более не могло быть и речи (как, например, полагал ученик И. Пекаржа Й. Стракош<sup>11</sup>) о простой рецепции трудов школы Б. Бальбина. По справедливому замечанию Ф. Вольмана, гуманистически-барочная традиция Бальбина-Пешиньи превратилась уже у Ф. Пубички и «чехистов» в реакционный жупел, противостоявший прогрессивным течениям общественной мысли<sup>12</sup>.

Действительно, в чешской национально-культурной традиции было как бы два параллельных и взаимосвязанных ряда — патриотический и контреформационный. Оба они, представленные в мировоззрении чешских патриотически настроенных авторов из городской среды конца XVII — первой половины XVIII в., отчетливо прослеживаются и в творчестве противников Г. Добнера. Бескрылые охранители, упорно повторявшие старое, они зашли сами и завели прежнюю национально-культурную традицию в идеальный тупик. Противопоставив чувству и эмоциям просвещенческую критику и рассудок, Г. Добнер не проповедовал идей национального нигилизма или интеллектуальный сnobизм пражских «шенгейстов» 1760—1770-х годов. В его трактовке подлин-

ные интересы чешской культуры не противоречили, а в полной мере соответствовали требованиям свободного научного исследования. Позиция Г. Добнера заключалась не в «отбрасывании» патриотического начала, как полагает М. Куделка<sup>13</sup>, а в его переосмыслении, трансформации, очищении от духа контрреформации и в стремлении сочетать с такими требованиями философии Просвещения как метод научной критики и проверка общепринятых мнений судом разума, оппозиция контрреформационным оковам мышления, самоутверждение человеческой личности.

Но комментарий Г. Добнера важен не только тем, что овеществлял просвещенческое переосмысление чешской национально-культурной традиции. В ходе полемики 1760-х годов речь шла о Чехии не просто как о территории, а как о стране, коренное, исконное и основное население которой составляют чехи. Иными словами, происходило своеобразное «накладывание» национального содержания на территориальные контуры старого земского деления Чешских земель. С этой точки зрения полемика 1760-х годов еще должным образом не оценена, а между тем она имела принципиальное значение в эволюции идей чешского национального патриотизма. Дальнейшее углубление его истолкования получило в начале 1770-х годов, в период действия в Праге противостоявших друг другу сейбтианского «Общества здешних ученых» и борнианского «Общества ученых мужей».

Об отношении тех и других к национальной проблематике можно, например, судить по сравнительному анализу опубликованных в «Новой литературе» и «Пражских ученых известиях» рецензий на изданный в Праге в 1771 г. Яном Зеберером под названием «Князь Гонзик» чешский перевод пьесы немецкого драматурга И. Крюгера «Герцог Михель». Анализ журнальных рецензий, помимо несомненных удобств их сопоставления, представляет интерес еще и потому, что пьеса «Князь Гонзик» недолго перед тем была сыграна в Праге труппой Бруниана и явила практический первый раз для чешском языке, поставленной здесь на профессиональной сцене. В этом смысле и постановка пьесы, и издание ее текста рассматривались современниками как заметное, хотя и по-разному оценивавшееся событие в местной театральной и литературной жизни.

Рецензия на книгу Яна Зеберера, помещенная в «Пражских ученых известиях» и приписываемая Ф. М. Пельцлу, примечательна<sup>14</sup>. Во-первых, рецензент определенно трактовал понятие «нация» не как географическое, а как этническое целое («нация, которая совершилась своей языком...»). Во-вторых, рецензент обращал внимание читателей на славянское родство чехов и общность их языка другим славянским языкам («...чешский язык среди славянских диалектов», «...наша нация среди других славянских народов»). В-третьих, рецензент пытался провести мысль об опережающем развитии чешского литературного языка по сравнению с другими современными нациями (славянскими, фран-

цузской и немецкой) и подчеркивал, как он полагал, непосредственную его близость к классическому, греческому языку. В-четвертых, рецензент шел на смещение исторической перспективы для подтверждения своей точки зрения об изначальном высоком уровне политического и культурного развития чехов среди других славян («... наша нация среди других славянских народов была первой, у кого появились обычай, формы правления и т. д.»). В-пятых, рецензент сознавал, что в начале XVII в. чешский письменный язык переживал стадию упадка, и призывал патриотически настроенных людей содействовать его развитию и обогащению, в частности, выпуском переводной литературы и внедрением в литературный язык новых слов по примеру переводчика «Князя Гонзика». Таким образом, все в этой рецензии — и наивно-тенденциозные преувеличения, и совершенно правильная оценка славянского родства чешской культуры и языка — свидетельствовало о четко выраженных национально-патриотических настроениях автора рецензии.

В отличие от последней, рецензия в «Новой литературе» производит впечатление в большей мере отзыва на спектакль, нежели на книгу. Но в главном она, пожалуй, совпадает с рецензией «Пражских ученых известий». Подобно рецензенту последних, автор отзыва в «Новой литературе» стоит на почве понимания нации не в государственном, а в этническом смысле. В самом деле, этот отзыв одобрительно отмечал желание переводчика «дать нации пьесу на ее собственном языке», т. е. по-чешски, подчеркивал «непреодолимые трудности» произношения чешского текста «для иностранцев», а в труппе Бруниана играли преимущественно немецкие и итальянские артисты<sup>15</sup>; чешский язык, на котором игралась пьеса, называл «земским языком», а переводчику рекомендовал «обогатить свою Родину», т. е. Чехию, «большим числом удачных переводов» с других языков; паконец, с похвалой отзываясь о литературных данных переводчика (того же мнения держался и рецензент «Известий»), автор «Новой литературы» призывал Яна Зеберера составить «чешский словарь» для обогащения им нации<sup>16</sup>. Этот круг проблем, с большей или меньшей степенью подробности поднятый на страницах «Новой литературы», позволяет заключить, что автор рецензии на пьесу «Князь Гонзик» тоже стоял на позициях национального истолкования понятия «нация», «Родина», «патриотизм». Конечно, по степени широты и смелости постановки вопросов эту рецензию невозможно сравнивать с заметкой в «Пражских ученых известиях», сумевших использовать «Князя Гонзика» для осмысливания ряда принципиальных проблем прошлого и современного положения Чехии и ее культуры, для подчеркивания славянской общности чехов. Ничего этого нет в «Новой литературе».

Но в некотором смысле помеченная в ней рецензия более примечательна хотя бы уже тем, что исходила из журнала, находившегося под контролем сейбтианцев. Это, в частности, побуж-

дает пересмотреть прямолинейный взгляд на К. Сейбта просто как на «приверженца внеавстрийского немецкого культурного развития»<sup>17</sup>. Последователь идей немецкого Просвещения, он был сторонником их внедрения в чешскую среду и в силу этого стоял на позиции территориального, т. е. земского осмысления патриотизма.

Учитывая сказанное, следует, видимо, отказаться и от полного отождествления «шенгейстов» с сейбтианцами и пересмотреть чрезмерно категорическое отлучение последних от чешского культурного развития: и тогда, и позднее сторонники немецкого Просвещения в Чешских землях играли немалую роль в ознакомлении местного общества с новейшими течениями зарубежной просветительской мысли. На определенном этапе и общеавстрийское (в духе идей И. Зоненфельза) истолкование понятия патриотизма играло относительно прогрессивную роль. Однако постепенно нараставший правительственный курс на внедрение немецкого языка как цементирующей силы государственного единства вел в конечном счете к дискредитации зоненфельзианства в глазах чешски мыслящих просветителей. В известной мере именно поэтому в 1770-е годы в разработке национально-просветительской идеологии был сделан существенный шаг вперед.

Наиболее интересным с этой точки зрения документом был четырехтомный биографический словарь «Портреты чешских и моравских ученых и художников» (1773—1782). Анализ этого словаря, выходившего на протяжении целого десятилетия, дает возможность установить преемственность развития национально-чешских идей в один из наиболее значительных периодов идейной эволюции. Патриотические намерения показать давние традиции науки и культуры Чешских земель не только явились ближайшим побудительным поводом к созданию портретов, но многократно и открыто формулировались их составителями и авторами — И. Борном, Ф. М. Пельцелем и особенно М. А. Фойгтом. В связи с интересующей нас проблемой постараемся выяснить, какой смысл вкладывали они в такое понятие, как «Родина», «Отечество»? Обращаясь для ответа на поставленный вопрос к рассмотрению круга лиц, чьи биографии вошли в словарь, видно, что с точки зрения национальной принадлежности они могут быть разделены по крайней мере на три группы. Во-первых, ученые, художники, композиторы — чехи по национальности. Во-вторых, лица других национальностей, по своему происхождению или рождению связанные с Чешскими землями. В-третьих, лица, ни по национальной принадлежности, ни по происхождению с Чешскими землями не связанные. Включение биографических очерков такого рода обычно пояснялось. Таким образом, можно заключить, что к «чешским и моравским ученым и художникам» авторы «Портретов» в принципе относили членов данного национального коллектива. И аллегорический фронтиспис художника Яна Бальцера (лежащий лев в короне) нельзя рассматривать

как простую дань феодальной символике, в отрыве от национальной структуры Чешских земель. Разве не писал с одобрением в предисловии к первому тому Ф. Пельцель, обращаясь к гр. Марии Ностиц-Коловрат, что она не отвыкла «от оборотов родной [т. е. чешской.— А. М.] речи», что она «не стыдится сегодня разговаривать на языке князя Пшемысла из Стадиц, князя Вацлава Святого и их преемников...». Эти мысли неоднократно получали конкретизацию в статьях, написанных для «Портретов» Ф. М. Пельцелем и М. А. Фойгтом. Сказанное дает возможность заключить, что слова «Родина» и «Отечество» трактовались авторами «Портретов чешских и моравских художников» как понятия в первую очередь этнические, национально-чешские. Если в «Пражских ученых известиях» собственно просветительские идеи отчасти еще как бы превалировали над чешским патриотическим мышлением, то «Портреты» стали дальнейшим шагом по пути синтеза обоих этих понятий. В этом, между прочим, и заключалось коренное отличие национального мышления ранних чешских просветителей от представителей школы Б. Бальбина.

Разоблачить клевету или презрительно-снисходительное отношение недругов, показать окружающим народам, особенно немецким соседям, богатые национально-культурные традиции Чешских земель, поднять их престиж, пробудить у соотечественников гордость за своих чешских предков — таково содержание и смысл чешского патриотизма времен «Портретов». При этом идеи патриотизма, не противореча идеям просветительским, выступали в своеобразном сочетании, синтезе с ними: в «Портретах» отчетливо видно воздействие таких просветительских идей, как вертерпимость, культ мыслящего рассудка, эмансипация личности и т. п. Курс на сочетание патриотических идей с идеями просветительскими, сознательно избранный авторами словаря, был в их глазах одним из проявлений «образа мыслей нашего философского столетия»<sup>18</sup>.

Этим же стремлением к сочетанию, синтезированию национально-патриотических и просветительских идей была также пронизана деятельность «Частного общества» и ведущих его участников в 1770-е годы — Г. Добнера, Фойгта, Ф. Пельцеля, Ф. И. Кинского, И. Борна и др. Патриотизм, проповедовавшийся ими, носил не земский, как до сих пор часто считается<sup>19</sup>, а преимущественно национальный характер, хотя, разумеется, в конкретном его осмыслинии между отдельными участниками и существовали некоторые расхождения. Так, Фойгт в работах 1770-х годов определенно исходил из национально-патриотической трактовки истории чешской культуры, подчеркивая древность межславянских связей<sup>20</sup> и противопоставляя чехов немцам<sup>21</sup>. И для Ф. Пельцеля история Чехии — не только политическая история народа, но и история его культуры и языка<sup>22</sup>. Во-первых, он признавал факт проживания в Чешских землях, кроме чехов, еще и немецкого меньшинства, обычай и язык которого отличались от обычаем и

языка коренного населения. Обращение Ф. Пельцеля при этом к истории именно чешского народа лишний раз свидетельствовало, что он трактовал патриотизм в национальном духе. Во-вторых, он давал картину распространения в Чешских землях чешского и других языков (латинского, немецкого, французского) в географическом, административно-территориальном и в социальном отношении. По словам Ф. Пельцеля, среди ученых, т. е. в кругах научной интелигенции, наиболее распространена латынь, в среде дворянства — французский язык, отчасти употребляемый зажиточными слоями мещанства, тянувшегося к шляхте; немецкий язык используется мещанско-бюргерскими кругами, наконец, «ис浓厚ные жители Чехии» говорят по-чешски — это часть мещанства, «чернь», т. е., очевидно, городской плебс и крестьянство. В-третьих, очень важны суждения Ф. Пельцеля о положении и значении чешского языка. Он сожалел, что чешский язык почти вышел из официального употребления и применяется лишь при некоторых формальных актах, что этот язык «неуважаем» (т. е., несомненно, дворянством и правительством) в отличие от языка «государя и двора». Считая такое отношение к чешскому языку неправильным, Ф. Пельцель стремился подчеркнуть его достоинства как по выразительности богатого словарного запаса, так и по синтаксису, что ставило его, по словам автора, на один уровень с классическими языками и едва ли не выше современных европейских языков.

Провозглашая подобные взгляды, Ф. М. Пельцель стремился не только пропагандировать, но и показывать их жизненность на практике<sup>23</sup>. Наконец, в-четвертых, Ф. Пельцель задумывался над перспективами развития чешского языка, исходя при этом из факта славянской общности чешского народа.

К сожалению, об отношении к национальным идеям со стороны других членов Частного общества судить труднее, поскольку сама по себе тематика естественнонаучных и математических статей не давала их авторам более или менее определенно высказываться о смысле их патриотических представлений. Интересны, например, предисловия И. Борна к очередным томам «Трудов» Частного общества (1775—1777), где упоминались кружки чешских гуманистов XV—XVI вв., подчеркивались патриотические идеалы общества, «патриотическое рвение к распространению наук и к славе своей Родины», под которой понималась Чехия. Если при этом собственно национально-культурные аспекты патриотических настроений И. Борна выглядят не вполне четко, то во всяком случае считать их, как это делает, например, Оти, «типичным земским патриотизмом» нет никаких оснований. Уже в подчеркивании древности культурных традиций Чехии и высокого уровня науки в прошлом чувствовалось влияние М. А. Фойгта. И то, что эти мысли повторялись руководителем Частного общества в программных статьях, делало их программными.

Ценностью уже не косвенного, а прямого источника для вы-

яснения интересующего нас вопроса обладал трактат Ф. И. Кинского (члена Частного общества и коллеги Борна по занятиям минералогией), вышедший в Праге на немецком языке под названием «Напоминание об одном важном для чеха обстоятельстве» в 1773 г., т. е. в канун начала деятельности общества<sup>24</sup>, и переизданный в следующем году<sup>25</sup>.

Свои исходные позиции Кинский формулировал с первых же строк трактата, когда утверждал, что воспитание дворянской молодежи страдает, если игнорируются обычаи, законы и культура той страны, в которой она проживает<sup>26</sup>.

Ф. И. Кинский постоянно стремится показать, обнаружить перед читателем свои чешские — национальные, а не территориальные только — симпатии<sup>27</sup>. Этот взгляд положен им и в основу рекомендуемой системы воспитания, пронизанной многими руссоистскими идеями. При этом он ссыпался и на некоторые общеславянские аспекты современных чешских обычаяев. «Так как, однако, по большей части,— замечал Ф. Кинский,— придерживаются противоположного мнения и мои славянские идеи о воспитании вообще не очень совпадут с общепринятым мнением, то я, не собираясь начинать спора по поводу того, что чех собственно должен знать родной язык, хочу лишь в общих словах утвердить пользу, какую из этого можно извлечь»<sup>28</sup>.

Подчеркивание достоинств чешского языка приводит Ф. И. Кинского к необходимости подчеркивания и достоинств чешского народа<sup>29</sup>. И не удивительно, что, выступая апологетом чешского языка, сам Кинский со всей определенностью и в известной мере демонстративно именовал себя чехом, славянином<sup>30</sup>. Подобные национально-патриотические воззрения Ф. И. Кинский отстаивал и в разделе, посвященном преподаванию истории<sup>31</sup>.

Ф. И. Кинский не ограничивал проблемы патриотизма только областью гуманитарных наук, привлекая данные и из области естественных наук<sup>32</sup>.

\*

Несколько иным было освещение проблем национального самосознания просветителями в Моравии. До сих пор остается неясным, какой смысл вкладывали моравские авторы, в том числе такие, как Й. В. Монсе и А. Габрих, находившиеся под влиянием просветительских идей, в понятие «Родина» и каково реальное содержание отстаивавшихся ими идей национального (не в смысле ли средневековой *natio*?). Здесь возможно несколько вариантов. Во-первых, это могло быть чешское по сути самосознание, лишь территориально развивавшееся в моравском регионе. Во-вторых, в обстановке менее, чем в Чехии, осознанных черт национальной культуры оно в потенциале давало возможность альтернативному — национально-чешскому и национально-моравскому развитию. Либо, наконец, обладало особенностями, ставившими его на положение промежуточного явления между чеш-

ским и славяно-моравским самосознанием. Ответ на поставленные вопросы важен, особенно памятую о преимущественно немецком облике массы моравского мещанства и городской жизни в целом, еще пронизанной вдобавок идеями клерикализма<sup>33</sup>. «Известны частые сетования наших будителей на равнодушие и национальную несознательность мораван в первой половине XIX века,— писал М. Гисек.— Более оживленная национальная жизнь началась в Брно только в 30-х годах и душой ее был Клацель и Шембера»<sup>34</sup>. Но, если М. Гисек говорил так применительно к Моравии и ее административному центру первой половины XIX в., то что же следовало бы сказать о более раннем времени и, в частности, о 1770-х годах?

На этот счет нет единого мнения. Ф. Шмакел, например, считал, что в XV и последующих столетиях «мораване зовутся мораванами, а не чехами, их Родиной остается Моравия, но не Чехия в широком смысле слова, их язык, несмотря на то что это был чешский язык, называется „моравский язык — lingua, idioma moravica“»<sup>35</sup>. В сходном направлении строит свои наблюдения Л. Гавлик: «...Моравская среда сохранила свою специфику и свою жизнеспособность, весьма часто проявлявшуюся на протяжении всего средневековья. Перелом к образованию современной нации в Моравии, общей с Чехией (т. е. чешской), связан с культурно-политическими отношениями XVII—XIX вв.»<sup>36</sup> До сих пор, как справедливо подчеркивает тот же автор, связь возникавшего в Моравии сознания «языковой близости мораван с окружающими славянами остается открытым вопросом»<sup>37</sup>.

В какой-то мере ответ на этот вопрос дает анализ позиции И. В. Монсе, которого принято считать одним из наиболее видных и до известной степени типичных представителей просветительского движения в Моравии 1760-х — 1780-х годов.

Лекции И. Монсе по чешско-моравскому праву, которые он читал в Оломоуце с 1768 г., оказывали большое воздействие на слушателей и вместе с тем толкали самого автора на путь более широкого и глубокого изучения прошлого культуры Моравии. Об этом свидетельствовали его труды последующих лет. Так, в предисловии к трактату о публичном праве моравского маркграфства И. В. Монсе сокрушался скудостью литературы о Моравии и писал о желательности переиздания работ старых авторов (Т. Пешины). Он выражал надежду, что Ф. М. Пельцель примется за написание «Краткой истории Моравии» наподобие его «Краткой истории Чехии».

Предисловие проникнуто горячими патриотическими настроениями. И. В. Монсе провозглашал, что с чувством любви к Родине может спорить разве что религия и что воспитание любви к Отечеству является залогом успешного служения ему<sup>38</sup>. Заслуживает упоминания, с каким интересом следил И. В. Монсе за разработкой моравских сюжетов пражскими историками. Так, он переиздал отдельной брошюрой статью Г. Добнера о времени

возникновения маркграфства Моравии, в издательском предисловии подчеркивая важность работы для «наших моравских патриотов»<sup>39</sup>. На первом месте у Монсе всегда стояла Моравия — даже перед смертью он думал о ней. «В последний день перед его кончиной,— как свидетельствовал И. Добровский в некрологе И. В. Монсе,— я посетил его, поскольку как раз по дороге из России проезжал через Оломоуц. Он приподнялся и собрал все силы, чтобы осведомиться, не сделал ли я каких-либо письменных открытий по части моравской истории»<sup>40</sup>. Вместе с тем И. В. Монсе осознавал историческую общность Моравии и Чехии.

В этом надо искать истоки его призыва к Ф. М. Пельцелю написать по примеру «Краткой истории Чехии» «Краткую историю Моравии», отсюда весьма подробное и сочувственно сообщение о церковной и литературной деятельности гуманиста XV — начала XVI в. Богуслава Лобковица<sup>41</sup> и т. д. Моравские настроения пополнялись у Монсе общеславянскими нотками<sup>42</sup>.

Весьма близка к И. В. Монсе позиция А. Габриха, как можно заключить из контекста его трудов. Оба они, безусловно, трактовали Моравию не просто как земское, государственно-правовое понятие, а как этническую Родину живущего здесь и родственного чехам славянского населения. Но, видимо, к определенному осознанию не только исторической общности, но и национального единства Чешских земель они в рассматриваемый период еще не пришли, хотя объективное развитие шло именно в этом направлении. Несколько годами позднее И. Добровский уже не проводил резких различий между «чехами» и «мораванами». Относя тех и других к единому этносу, он в письме к Антону 28 августа 1789 г. писал: «Все книги, которыми мораване себя обслуживают, являются чешскими. Когда мораванин пишет, что он употребляет провинциализм своего края, для него чешское и моравское, если речь идет о книгах, суть синонимы»<sup>43</sup>. Любопытно, что он стоял ближе не к Монсе или Габриху, а к Т. Пешине, который еще в конце XVII в. писал о чешском языке как о языке мораван.

\*

Подводя итоги, можно со всей определенностью утверждать, что уже в наследии ранних просветителей, до И. Добровского, национально-чешское мышление занимало вполне определенное и субъективно осознанное место, постепенно развиваясь и уточняясь от земского (территориального) через земско-национальное (этническое) к общечешскому. Процесс этот далеко не всегда был отчетливо выражен, и различное истолкование названных понятий в одно и то же время и даже одними и теми же лицами — явление не столь уж редкое. Но как таковой он достаточно точно прослеживается по выступлениям просветителей, в основном отражавшим настроения городской среды и лишь в исключительных случаях — части дворянства (Ф. И. Кинский),

с 1760—1770-х годов. Открытым пока остается вопрос о характере национального самосознания, бытавшего в среде крестьянства и городских низов, и об отношении к нему со стороны ранних просветителей. В этой связи примечательна реплика рецензента «Пражских ученых известий» в отзыве на издание пьесы «Князь Гонзик». Советую впредь Яну Зебереру переводить на чешский язык сочинения немецкой просветительской литературы (Геснера, Геллerta), рецензент сделал удивившее многих позднейших исследователей добавление: «Возможно, многие тогда забудут свои гуситские книги, которые читают по большей части со скуки и потому, что те написаны на их родном языке». Видеть в этом отголоски контрреформационных настроений нет оснований, так как для просветителя «гуситские», т. е. в широком смысле протестантские книги, естественно, не могли ассоциироваться с «полезными», т. е. распространявшими научные, рационалистические, современные этические идеи. Важнее, что рецензент считал внедрение подобных идей в широкие, по-чешски читающие массы делом первостепенной важности. Отсюда его желание противопоставить «гуситским» книгам переведенные на чешский язык образцы зарубежной просветительской литературы.

Национальное мышление просветителей имело тенденцию к интеграции, к выработке общечешских представлений, относящихся и к собственно Чехии и к Моравии. Но при этом у моравских просветителей мы видим еще региональное, «моравское» сознание, которое они, впрочем, активно не противопоставляли сознанию общечешскому. Такая их позиция, по всей вероятности, отражала социально-экономическую и культурно-политическую своеобычность Моравии и вытекавшую отсюда возможность двух тенденций, из которых одна, центростремительная, вела к чешско-моравской интеграции, а вторая, центробежная, давала потенциальную возможность обособления Моравии в качестве родственного чехам, но самостоятельного этноса. Никто из приверженцев просветительской идеологии в рассматриваемые десятилетия последнюю альтернативу не поддерживал. Наоборот, потребности экономического развития (в том числе рост внутреннего рынка в пределах Чешских земель), интересы борьбы за национальное освобождение, сила исторических традиций и др. подобные факторы привели к возобладанию объединительной тенденции. И хотя региональное «моравское» сознание сохраняло тогда и позднее свое значение, выбор был сделан в пользу общечешского развития.

Подобная мозаичность, можно даже сказать — калейдоскопическая неустойчивость, отражала начальный этап формирования чешской нации, когда переплавка различных социальных и региональных разновидностей в проявление национального общечешского самосознания не завершилась. В то же время пример Чешских земель еще раз показывает, что формирование этнических общностей — необычайно сложный процесс, зависящий в каждый

данный момент от множества объективных и субъективных факторов, повышающих роль исторической альтернативы в складывании тех или иных национальных комплексов. Выявление соответствующих ситуаций необычайно существенно для выведения общих закономерностей этнического развития.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> В. П. Алексеев, Ю. В. Бромлей. К изучению роли переселений народов в формировании новых этнических общинств. «Советская этнография», 1968, № 2, стр. 35—45; Л. Н. Гумилев. Этногенез и этносфера. «Природа», 1970, № 1, стр. 46—55; № 2, стр. 43—50; Ю. В. Бромлей. К вопросу о сущности этноса. «Природа», 1970, № 2, стр. 51—55.

<sup>2</sup> Мы исключаем из рассмотрения третью коронную землю — Силезию, так как большая часть ее после войны за австрийское наследство 1740-х годов перешла под господство Пруссии. Оставшаяся в составе королевских Чешских земель ее небольшая часть постепенно, уже в XVIII в., экономически и административно слилась с Моравией. Вообще же специальное исследование силезского этноса — задача чрезвычайно важная.

<sup>3</sup> Наиболее близкое отношение имеет вопрос о трактовке понятия патриотизма как важного аспекта общественной мысли XVIII в. в связи с проблемой соотношения «просветительского» и «национального» (см.: «Filosofie v dějinách českého národa». Praha, 1958, str. 109—110; F. Cervinka. Český nacionálismus v XIX st. Praha, 1965, str. 8—9; «Kapitoly z českých dějin», т. 1. Praha, 1968, str. 135—136 и др. Эти вопросы получили также попутное и частью весьма спорное освещение в кн.: «Slovanství v národním životě Českh a Slováků». Praha, 1968.

<sup>4</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, стр. 278.

<sup>5</sup> См.: А. С. Мильников. Идеально-политические предпосылки зарождения национально-просветительской идеологии в Чешских землях. В кн.: «Славянское возрождение». М., 1966, стр. 3—47.

<sup>6</sup> M. Hýsek. Z počátků vědeckého badání obrozenství. Praha, 1913, str. 7.

<sup>7</sup> «Monathliche Auszüge alt- und neuer gelehrten Sachen», Bd. 1, 1747, S. 182—206; Bd. 2, S. 885—894.

<sup>8</sup> Там же, стр. 24.

<sup>9</sup> J. Hanuš. M. A. Voigt, český buditel a historik. Praha, 1910, str. 62.

<sup>10</sup> В силу скудости сведений наименее ясно этот процесс прослеживается в масонском движении. По словам Е. Лешеграда, все масонские ложи, как в Чехии, так и в Моравии, до 1780-х годов якобы не имели связи с национальными устремлениями (см.: E. Lešehrad. Tajné společnosti v Čechách od nejstarších časů do dnešní doby. Praha, 1922, str. 51).

<sup>11</sup> J. Strakoš. Počátky obrozenství historismu v pražských časopisech a M. A. Voigt. Praha, 1929, str. 14—15.

<sup>12</sup> S. Wollman. Slovanství v jazykově literárním obrození u Slovanů. Praha, 1958, str. 99.

<sup>13</sup> M. Kudélka. Gelasius Dobner. «Věstník ČSAV», 1969, № 5, str. 221.

<sup>14</sup> «Prager gelehrte Nachrichten», Bd. 1, 1772, № 23, S. 363—364.

<sup>15</sup> L. Blass. Das Theater und Drama in Böhmen bis zum Anfange des XIX. Jh. Praga, 1877, S. 74.

<sup>16</sup> «Neue Litteratur», 1772, № 23, S. 355—356. Речь идет о работе Зеберера над большим немецко-чешско-латинским словарем, восьмитомная рукопись которого хранится в Пражском национальном музее (шифр IV. A. I.).

<sup>17</sup> E. Lemberg. Die nationale Verhältnisse in den Prager Kreisen zu Zeit der Aufklärung. In: «Slavistische Studien». Reichenberg, 1929, S. 121.

<sup>18</sup> «Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler», Bd. 1. Prag, 1773, S. 118.

<sup>19</sup> R. Auty. Czech and slovak thought in the Second half of the Eighteenth century, 1960, p. 7.

<sup>20</sup> A. Voigt. Versuch einer Geschichte der Universität zu Prag. «Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen», Bd. 2, Praga, 1776, S. 304, 360—361.

<sup>21</sup> A. Voigt. Untersuchung über die Einführung, den Gebrauch und die Abänderung der Buchstaben und des Schreibens in Böhmen. «Abhandlung einer Privatgesellschaft in Böhmen», Bd. 1, 1775, S. 184.

<sup>22</sup> F. M. Pelzel. Kurzgefasste Geschichte der Böhmen. Praga, 1774, S. 618—620.

<sup>23</sup> «Příhody Václava Vratislava z Mitrovic». Praha, 1777. Předmluva k laskavému čtenáři.

<sup>24</sup> А отнюдь не после проведения школьной реформы 1774 г., как писал К. Тифтрунк, сводивший роль трактата Ф. Кинского к национальному ответу на германизаторский акт венского правительства (см.: K. Tieftrunk. Historie literatury české. Praha, 1885, str. 95).

<sup>25</sup> J. Haubelt. František Josef Kinský. «Věstník ČSAV», 1969, № 5, str. 561.

<sup>26</sup> F. Kinsky. Erinnerung über einen wichtigen Gegenstand von einem Böhmen. In: F. Kinsky. Gesammelte Schriften, Th. 3. Neustadt (Wien), 1788, S. 1—2.

<sup>27</sup> J. Dvorský. Český apogeta Fr. J. Kinský, pedagog filantropismu. Hranice u Bečvou, 1931, str. 23.

<sup>28</sup> F. Kinsky. Erinnerung über einen wichtigen Gegenstand..., str. 20.

<sup>29</sup> Там же, стр. 58.

<sup>30</sup> Там же, стр. 57.

<sup>31</sup> Там же, стр. 89.

<sup>32</sup> Des Hrn. Grafen von K\*. Nachricht von einigen Erdbränden im Ellenbogner Kreise in Böhmen. «Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen», Bd. 2, S. 71.

<sup>33</sup> M. Hýsek. K dějinám probuzení moravského lidu. CCM, 1908, str. 303.

<sup>34</sup> J. Marek. Základy obrozené společnosti v Brně. Ve kn.: «Brno v minulosti a dnes». Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, t. 3. Brno, 1961, str. 67.

<sup>35</sup> F. Smahel. Ceská anomalie? CSCH, 1969, str. 65.

<sup>36</sup> Л. Гавлик. Представление о родственности славянских народов в древней Моравии и Чехии. «Советское славяноведение», 1969, № 3, стр. 31.

<sup>37</sup> Там же, стр. 30—31.

<sup>38</sup> J. V. Monce. Tabula juris publici marchionatus Moraviae. Olomouci, 1776.

<sup>39</sup> G. Dobner. Kritische Untersuchung, wann das Land Mähren ein Markgräfthum geworden, und wer dessen erster Markgraf gewesen sei? Olmütz, 1781, S. A<sub>2</sub>.

<sup>40</sup> «Neuere Abhandlungen der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften», Bd. 2, S. XXXVIII.

<sup>41</sup> J. V. Monce. Infulae doctae Movaviae. Brunae, 1779, p. 70—81.

<sup>42</sup> Там же, стр. 1.

<sup>43</sup> M. Krbec i V. Michalkova. Der Briefwechsel zwischen Josef Dobrovsky und Karl Gottlob von Anton. Berlin, 1959, S. 14. В 1780-е годы осознание исторических и национальных связей Моравии с Чехией (например, в характеристике деятельности Яна Гуса) получает также закрепление в очерках моравской истории А. Пиларжа и Ф. Моравецца (A. Pilarz et F. Moravetz. Moraviae historia politica et ecclesiastica cum notis et animadversionibus criticis probatorum auctorum, P. 1. Brunae, 1785, p. 244).

Ю. И. СМИРНОВ

О НАРОДНОМ САМОСОЗНАНИИ  
(ПО ФОЛЬКЛОРНЫМ МАТЕРИАЛАМ)

Самосознание признается одним из факторов, характеризующих изучаемую этническую общность (народность, нацию). Однако некоторые ученые нередко недооценивают многообразие форм выражения этнического самосознания. Больше того, этническое самосознание часто оценивается не по представлениям, в первую очередь социального большинства данного этноса, а по декларациям («македонизм» К. Мисиркова) или даже просто по деятельности (Ф. Скорина в Белоруссии) отдельных и всегда немногочисленных деятелей феодальной или буржуазной культуры.

С нашей точки зрения, неверно было бы отождествлять этническое самосознание даже крупных и прогрессивных деятелей эпохи становления наций с этническим самосознанием всего народа, раз объективно между ними нельзя поставить знак равенства. К суммарной оценке этнического самосознания обязательно применение классового подхода. Если историками отмечается несовпадение классовых интересов в определенную эпоху, то уже эта констатация может служить косвенным показателем существования различных форм этнического самосознания.

Очевидно, что необходимо прежде всего учитывать этническое самосознание самого народа. В первой половине XIX в. аграрное производство и связанные с ним ремесла были преобладающими производственными формами в славянских странах. Поэтому народом в этих странах, социальным большинством были крестьяне и ремесленники. В отличие от социальных верхов народ, как правило, не мог сам письменно или печатно показать, что у него есть своя историческая память, свои представления о себе и окружающем мире. Все это выражалось и трансформировалось в устном народном творчестве (фольклоре) и веками передавалось устным путем от поколения к поколению. Фольклор — один из важнейших источников, по которому можно узнать об этническом самосознании народа и его эволюции в минувшие столетия.

Первичной, зародышевой формой общественного самосознания первобытных коллективов было, по-видимому, осознание себя людьми. Многие самоназвания народов мира, в том числе народов Севера и Сибири, имеют одно-единственное значение — «люди», независимо от того, на каком языке это слово звучит. Противопоставление «люди — не люди» выступает постоянной и основной темой мифологических сказаний. Этнический герой при этом

имеет лишь собственное имя, он значительно чаще называется «наш человек» или просто «человек», нежели носит подлинный этноним. Не вполне четкая ограниченность от природы в мифологических сказаниях проявляется в том, что этническому герою оказывается помощь со стороны сил природы и приписывается родство с силами природы и способность обрачиваться при нужде в зверя, птицу и др. Слабость связей между первобытными коллективами и осознание людьми прежде всего самих себя приводили к тому, что в мифологических текстах соседи обычно рисовались в виде чудовищ, великанов, карликов и других существ, чей облик только отчасти напоминал людей.

Подобные и более поздние представления о себе и окружающем мире обнаруживаются и в славянском фольклоре. Подавляющее большинство славянских фольклорных произведений записывалось, к сожалению, уже в пору формирования славянских наций и позже. Новые исторические условия, естественно, могли оказывать влияние на содержание фольклорных текстов, в том числе и на оценку народного знания о себе и окружающем мире.

В XVIII и XIX вв. фольклор — по разным причинам — привлекал внимание деятелей феодальной и нарождавшейся буржуазной культуры. К фольклорным сборникам, издававшимся ими, следует подходить осторожно, так как эти деятели (В. Караджич, Г. Раковский, Я. Коллар и др.) обычно не ставили себе задачу публикации аутентичных записей и нередко правили, «подновляли» и обрабатывали тексты. Их «редактирование» легко понять и оправдать условиями национально-освободительной борьбы, уровнем науки и другими обстоятельствами, и тем не менее оно, конечно, затрудняет изучение фольклорных текстов в различных аспектах, в особенности в плане исследования народного самосознания.

Для настоящей работы были привлечены фольклорные сборники из всех славянских стран, причем предпочтение отдавалось сборникам XVIII — первой половины XIX в., с которыми затем сопоставлялись материалы из более поздних публикаций.

Судя по фольклорным материалам, народное самосознание имело следующие основные формы: местническую, социальную, собственно этническую и религиозную.

При религиозной форме этнического самосознания данный народ противопоставляет себя другим, с которыми он соседит или живет на одной территории, по религии. Восточные и южные (кроме боснийцев, хорватов и словенцев) славяне называли себя православными, христианами, крещеными, а соседей соответственно — некрещеными, безбожными, погаными, неверными. Термин «неверный», впрочем, употреблялся взаимно как христианами, так и мусульманами, включая славян-мусульман Родоп, Боснию и других районов на Балканах. Больше того, южные славяне-христиане применяли по отношению к себе также восточную

форму «ѓаур», в местной огласовке — «каурин, кахурин». В зависимости от фольклорного контекста, этнонимы «турок», «татарин», «литва» могли носить характер противопоставления по религии: эти этнонимы в более поздних фольклорных версиях и произведениях обычно имели нарицательное значение, ими назывались враги вообще, любые этнические противники. Наричательный смысл в значении «нехристианин и этнический враг» содержит специфически русский термин «идолище» и производные от него — «издолище», «удолище», «задолище».

Религиозная форма этнического самосознания в славянских условиях обычно не совпадает с границами расселения определенного народа. Ее границами служат пределы распространения конкретной формы религии. Время ее возникновения нельзя отождествлять с датой формального принятия конкретной религии. Характер религиозной формы этнического самосознания у славян показывает, что эта форма — сравнительно поздняя, сложившаяся в пору иноземных нашествий и ига.

Явно раньше возникла местническая форма этнического самосознания, о чем свидетельствуют некоторые названия славянских объединений I тысячелетия нашей эры, упоминающиеся в письменных источниках. Эта форма была, несомненно, очень подвижной и меняющейся в пору славянских миграций. Она указывает на принадлежность к какому-то городу или селу (Мара Белоградка, Мария Стамболка, Софка Солунка, юначе Дренополче и др.), району или краю (Краина, Загора, Заонежье, Заволочье), определяет этническую родину по реке (Вардария), озеру (онежане, водлозеры), горам (презгорче, загорче), морю (презморче, поморянин, заморянин). Она была широко распространена и в быту. Уроженцам разных мест очень часто при этом давались специфические прозвища, которые обыгрывались в прибаутках и анекдотах. Консолидация данного народа и централизованная организация государства с течением времени снимают актуальность местнической формы этнического самосознания.

Социальная форма народного самосознания особенно ярко проявлялась у тех народов, которые подвергались иноэтническому угнетению и господствующим классом у которых фактически оказывались представители иного народа. Называя себя «мужиками», «холопами» и «людьми», украинцы и белорусы противопоставляли себя «пану», обычно польскому, литовскому или русскому помещику. Повторяя вслед за турками термин «райя», болгары или сербы отнюдь не стремились согласиться с презрительным значением этого слова («стадо»), просто и этим термином они отделяли себя от «турок», господ в их социальной жизни. Социальную окраску в южнославянском фольклоре носили термины «чифутче» и «базиргян»: под ними не только подразумевался эквивалент этнонима «еврей», но и почти постоянно вкладывалось значение «торговец, купец».

Собственно этническая форма пародного самосознания, акку-

мулирующаяся в виде этнонимов (болгарин, серб, русский и др.) и адекватных представлений о своей Родине, в фольклорных произведениях встречается сравнительно редко или даже в определенные эпохи совсем отсутствует. Так, в украинском фольклоре практически не встречается очень поздний этноним «украинец» и тем более выражение «малоросс». Самоназваниями служат термины: «казаки», «православные», «христиане», «народ», «люди», «мужики» и др. Термин же «Украина» и производный от него этноним возникли из нарицательного слова «окраина, украина», нередко встречающегося, между прочим, и в русских эпических песнях. В самом термине (ср. южнославянскую форму — Краина), таким образом, отложился след былых представлений о том, что страна некогда была частью более широкого государственного объединения.

После этих вводных замечаний обратимся к нескольким конкретным фольклорным изданиям.

В сборнике Кирши Данилова<sup>1</sup>, содержащем записи второй половины XVIII в., помещены, как это стало затем обычной нормой публикации, тексты, возникавшие в разные исторические эпохи. В исторической песне первой половины XIV в. «Щелкан Дудентьевич» соседи определяются строгими географическими названиями (Большая Орда, земля Литовская); своя же этническая родина не называется, вместо ее названия перечисляются отдельные города (Плес, Вологда, Кострома, Тверь). В исторической песне второй половины XVI в. «Кострюк» Золотой Орде, где Царь Иван Васильевич берет себе жену, противопоставляется царство Московское; текст изобилует этнонимами (черкашенин, бухарин, татарин и др.), но в нем только один раз упоминается «русак» в значении «русский». В былинах этого сборника термины «Московское царство» и «каменна Москва» в значении этнической родины встречаются значительно чаще, чем термин «Русь». Эпический Киев в былинах явно стал эквивалентом понятия об этнической родине и вытеснял другие, реальные понятия. Этноним «русский» (русская девица, русской люд) крайне редок. Только в зачинах былин постоянно встречается выражение «русские могучие богатыри», где эпитет «русский» уже окаменел. Сами зачины, равно как и включенное в них выражение, являются поздними: они отразили так называемую «киевизацию» былин, их унификацию под эпическую эпоху князя Владимира, начавшуюся параллельно с формированием централизованного Московского государства, т. е. не ранее XIV—XV вв.

Сопоставление приведенных фактов заставляет думать, что русские эпические песни довольно достоверно отражали, по мере своего возникновения, эволюцию представлений о своей этнической родине и своем самоназвании.

В другом русском сборнике<sup>2</sup>, включающем записи первой половины XIX в., обнаруживаются те же самые тенденции. В девяти текстах из 46 проводится противопоставление по вере, причем

в шести случаях оно сопровождается упоминанием этнонима (татарин Бусурманов, два татарина некрещеные и др.). В восьми текстах названа этническая принадлежность противников, свои же эпические герои носят лишь собственные имена. В поздних по времени возникновения (XVI—XVIII вв.) песнях встречаются термины: «святая Русь» (два случая), «русская девица» (два случая), «Московское государство» (два случая) и «Россия» (один случай). Остальные произведения подверглись унификации, благодаря которой даже «православный царь» Иван Васильевич устраивает правеж в Киеве.

Если привлечь для сравнения записи 60—70-х годов XIX в. (П. Н. Рыбникова, А. Ф. Гильфердинга и др.), записи конца XIX — начала XX в. (Н. Е. Ончукова, А. Д. Григорьева, А. В. Маркова и др.), то можно заметить значительный рост частоты употребления этнонима «русский», при сохранении эпического Киева, и понятия «Русь, Россия» в тех же самых вариантах эпических произведений, которые имеются в сборниках Кирши Данилова и С. И. Гуляева. Это явление — показатель укрепления и роста этнического самосознания у русских.

В болгарском сборнике братьев Миладиновых<sup>3</sup>, содержащем более разнообразный материал, чем в названных русских изданиях, наряду со сходными тенденциями открываются и другие, не менее любопытные явления.

В мифических песнях<sup>4</sup> свои этнические герои имеют только собственные имена. В свадебных песнях названы свои этнические герои с чужими этнонимами (три случая из 65), иных форм представлений о себе и этнической родине в этих источниках не зафиксировано. В других обрядовых песнях (лазарские, жатвенные) встречаются единичные случаи (три из 85) противопоставления по религии, применения чужого этнонима к своему герою и чужого самоназвания без противопоставления своему. В христианско-легендарных песнях из 28 случаев в шести проводится противопоставление по вере, в четырех названа этническая принадлежность только противников, в одном случае своя эпическая героиня носит чужой этоним (Аламанка девойка), этоним «болгарин» совсем не употребляется. В юнацких песнях, являющихся эквивалентом русских былин, из 147 случаев в девяти проводится противопоставление по религии своих героев и их противников, в 42 случаях названа этническая принадлежность только противников, в 13 случаях своим героям присвоены чужие этнонимы или их заменители (Рада Влахиня, Гино Арнаутче, Петре Маджарче и др.) и лишь в четырех случаях налицо употребление этнонимов «Българи, българин, българка». В лирических песнях<sup>5</sup> из 259 случаев противопоставление по вере имеется в трех случаях, указывается этническая принадлежность только противников в семи случаях, свои герои носят чужие этнонимы в десяти случаях (Стойна Сърбинка, Влаинче, Виша Гъркиня, Мара Белоградка и др.) и свой этоним — в шести

случаях. В целом в 660 текстах сборника братьев Миладиновых противопоставление по религии встречается 18 раз, называются только этнические противники в 56 случаях, своим героям присваиваются чужие этнонимы в 29 случаях, а самоназвание употреблено лишь десять раз. В рассмотренных нами памятниках своя этническая родина именем народа не называется, ее заменяют указания на географическую местность, село, город. Больше того, в некоторых текстах под своей этнической родиной подразумевается: «Влашка земя и Богданска, сичката Доброжа», мифическая «горна земя», «Харбанашко поле», «земя Мисерлия» (она же — Каменица), «Босна» и др. Только в одной песне (№ 361) даются довольно точные географические координаты Вардарской Македонии, где записано большинство текстов сборника: «Се-та земя Румелиска от Битолско до Прилепско, от Прилепско до Велешко, от Велешко до Солунско». Отсутствие собственной государственности у болгар в первой половине XIX в. и чрезмерная этническая чересполосица основного района записи — Вардарской Македонии — наложили свой отпечаток на множественность форм народного самосознания, а стремление к его унификации не фиксируется.

Перечисленные явления сохранились в Вардарской Македонии по всем традиционным жанрам до начала XX в., если судить по сборнику П. Михайлова<sup>6</sup>. Никакие перемены в традиционных текстах, в отличие от русских эпических песен, не наблюдаются. Просматривая их, можно подумать, что время для них остановилось на первой половине XIX в. Однако, помимо традиционных песен, в сборнике П. Михайлова помещено 67 песен, в которых описываются герои и события национально-освободительной борьбы конца XIX — начала XX в. Эти песни либо создавались по форме традиционных стереотипов, либо уже совсем отходили от фольклорных канонов, но как те, так и другие являются авторскими, сложенными участниками национально-освободительной борьбы.

В белорусском материале<sup>7</sup> часто упоминаются чужие этноНИмы и страны: Украина и Турецкая земля, реже, как соседи, — Москва, Русь (Русская земля), Польша, даже Свецкая (Шведская) земля. В двух зочинах песен говорится: «Летят гуси с Темной Руси» (№ 387 в)<sup>8</sup>, «летят гуси с Белой Руси» (№ 404). Но где находятся эти районы, певцы умалчивают. В сборнике Шейна содержится около 800 текстов различной жанровой принадлежности. Это число, если сравнить с приводившимся русским и болгарским материалом, вполне репрезентативно. Поэтому отсутствие проявлений собственно этнической формы самосознания в материалах сборника нужно считать реальным фактом.

Только в первом томе словацкого сборника Я. Коллара насчитывается свыше двух тысяч авторских и фольклорных текстов различных жанров<sup>9</sup>. Как в тех, так и в других произведениях довольно часто упоминаются соседи словаков: немцы-ракушане

(австрийцы), турки, татары, угры или мадьяры, слезацы (силезцы), моравцы или мораване, чехи, поляки, сербы. Но этоним «словац» или прилагательное «словацкий» употребляются всего в одиннадцати случаях и преимущественно в авторских текстах<sup>10</sup>.

В ряде случаев имеется противопоставление по религии: «он католик, а я лютеранка», «моя дочь католичка, твой сыночек кальвин» и др.

Мы опускаем обзор фольклорного материала других славянских народов, так как в нем обнаруживаются те же тенденции, если исключить отклонения, вызванные вмешательством издателей текстов.

О сходных результатах можно теперь сказать обобщенно следующее.

В мифических и обрядовых текстах, наполненных символикой, славяне избегали отмечать этническую принадлежность своего героя, ему давалось только имя, иногда сопровождавшееся указанием на местность. В ранних по происхождению произведениях отразилась местническая форма этнического самосознания, с нею в ряде групп произведений соперничает религиозная форма. Этническая форма самосознания проявляется заметно в произведениях, возникающих в пору образования собственного государства, но длительное время продолжает оставаться спорадической. Множественность форм этнического самосознания — обычайная норма для фольклорной традиции.

Для определения форм народного самосознания в конкретную эпоху, скажем, например, в XVIII — первой половине XIX в., объективнее привлекать только такие произведения, которые были созданы или по крайней мере переделаны в виде версий предшествующих произведений именно в эту эпоху. Если оказывается, что и в этих произведениях отразилась множественность форм народного этнического самосознания, то, следовательно, о его единстве в эту эпоху на основании данных источников говорить нет оснований.

Частое отсутствие самоназвания и представлений о подлинных пределах своей этнической родины в фольклоре славян объясняется определенным запаздыванием фольклорного творчества по отношению к социально-историческим процессам. Вместе с тем, это возмещалось до известной степени осознанием общности своего языка, сходных традиций и т. д.

Славянские этонимы, по нашему мнению, независимо от времени своего происхождения, культивировались господствующими классами. Их бытование в народе — это тоже результат воздействия господствующей культуры — феодальной или буржуазной. В пору феодальной раздробленности или в пору губительных нашествий и чужеземного ига собственно этническая форма самосознания не могла проявиться с большой определенностью.

Деятели эпохи становления славянских патриархальных

национальных культур по существу возрождали собственно этническую форму народного самосознания, вкладывая в нее при этом уже новое, буржуазное содержание.

Внушая соотечественникам представления о их единстве и — мнимых или подлинных — пределах их территории (родины), они тем самым, стихийно или сознательно, боролись против местнической формы этнического самосознания. Борясь против иноэтнического угнетения, отстаивая право своего народа на традиционную для него культуру и религию, они содействовали утверждению этнического самосознания.

Однако решительное значение имеет характер организации нового государства. Централизованная организация государства в однородной этнической среде устраниет множественность форм народного самосознания и постепенно заменяет их самосознанием национальным. Децентрализованная организация государства постоянно питает центробежные силы и множественность форм народного самосознания; иными словами, она противостоит прогрессивному процессу оформления единого национального самосознания.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> «Древние российские стихотворения, собранные Киршевою Даниловым». Издание подготовили А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. М.—Л., 1958.

<sup>2</sup> «Былины и песни Южной Сибири». Собрание С. И. Гуляева. Новосибирск, 1952.

<sup>3</sup> «Български народни песни, собрани од братя Миладиновци Димитриј и Константина и издани од Константина». Загреб, 1861.

<sup>4</sup> Этот древний по происхождению жанр отсутствует у восточных славян.

<sup>5</sup> Они помещены у братьев Миладиновых под рубриками «жальвони» и «любовни».

<sup>6</sup> «Български народни песни от Македония». Събрали П. Михайлов. София, 1924.

<sup>7</sup> «Материалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном», т. I, ч. I. СПб., 1887. В сборнике Шейна помещено около 800 текстов различной жанровой принадлежности.

<sup>8</sup> Ср.—Черная Русь, по письменным источникам локализуемая на современной границе между Польшей и Белоруссией.

<sup>9</sup> J. Kollar. Narodne spievanky, t. I. Bratislava, 1953.

<sup>10</sup> Там же, стр. 82—83, 103, 111, 156—157, 695 (авторские тексты) и стр. 200, 565—566, 584, 611 (тексты очень поздние, но, пожалуй, фольклорны по происхождению).

## II

---

И. А. БОГДАНОВА

### ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ СТАНОВЛЕНИЯ СЛОВАЦКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Несмотря на разительную неравномерность социально-экономического развития отдельных областей лоскутной империи Габсбургов, единство исторического процесса со всей очевидностью начинает заявлять о себе именно с последних десятилетий XVIII в., которые становятся рубежом новой истории даже для таких отсталых ее окраин, как Словакия. К моменту, когда процесс разложения феодализма, постепенного утверждения капиталистической формации и связанный с этим процесс складывания наций принял отчетливые формы, Словакия являлась одной из наиболее отсталых областей Австрийской империи во многих отношениях — экономическом, социальном, политическом, правовом, культурном. Захваченные неотвратимым ходом европейского прогресса, словаки, однако, в сфере конституирования нации в сравнительно короткий период преодолевают последствия многовековой отсталости — у наиболее бесправных народов процесс кристаллизации нации происходит интенсивнее. Применительно к Словакии речь может идти почти исключительно о *психологическом осознании* себя нации. Проявлением этого осознания явилась словацкая культура. У народа, лишенного иной возможности заявлять о себе на общественном форуме, кроме как в формах культуры, именно в силу этого в формах культуры же, борьбы за национальную культуру находили свое выражение глубинные процессы формирования нации. Поэтому историко-культурный аспект исследования приобретает первостепенное значение в аргументации хронологических и стадиальных границ превращения феодальной словацкой народности в буржуазную нацию, динамики, диалектики и специфических особенностей этого процесса.

Исторические обстоятельства, в которых начала складываться словацкая нация (при многоступенчатости этого процесса нельзя, конечно, назвать точную дату, когда он начался, но ясно, что о возникновении *совокупности* важнейших его признаков можно говорить с 80-х годов XVIII в.), достаточно своеобразны. На протяжении многих столетий Словакия была этнографическим поня-

тием, не имея на карте Европы официально принятого географического названия. Никакой автономии, Северная (или Верхняя) Венгрия — вот ее статус. Напрасно мы бы искали в документах и исторических преданиях феодального средневековья Венгрии хотя бы упоминания о словаках, как активном «действующем лице» истории. Народ — без традиций собственной государственности. Единственным фундаментом идеи словацкой государственности, явившейся важным фактором формирующегося национального самосознания, было историческое воспоминание о великоморавской державе IX в., которую лишь условно, по нашему мнению, можно считать формой именно словацкой государственной жизни. К исходу периода феодализма словаками был утрачен и собственный господствующий класс — сословная принадлежность к *natio Hungarica* привела словацкую аристократию, дворянство в венгерский национальный лагерь уже на ранней стадии национальных движений (красноречивейшим является пример представителей таких прославившихся в истории Венгрии словацких дворянских фамилий, как Г. Берзени, Л. Кошут).

Сумма тех явлений, которыми характеризуется социально-экономический прогресс в направлении от феодализма к капитализму, — рост промышленного производства, оживление торгового обмена, образование и рост городов, выход на историческую арену новых социальных слоев и классов и т. д. — для словацкой народности играет в рассматриваемое время роль преимущественно внешнего фактора. Правда, территория компактного этнического расселения словаков — Северная Венгрия — с ее сравнительно более богатыми природными ресурсами (залежи меди, серебра, серы, лесные массивы) и более высокой плотностью населения оказывается экономически более освоенной и развитой, чем другие области Венгрии. Однако все более или менее командные ступени в предпринимательской и коммерческой сферах заняты представителями господствующих наций — немецкой и венгерской. Усилия всего государственного центрального режима власти и административного управления на местах были направлены на то, чтобы не допустить в эту сферу представителей подчиненных народностей. Это обстоятельство сильно тормозило рост главного носителя национального движения рассматриваемой эпохи — словацкой буржуазии и препятствовало концентрации ее в городах. И хотя на территории Словакии, вследствие немецкой колонизации, было расположено наибольшее в Венгрии количество городов даже со статусом «королевского вольного города» (Прешпурк—Братислава, Трнава, Кошице, Прешов), процент словаков в городском населении был одним из самых низких. С конца XVIII в. он обнаруживает некоторую тенденцию к росту, но далеко не в такой степени, чтобы в этот период возыметь значение исторического фактора, активно благоприятствовавшего формированию словацкой нации. На территории Словакии вообще и в городах в особенности власти искусственно насаждали и поддер-

живали в предпринимательско-коммерческой и административно-чиновничьей сферах не словацкий элемент, являющийся проводником и опорой немецкой или венгерской государственной идеи. На словацких землях не было ни одного города, который в административном, экономическом или культурном отношении играл бы важную роль в государственном масштабе и мог бы со временем стать центром словацкого национального движения (исключение составляла Братислава, но она расположена на окраине словацкой этнической территории и в тех условиях препятствия на пути ее превращения в организующий национальное движение городской центр оказались непреодолимыми).

С началом национальных движений господствующая нация с помощью политических и экономических рычагов власти начинает успешно завладевать средним и высшим образованием в словацких городах, превращая средневековые латинские учебные заведения в немецкие, а затем все шире — в венгерские. Если к этому добавить, что и в сфере церкви словаки — католики и протестанты-евангелики — не имели собственных институций, а подчинялись центральным венгерским институциям и учреждениям, то станет ясно, как серьезны были препятствия для расширения культурного слоя словацкого общества, а именно этот слой играл важнейшую роль в развитии, оформлении и распространении *идей* словацкого национального движения, его идеологии.

Таким образом, в данных конкретно-исторических условиях неизбежно оказалась сильно заторможенной эволюции буржуазной социальной структуры словацкого национального коллектива, и сам процесс складывания словацкой нации был подвержен существенным деформациям как в недрах глубинного, базисного основания, так и в сфере надстроек явлений. Более того, объективная историческая тенденция капиталистического социально-экономического развития Словакии на многие десятилетия оказалась запищированной, что послужило источником устойчивых иллюзий в национальной идеологии относительно возможности внекапиталистического национального бытия. Само диалектическое взаимоотношение базиса и надстройки приобрело весьма специфический характер. Неблагоприятные для развития национальных производительных сил и производственных отношений исторические обстоятельства, казалось бы, должны были повлечь за собой подобное же отставание всей духовной жизни нации. Однако в действительности наблюдается обратное. Вплоть до середины XIX столетия процесс формирования национального самосознания и всей надстроечной сферы (при различных темпах и даже регressiveных моментах в отдельные периоды) значительно опережал эволюцию национального базиса. В момент пика высшего подъема национального движения в конце 40-х годов XIX в. уровень национально-патриотической идеологии, степень осознания стоящих перед нацией социально-политических задач, путей и форм их разрешения, концепция национального духовно-

го и материального развития отличались сравнительно высокой мерой соответствия наиболее передовым в Европе общественно-политическим взглядам своей эпохи, тогда как в экономической и социальной областях Словакия недалеко ушла от средневековья.

При оценке подобного явления необходимо в первую очередь учитывать то обстоятельство, что Словакия не была изолирована от тех социально-экономических процессов, которые переживали экономически и политически более развитые и менее бесправные народности империи. Оттертые режимом на периферию прогресса цивилизации, словаки, по крайней мере на своей этнической территории, были работниками и строителями цивилизации и тем самым — активным субъектом истории. Чернорабочие истории, они в большей мере ощущали на себе хлыст ее рвущейся в будущее колесницы — отсюда двойственное отношение к прогрессу цивилизации, но отсюда же и стремление избавиться от чужой узды и ярма и быть хозяевами своей судьбы. Эти объективные социально-психологические последствия эволюционирующего в сторону капитализма базиса оказывали постоянное инспирирующее давление на мыслящую часть словацкого общества, занимая в основании национального общественного сознания не последнее место паряду с суммой тех идеальных веяний, которые проникали в Словакию из европейских культурных центров.

В заключение краткого обзора исторических обстоятельств, при которых словаки вступали в новый период своей истории, необходимо отметить, что через века угнетения и бесправия этот народ пронес свои национальные культурные традиции — язык и устное народное творчество. Но и в этой сфере отразились особенности их исторического бытия. Словацкая этническая территория в средневековые зачастую была надолго разделена границами феодальных владений, которые оборачивались глухой стеной для взаимных экономических и культурных связей между отдельными областями Словакии. Это обусловило крайнюю неравномерность их развития и тормозило естественное сближение диалектов и наречий. Кроме того, за весь период феодализма словацкая народность не создала своего письменного языка — четыре столетия письменным языком здесь служил чешский (в некоторые периоды средневековой истории Венгрии он же использовался в качестве дипломатического языка в сношениях венгерских феодалов с правителями соседних славянских земель, для чего при дворах специально содержали писцов, владевших чешским).

Отношения между венграми и словаками на национальной почве — в основной в культурной среде — обращают на себя внимание уже в первой половине XVIII в. Одним из красноречивых симптомов явился спор между учеными той и другой стороны относительно государственно-правовых оснований общежития мадьяр и словаков в едином государстве (М. Бенчик *contra* Я. Балтазар Магин и С. Тимон, или теория «отказа» от верховенства в пользу мадьяр при Сватоплуке против теории «пригла-

шения» к равноправному сосуществованию). Этот спор происходил еще на явном феодально-«народностном» уровне. Его смысл заключался в сведении счетов внутри привилегированных сословий. Очень скоро, однако, представители образованных кругов, выражавшие претензии сословно-привилегированной верхушки словацкого общества (дворян и городского мещанства) на равноправное положение в соответствующей среде *natio Hungarica*, в аргументации своих прав переходят с зыбкой почвы исторических преданий, с одной стороны, к примерам созидательной деятельности словаков на общее благо Венгерского государства, а с другой — к вневременным духовным ценностям как историческому наследию своего народа. В особенности эта последняя сфера постепенно все больше обнаруживает свою значимость и основательность: в области духовных ценностей достояния словаков неапонимны и неподвластны огульному отрицанию.

Так исподволь начинается накопление и систематизация сведений об историческом бытии словаков и об их культурных традициях, среди которых важнейшее место отводится речи, языку. Вот как характеризует свой родной язык знаменитый ученый-энциклопедист Венгрии того времени словак Матей Бел (1684—1749): «Если судить в соответствии с истиной, то он [словацкий язык.— И. Б.] ни в чем не уступает в глубокомыслии и благородстве испанскому, в красоте и плавности французскому, в стройности и крепости английскому, в мудрости и значительности немецкому, в мягкости и благозвучии итальянскому и в конечном счете в повелительной строгости мадьярскому; такие славные свойства заключает он в себе в устах мужей учёных, образованных, искусством красноречия и поведения в обществе владеющих» (предисловие к «Словацко-чешской грамматике» П. Долежала, 1746 г.).

Подлинно национальный смысл отношения между словаками и венграми начинают обретать с конца XVIII в.— с рубежа, которым датируется начало двух взаимосвязанных процессов — становления словацкой нации и национальной культуры, объединяемых в едином понятии «национальное Возрождение». Историческая специфика генезиса словацкой нации обусловила специфическую роль словацкой культуры, выдвинув ее на первое место по выполнению общественно-национальной функции. При этом необходимо учесть, что культурообразующую (этот термин употреблен здесь в чисто рабочем, прикладном назначении) функцию в Словакии с самого начала взяла на себя литература. Она играла не только авангардную роль в процессе формирования и осмыслиения национально-освободительной идеологии. Литература была универсальна по охвату общенациональных задач, по содержанию в ней именно национального момента, включая в себя историческое национальное самосознание. В недрах литературы складывалась национальная общественно-политическая программа, вырабатывались идеальные и эстетические представления

о характере, формах и путях развития национальной культуры в целом. В ней в наибольшей степени учитывался исторический опыт духовного развития словацкого народа. И литература же на этой стадии была наиболее авторитетным репрезентантом национальной художественной культуры.

История формирования словацкой национальной культуры как частный пример становления национальных культур народов Центральной и Юго-Восточной Европы помогает понять и содержание такого давно принятого в советских и зарубежных исторических исследованиях понятия, как национальное Возрождение. Если соотнести его с общеевропейским понятием Возрождения, или Ренессанса, то оказывается, что переворот, который происходит в словацком обществе и культуре с первых шагов национального Возрождения, в своем культурно-историческом содержании родствен и равнозначен перевороту, произведенному в Европе эпохой Возрождения несколькими столетиями ранее. Сама историческая ситуация словацкого этноса, его специфическое положение в эпоху феодализма вкупе с неясностью перспектив промышленно-капиталистической эволюции весьма близка той стадии феодализма, на которой возникает европейский Ренессанс. Правда, это сходство существенно осложняется тем обстоятельством, что возрожденческий процесс в Словакии начинается в то время, когда более развитые народы стояли на пороге буржуазно-демократических революций, а их идейную подготовку выполняла эпоха Просвещения. Возникнув на исходе европейского Просвещения, в аккумуляции и распространении идей которого культурная сфера Австрии в XVIII в. играла не последнюю роль, словацкое Возрождение как бы синтезировало в себе и практически осуществляло в хронологически едином историческом процессе то, что на различных этапах многотрудной европейской истории совершили Ренессанс и Просвещение, каждый в свое время и на своем месте. В итоге словацкое национальное Возрождение характеризуется и целым рядом признаков, свойственных эпохе Просвещения. Благодаря этой особенности начальная стадия словацкого национального Возрождения применительно к *формирующющейся национальной культуре* заслуживает наименование периода Просвещения. В целом же в процессе формирования словацкой национальной культуры выделяются три этапа: I — 80-е годы XVIII в.—10-е годы XIX в.; II — 20—30-е годы XIX в.; III — 40-е годы XIX в. Условно (в силу незавершенности) этот процесс — *становления национальной культуры* — можно ограничить концом 40-х годов, на том основании, что 40-е годы XIX в., завершая стадию формирования, одновременно открывают страницу собственно национальной словацкой культуры, обретшей свой социальный, идеологический, философский и эстетический фундамент, сложившейся в систему.

Первые шаги национального Возрождения провели четкую грань между двумя большими эпохами — многовековой историей

культуры словацкой народности и этапом, с которого начинается национальная словацкая культура. Вступление в новую фазу своей истории словацкая культура ознаменовала переходом письменности на национальный, словацкий язык. Этот шаг свидетельствовал о решительном отторжении словацкого элемента от общего этнического конгломерата Венгрии и от сословно-государственного понятия *natio Hungarica*.

Совершившие этот переворот деятели национального Возрождения субъективно использовали язык прежде всего как главнейший признак нации и лишь в малой мере осознавали его значение как национальной культурной традиции. И все же значение этого шага трудно переоценить. Даже в ближайшей по времени ретроспективе — на протяжении XVIII в., вплоть до его последней четверти, — культура обслуживала достаточно узкий слой привилегированной части общества, носила сословно-элитарный характер. Благодаря введению национального языка письменности культура объективно начинает утрачивать свою элитарность, расширяя в социальном отношении и сферу воздействия, и источник смысловых инспираций. Культура со своим важнейшим на стадии ее становления компонентом — литературой — обретает демократическую и антифеодальную тенденциозность и сразу же встает на службу актуальным общественно-политическим задачам своей эпохи.

Однако первые произведения словацкой литературы четко разграничивают адресатов, к которым они обращены. Образуются как бы два фонда культуры — на внешний форум и для «внутреннего пользования». В первом случае адресатом являются правящие нации и правящие классы, к которым деятели словацкой культуры аппелируют в своих требованиях политических условий для свободного национального развития либо просвещают относительно места и роли простого народа в жизни нации (применительно к словакам конца XVIII в. эти две категории — простонародье и нация — почти совпадали). Для этих целей меньше всего подходил словацкий язык как средство коммуникации, и если словацкие просветители тем не менее прибегали к нему в своих публицистических трудах, то главным образом ради его национально-репрезентативной функции. Напротив, при обращении к своему народу деятели словацкой культуры использовали национальный язык почти преимущественно в его социально-коммуникативной функции и в просветительских целях. Словацкая культура, возглавив борьбу против феодальных социально-экономических и государственно-правовых институций, была заинтересована в поддержке широких слоев народа, который находился в плена средневековых заблуждений в отношении просвещения и прогресса. Доминирующее положение просветительского содержания перед национально-патриотическим составляет важную особенность первой стадии становления словацкой культуры.

Следующей важной особенностью этого этапа является тот

факт, что во второй его половине постепенно национально-репрезентативная функция переходит с национально-письменного языка к культуре в целом как показателю творческих духовных ресурсов нации. Вследствие этого, во-первых, восстанавливается и умножается авторитет той ветви словацкой письменности и образования, которая пользовалась традиционным чешским языком; во-вторых, намечается тенденция включать в категорию национальной культуры устное народное творчество и, в-третьих, в культуре обнаруживается стремление выполнять и эстетическую функцию наряду с национально-общественной.

На втором этапе становления словацкой культуры сфера ее социального воздействия еще больше расширяется, распространяясь на прогрессивно настроенные и патриотические слои интеллигенции не только на словацкой территории, но и в Чехии. Предпосылки этому сложились еще на первом этапе, поскольку одновременно с процессом этнического отторжения от венгров происходит и процесс сознательного включения словаков в общеславянское целое. В известной мере это можно обнаружить и в мотивах, которыми руководствовался и первый реформатор словацкого литературного языка Антон Бернолак, избравший в качестве его основы пограничный с чешским и польским диалект. В еще более последовательном и первоочередном смысле сознание своего родства со славянскими народами проявилось в ориентирующейся на чешский язык ветви словацкой культуры. Таким образом, еще в ранней стадии зарождается идея славянской общности и единства, которая достигла своего апогея в деятельности и творчестве Шафарика и Коллара. Временному утверждению общеславянской ориентации во многом способствовало именно утверждение за словацкой культурой национально-репрезентативной роли. Кроме того, в ее основании лежала идея славянской взаимности, отвечавшая на той ступени развития потребностям словацкого национально-освободительного движения, поскольку она создавала более мощную социальную базу для самоутверждения словацкого народа. Путь объединения с чешским национально-освободительным движением и словацкой культуры — с чешской культурой в этом смысле казался наиболее перспективным.

На третьем этапе молодое поколение деятелей словацкого национально-освободительного движения, известное под именем штурцовцев, формировалось под очень сильным идейным и эстетическим воздействием прежде всего Коллара. Но в деятельности штурцовцев отчетливо обнаружилась главная тенденция развития словацкой культуры той эпохи в целом: тенденция ко все более полному охвату общенациональных интересов.

Эта тенденция давала о себе знать более или менее принципиально, но преимущественно в объективно стихийной форме и на первых двух этапах. Когда сторонники сохранения традиции чешского языка в своей литературно-культурной деятель-

ности акцентировали внимание на повышении авторитета культурного вклада словаков в сокровищницу общеславянской культуры, они объективно способствовали созданию предпосылок для национального обособления словацкой культуры. На первых двух этапах словацкое национально-освободительное движение и культура шли поступательным эволюционным путем. В 40-е годы, в эпоху революционной ситуации в Европе и обострившихся национально-социальных противоречий в Венгрии, стала очевидной недостаточность, невозможность таким путем добиться условий для свободного национального развития. Штурковская реформа литературного языка 1843 г. по своим социальным последствиям имеет характер подлинно революционного взрыва. Именно потому 40-е годы и деятельность штурковцев положили начало новому этапу в истории словацкой культуры, что они внесли качественно новый момент в ее содержание, направленность и форму.

Первые полвека своей истории национальная словацкая культура находилась в маргинальном положении, более или менее на рубеже двух национальных культур. На первой стадии эта маргинальность сказывалась главным образом на содержательной стороне, направленной на выполнение общих с венгерской и прочими культурами просветительских задач. На втором этапе словацкая культура находилась в подобном же положении по отношению к чешской. И лишь штурковское направление окончательно поставило ее на собственные национальные рельсы.

М. Б. БОГДАНОВ

## ИСХОДНЫЕ ОСНОВЫ И ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕРБСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Начиная со второй половины XVIII в. в сербских землях на протяжении более ста лет происходил сложный процесс перехода от феодализма к капитализму и постепенного превращения сложившейся ранее этнической общности сербов в новую, качественно более высокую общность — сербскую нацию. Одним из важнейших компонентов этого процесса явились и те большие, революционные по своему характеру изменения, которые совершились в сфере культуры и которые привели к формированию более сложной и развитой структуры, отвечающей потребностям буржуазной нации.

Свообразие развития сербской культуры рассматриваемого периода явилось следствием тех специфических условий, в которых протекали антифеодальная революция в сербских землях и процесс формирования нации. Известно, что к началу этого кардинального исторического процесса сербы были лишены собственной государственности и как этническая группа занимали территорию, разделенную границами нескольких государств. Территориально-политическая разобщенность сербского населения, некомпактность и перемешанность его с другими этническими группами, как родственными, так и чужеродными (немцы, венгры, румыны, турки и др.), национальный гнет — все это в значительной степени осложняло и затрудняло процесс формирования сербской нации. Наряду с наличием интегрирующих факторов (этническое и языковое единство, общность бытового уклада и обычая и т. д.), которые умножались, по мере усиления элементов капиталистической формации, в силу условий бытия сербов того времени существовали и активно действовали многие факторы, тормозившие формирование сербской нации и национальной культуры.

Прежде всего стоит указать на разницу условий, в которых находились сербы на территориях тогдашних двух империй — Османской и Габсбургской, хотя и тут, и там сербы испытывали гнет чужеземного ига, подвергались всякого рода притеснениям. Однако на территории, занятой турками, сложилась несколько иная социальная структура сербского населения, чем в Австрии. В сербских землях, находящихся под турецким владычеством, феодальный господствующий класс сербского народа фактически отсутствовал. Он был или уничтожен захватчиками, или ассимилирован путем вовлечения в мусульманство и приобщения к быту, нравам, культуре турецкого правящего феодального клас-

са. Ввиду этого на территории Османской империи наблюдается сильный упадок в развитии сербской феодальной культуры. Вдобавок к началу антифеодальных национально-освободительных движений на территории Турецкой империи фактически не существовало собственно сербской городской буржуазии, вследствие чего там не было даже первичных элементов сербской городской буржуазной культуры. К тому же сербы — подданные Османской империи — были почти полностью изолированы от европейской культуры. Разумеется, это не означает, что в сербской среде прекратилась всякая культурная деятельность и наступил культурный вакуум. Продолжала развиваться народная культура крестьянских масс, о чем будет речь впереди, и сохранялись некоторые традиции церковно-феодальной культуры.

Условия бытия сербов на австрийской территории были также крайне тяжелыми. Однако там для сербского населения существовали некоторые возможности, отсутствовавшие в Османской империи. В Габсбургской империи сохранилась довольно существенная часть сербской феодальной верхушки, хотя в значительной степени и она подвергалась последовательной германской и мадьярской ассимиляции. Сохранилась и действовала весьма могущественная сербская церковная организация, располагавшая крупными материальными средствами. Вследствие этого там в более широких масштабах сохранились и традиции сербской феодальной культуры. В Габсбургской империи, несмотря на дискриминацию и притеснения, существовали условия для возникновения и развития сербской городской буржуазии и сербской интеллигенции. Были также возможности и для непосредственного или опосредованного соприкосновения с европейской культурой, для установления контактов с родственными культурами славянских народов, в том числе с русской, что способствовало усилию борьбы сербов против попыток ассимиляции. И, наконец, если на занятой турками территории система просвещения среди сербского населения сводилась к считанным школам при немногих уцелевших монастырях, то в Австрии уже в XVIII в. сербские школы исчислялись сотнями (книги и учителя для сербских школ приходили, в частности, из России). Кроме того, сербская молодежь могла получать образование и в некоторых инонациональных учебных заведениях.

Сложные исторические обстоятельства, в которых пришлось жить сербам в течение весьма продолжительного времени, явились причиной того, что переход от феодализма к капитализму в сербских землях протекал неравномерно; само развитие капитализма в целом шло в крайне замедленном темпе, несмотря на бурные события (два восстания против турецкого ига — в 1804 и в 1815 г., вооруженные столкновения в период революции 1848 г., многочисленные, нередко массовые бунты). Поскольку медленно складывалась материально-производственная база капитализма (промышленность, транспорт, торговля), то заторможен-

но шло и изменение социальной структуры. А это в свою очередь сказывалось на развитии интегрирующих процессов и формировании национальной культуры, обусловливало неравномерность в складывании отдельных ее видов (система образования, наука, различные формы художественной культуры), тормозило их структурную перестройку.

Как известно, при складывании любой новой общественной формации возникает и новый тип культуры, происходит изменение не только отдельных ее компонентов (подсистем), но и структуры классовых элементов, присущих всей системе культуры в целом и отдельным ее видам. Каким образом развиваются эти процессы, в каком направлении и какими темпами, зависит, помимо совокупности социально-политических условий, в большой степени и от исходного уровня культуры данной общности, от состояния накопленного фонда культурных ценностей, от разветвленности системы культурных институций, т. е. от стартового состояния, с которого начинает развиваться культура новой формации.

Эта стартовая культурная основа у сербов оставляла желать много лучшего. Феодальная культура сербской народности, достигшая довольно высокого для своего времени уровня в эпоху раннего и зрелого феодализма, вследствие чужеземного ига пришла в упадок, многие ее центры были разорены, фонд имеющихся культурных ценностей большей частью уничтожен, а то, что еще сохранилось, было разбросано по разным местам и почти предано забвению. Продолжал существовать и функционировать церковно-религиозный компонент этой культуры. Сербская православная церковь, возникшая в эпоху формирования феодальной общественной системы и феодального Сербского государства, продолжала хранить феодальные традиции. В недрах ее идеологии, в частности, продолжала жить идея сербской государственности. В монастырях и других церковных учреждениях наплы приют уцелевшие от турецкого произвола культурные ценности, преимущественно религиозного характера.

Сербская православная церковь как определенный тип общественной институции в сфере культуры в эпоху складывания национальной культуры играла двойственную роль. С одной стороны, уже сама необходимость отстаивать собственные интересы и общественные позиции в борьбе с конкурирующими религиями (католической, протестантской, мусульманской и др.) заставляла ее выступать против ассимиляторской политики правящих кругов и стремиться к оживлению национального самосознания у сербского населения. К тому же, чтобы удержаться в своей роли общественной институции, она вынуждена была заботиться о подготовке кадров, способных выполнять соответствующие церковно-религиозные функции. Ради этого ей приходилось создавать и содержать хотя бы какой-то минимум церковных школ. Этим церковь способствовала сохранению традиций сербской письмен-

ности. Руководствуясь своими потребностями, церковь поддерживала и некоторые другие виды культурной деятельности (книгопечатание, насколько это было возможно, или переписку старых рукописей и книг, церковное изобразительное искусство и т. п.).

Но, с другой стороны, церковная иерархия и вообще сербская православная церковь, отстаивая свои феодальные привилегии как институции, всячески препятствовала развитию подлинно светской культуры, преследовала передовые идеи и стремилась не допустить, чтобы национально-освободительное движение приобрело последовательно антифеодальный характер. Таким образом, сербская феодально-церковная культура в том виде, в каком она существовала к началу складывания сербской нации, лишь в весьма ограниченной степени могла служить основой для формирующейся национальной культуры, так как она располагала узким кругом идей, большей частью уже безнадежно устаревших. Главенство религиозной идеологии в ней и постоянное стремление церковников отождествлять национальную принадлежность с православным вероисповеданием в новых условиях все явственнее обретало значение фактора дезинтеграции народа (ибо немало сербов приняло другую религию), чем его интеграции. Отрицательной стороной церковной культуры было и то, что она развивалась на мало доступном широким народным массам языке (старославянском и сербославянском), а это само по себе являлось большой помехой развитию культуры (в особенности народного образования и литературы) и ее демократизации.

Не намного лучше обстояло дело и с развивающимися в донациональный период в рамках феодального общества собственно буржуазными элементами сербской культуры. Они развивались крайне медленно и носили весьма однобокий характер. Немногочисленный слой сербской городской буржуазии, состоявший в основном из купечества и ремесленников, не располагал материальными средствами для развертывания культурной деятельности в сколько-нибудь широких масштабах, для организации сети школ разного профиля и уровня, для финансирования научной деятельности и различных видов художественной культуры, для создания типографии, библиотек, музеев. И даже то, что она могла бы сделать, в значительной степени оставалось неосуществленным из-за политики правящих кругов. Когда же правящие круги по тем или иным причинам были вынуждены разрешать сербам организовывать свои школы, культурно-просветительские общества, печатать книги, то это делалось только в пределах интересов и задач их политики и под неусыпным надзором цензуры, полиции и прочих государственных (т. е. несербских) органов власти. Более того, правящие круги в Австро-Венгерской империи очень часто использовали и верхушку сербской православной церкви в качестве орудия борьбы против передовых тенденций в развитии именно сербской культуры, так как здесь их интересы смыкались.

Развитие интеллигенции в сербской среде шло в крайне ограниченных масштабах и также однобоко. В школах готовились только те кадры (да и они были малочисленны), которые должны были стать верными чиновниками империи (юристы, администраторы). Учебные заведения для создания кадров других профилей (врачей, инженеров, художников и т. д.) сербам открывать не разрешалось, да и сама сербская буржуазия долгое время не испытывала потребности в подобных собственных кадрах интеллигенции. Поэтому почти до конца первой половины XIX в. подобные кадры интеллигенции из сербской среды исчислялись буквально единицами. Большим препятствием для развития сербской городской (буржуазной) культуры предшествующего периода и начальных этапов складывания нации являлось и то, что она длительное время находилась под большим влиянием церкви и ее идеологии, что мешало ей приобрести подлинно светский характер и проникнуться передовыми идеями времени. К тому же она несколько десятилетий развивалась также на церковнославянском (или точнее сербославянском) языке, мало соответствующем роли интегрирующего фактора нации и национальной культуры.

Таким образом, и феодальная, и буржуазная культура предшествующего становлению нации периода даже при наличии ряда позитивных элементов, которые могли войти в исходную основу для строительства новой, национальной, культуры, страдали большой узостью, содержали в себе много консервативного, чтобы в совокупности явиться решающим фактором ее развития.

Параллельно с этими классово-определенными типами культуры и, кстати сказать, вовсе не абсолютно изолированно от них в сербских землях развивалась народная культура, главным носителем которой было крестьянство. В народной культуре, в устном народном творчестве веками запечетлевался и передавался из поколения в поколение жизненный опыт самого многочисленного социального слоя сербского народа. Решающее преимущество этого социального типа культуры заключалось не только в том, что в ее недрах был создан богатейший фонд непреходящих художественных ценностей, но и в том, что она реально, на протяжении веков и в противовес всем дезинтегрирующим факторам cementировала этническую общность сербов. Народная культура и народное творчество по самой сути своей были демократическими, проникнутыми духом борьбы против феодального и национального порабощения (вспомним, к примеру, прекрасные циклы гайдуцких песен, циклы песен о восстаниях против турок). Для эпохи перехода сербского общества от феодализма к капитализму это имело первостепенное значение и в смысле решения непосредственных задач антифеодального и национально-освободительного движения, и для выработки идейных основ новой, национальной, художественной культуры и национальной идеологии. И, наконец, огромное преимущество народной культуры состо-

яло в том, что она бытоваля и развивалась на живом народном языке, который, несмотря на диалектные различия, представлял собой единую коммуникативную систему. Именно этот язык, а не окаменевший старославянский или искусственный сербославянский был интегрирующим фактором как существующей ранее, так и складывающейся национальной общности. Немаловажное значение имел и тот факт, что устное народное творчество накопило достаточно богатый запас разнообразных средств художественной выразительности, что сыграло громадную роль в становлении поэтики формирующейся сербской художественной литературы.

Таким образом, народная культура в целом и устное народное творчество в особенности в наибольшей степени были предрасположены к тому, чтобы послужить солидной основой для развития национальной культуры. Вместе с тем при определении места и значения народной культуры в этом процессе нельзя упускать из виду и тот факт, что она обладала и такими чертами, которые в складывании наций и формировании культуры новой общественной формации не всегда играли положительную роль. Будучи воплощением жизненного опыта патриархальных крестьянских масс и отражением их примитивного быта, народная культура содержала в себе и немало консервативного — элементы религиозной идеологии, отсталые патриархальные взгляды, всякого рода предрассудки. В ходе идеологической борьбы в XIX в. реакционные силы не раз использовали эти черты народной культуры, объявляя их подлинным «выражением духа народа», чтобы противодействовать распространению прогрессивных культурных и идеологических веяний. Кроме того, в народной культуре отсутствовали многие отрасли культурной деятельности, без которых было немыслимо развитие национальной культуры (к примеру, научная деятельность, некоторые виды художественной культуры).

Подводя итоги всему сказанному, можно сделать некоторые, на наш взгляд, важные выводы. Прежде всего, анализ развития сербской культуры предшествующего становлению нации периода позволяет констатировать, что, несмотря на большой урон, нанесенный культуре сербского народа турецким нашествием и потерей сербами собственной государственности, какого-либо перерыва в развитии сербской культуры не было. Относительное обеднение фонда культурных ценностей, созданных в эпоху феодализма, в значительной степени было компенсировано развитием народной культуры, в особенности устного народного творчества, достигшего наивысшего расцвета именно в этот период. В общем фонде культуры сербской народности к началу складывания нации отсутствовали многие достижения, которыми в сходной ситуации располагали другие европейские народы, находившиеся в более благоприятных исторических обстоятельствах. Поэтому среди разнородных по социальному-классовому характеру элементов,

составлявших исходную основу развития сербской национальной культуры, главенствующее положение заняла народная культура.

В современной историографии по проблемам культуры [см., например: *D. Živković*. Ročesi srpske književne kritike (1817—1860). Beograd, 1957; *Др. Андрија Стојковић*. Развитак философије код срба (1804—1944). Београд, 1972] получила распространение концепция, характеризующая развитие сербской национальной культуры конца XVIII — первой половины XIX в. двумя следующими тенденциями: одна — это тенденция «включения в общеевропейскую культуру», или, по выражению одного из исследователей, «бега вдогонку за Европой» с целью усвоения и перенесения на сербскую почву достижений общечеловеческой культуры; вторая — это тенденция создания «своей, специфической и самостоятельной национальной культуры».

На первый взгляд, эта концепция кажется убедительной. В самом деле, сербская народность к началу превращения в нацию отставала в своем социальном и культурном развитии от ряда европейских наций. Следовательно, перед ней стояла задача «догнать Европу», достигнуть уровня ушедших вперед в своем развитии наций. С другой стороны, процесс складывания наций повлек за собой и задачу создания своей национальной культуры. И все же концепция двух названных выше тенденций вызывает серьезные возражения.

Нам представляется, что сторонники данной концепции допускают серьезную ошибку, полагая, что, если перед сербской национальной культурой на стадии ее становления стояли определенные задачи, то они-то и определили главные тенденции ее развития.

Между тем, на наш взгляд, вопрос о задачах развития культуры и вопрос о тенденциях развития — проблемы разного плана. Та или иная объективно возникшая задача сама по себе еще не определяет путь ее решения, т. е. тенденцию развития. Культура — в высшей степени социальный феномен (одна из подсистем в глобальной социальной системе), и она имеет своих социальных носителей, интересы которых и определяют, на наш взгляд, тенденции и даже самые задачи развития национальной культуры. Безусловно, в интересах всей сербской нации было преодолеть существующую культурную отсталость Сербии и «догнать Европу». Но ведь нация не была чем-то абсолютно единым. Она была социально дифференцирована с самого начала своего формирования. В таком случае возникает вопрос: какая социальная сила (класс, слой) имела решающее значение при определении пути (тенденции) развития культуры данного периода? На этот вопрос приведенная выше концепция ясного ответа не дает. Создается впечатление, что эта концепция основывается на теории, согласно которой национальная культура, по крайней мере в начале своего становления, не имеет ясно выраженной социально-классовой дифференциированности, ее развитие протекает в едином

русле общенациональных интересов. Теоретически это можно допустить в силу неразвитости социальной структуры в первоначальный период развития сербской нации. Однако факты свидетельствуют, что в сербской национальной культуре уже на стадии становления достаточно отчетливо проявлялась социально-классовая дифференцированность. Ярким примером тому служит хотя бы история борьбы вокруг создания национального языка письменности, которая началась еще в XVIII в. и достигла своего апогея в середине XIX в. Язык, как известно,— категория вне-классовая, и тем не менее борьба по вопросу о том, каким должен быть *литературный язык*, с самого начала имела, кроме общекультурного, ярко выраженный социально-классовый аспект.

Еще в то время, когда известный деятель сербского Просвещения Досифей Обрадович в своем знаменитом произведении «Жизнь и приключения» выдвинул требование, чтобы «ученые люди» писали книги на народном языке, чтобы книги служили просвещению простого народа и учили его «свободно рассуждать о любых вещах», этому сразу воспротивились представители феодального клира и полуфеодальных кругов сербской буржуазии. Митрополит Стратимирович в письме к Д. Обрадовичу категорически возражал против того, чтобы речь «земледельцев или извозчиков, прислуги, пастухов и прочих подлеихших людей» стала языком будущей литературы и среды «священников, офицеров и ученых торговцев». Когда несколькими десятилетиями позже Вук Караджич начал осуществлять реформу языка и правописания, его противниками выступили те же общественные круги во главе с такими деятелями клерикальной верхушки, как митрополит Рајачич или представители верхних слоев буржуазии и буржуазной интеллигенции Саво Текелия и Йован Хаджич. Эти круги обвиняли Вука Караджича, кроме прочего, и в том, что он ратует за создание «культуры голодранцев». Сам Караджич, выходец из крестьянской среды и участник антифеодального восстания против турок, откровенно заявлял, что он предлагает реформу языка и культуры именно потому, что ему близки интересы «пахарей и пастухов» («подлеихших людей», по выражению митрополита Стратимировича), которых он, Караджич, считает «ядром наций», а не для того, чтобы угодить «высшему классу».

Таким образом, в самом начале складывания сербской нации и становления национальной культуры с полной отчетливостью был поставлен вопрос о том, кому, каким слоям общества должна служить вновь создаваемая национальная культура. И если говорить о главных тенденциях в формировании сербской национальной культуры, то они определялись ответом именно на этот, фундаментальный с точки зрения внутреннего содержания культуры, вопрос. И тут действительно определились две тенденции, но они имели иной смысл и характер, нежели это толкуется в вышеупомянутой концепции: одна — это тенденция создания такой культуры, в которой демократические элементы заняли бы

ведущее место и которая служила бы «ядру нации», т. е. широким, народным массам, и вторая — тенденция создания культуры, в которой ведущее положение заняли бы интересы общественной верхушки.

В борьбе этих двух основных, по нашему мнению, тенденций протекало развитие сербской национальной культуры как в период становления, так и на последующих этапах. В свете этой борьбы решались все важнейшие задачи развивающейся сербской национальной культуры, в том числе и задача преодоления относительной культурной отсталости или, иными словами, «включения в европейскую культуру». В связи с этим следует особо остановиться на вопросе об иностранных культурных влияниях, об их вреде или пользе с точки зрения сохранения и развития «самобытности, автохтонности, самостоятельности» национальной культуры. Этот вопрос вызывал и вызывает многочисленные споры и тогда, когда речь идет о его теоретической разработке и конкретных оценках смысла и значения тех или иных межнациональных взаимоотношений и влияний.

В некоторых специальных исследованиях высказывается мнение, что в сербской культуре «донационального» периода якобы произошел перерыв в развитии и отрыв от европейской культуры, в результате чего Сербия в эпоху перехода к капитализму представляла якобы «чистую ниву, свободную от груза отрицательного наследия и непосредственного иностранного влияния» (см.: *Др. Андрија Стојкавић*. Развитак философије код срба, стр. 11). Полного перерыва, как уже говорилось, в развитии сербской культуры не было, как не было и абсолютного отрыва от европейской культуры — ни западной, ни восточной,— хотя для некоторой части сербских земель возможности контактов с европейской культурой существовали в крайне ограниченных пределах. В переходный к национальной стадии период культура не была свободна от груза средневекового наследия как отрицательного, так и положительного. Этот «груз наследия» оставался не только в виде сохранившегося, хоть и обедненного фонда культурных ценностей из феодального периода, но и в виде феодально-церковного компонента культуры, который продолжал существовать в сербских землях в течение всего «донационального» периода и в последующую эпоху, когда складывалась национальная культура. Присутствовал и «груз» непосредственного иностранного влияния, в том числе и западноевропейского, ибо сербы не жили в полной изоляции от мира. Но контакты с инонациональными культурами и в донациональную, и в национальную эпохи также определялись социально-классовой дифференциированностью общества. Досифей Обрадович и Вук Караджич со своими единомышленниками — с одной, Стратимирович, Раичич, Хаджич — с другой стороны были в общем согласны с тем, чтобы Сербия «входила» в европейскую культуру, усваивала ее достижения. Разница состояла в том, что именно каждая из борю-

щихся сторон предлагала брать из инонациональных культур, с кем устанавливать контакты и чьи интересы при этом являлись решающими. А от этого зависело, какой смысл и характер приобретало контактирование с инонациональными культурами и какие последствия это имело для развития сербской национальной культуры. Надо признать, что до сих пор этот вопрос хоть и освещался во многих исследованиях, но еще далеко не изучен во всей его конкретности. Поэтому, очевидно, его разработка является одной из важнейших задач в комплексе исследовательских работ по выяснению закономерности развития национальных культур и конкретного, исторически обусловленного, проявления этих закономерностей в процессе становления сербской национальной культуры.

Ю. П. ГУСЕВ

РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ  
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ВЕНГРИИ  
КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX В.

Под литературой в данном случае понимаются не только собственно художественные произведения, но и литературная жизнь в целом, включая эстетические споры, зачатки литературной критики, публицистические выступления литераторов и т. п. Конец XVIII — начало XIX в. в Венгрии является эпохой Просвещения<sup>1</sup>, так что мы поведем разговор об анализе особенностей венгерского Просвещения, особенностей, которые объясняли бы, почему литература занимает в нем такое важное место. Собственно говоря, в комплексе идеологических и культурных явлений, из которых складывается понятие европейского Просвещения, литература вообще имеет большое значение как средство пропаганды и распространения просветительских идей, а в отсталой и раздробленной феодальной Германии литература (в лице Лессинга, Гёте, Шиллера) становится главной выразительницей передовой просветительской мысли. Поэтому, если даже на таком общеевропейском фоне мы подчеркиваем особую роль литературы в венгерском Просвещении, то, видимо, это связано с тем, что различие здесь не просто количественное, но качественное, функциональное.

Венгерское Просвещение формировалось в значительной мере под влиянием идей, проникающих сюда из стран Западной Европы, ушедших далеко вперед по пути буржуазного развития. Однако значение этого влияния, сколь существенно оно ни было, не следует преувеличивать: размах венгерского Просвещения не может быть объяснен лишь «импортом» просветительских идей с Запада. Идеи просветительства давали в Венгрии столь поразительные всходы потому, что попадали на благоприятную почву: в последней трети XVIII в. сама социально-политическая деятельность Венгрии созрела для восприятия этих идей, направленных против феодальных, средневековых пережитков, в чем бы они ни проявлялись: в крепостнических ли отношениях, в клерикализме или в невежестве.

Как известно, расцвет венгерской государственности и культуры, начавшийся в XV в. и достигший вершины в годы правления короля Маттиаша I Хуньяди (Корвина), был прерван турецким нашествием. Поражение при Мохаче (1526 г.) надолго предопределило судьбу Венгрии, попавшей под турецкое иго; хотя традиции венгерского Возрождения продолжали жить в сознании образованного слоя венгерского общества и, соединяясь с герои-

кой борьбы против завоевателей, а позже, растворяясь в культуре барокко, смогли породить целый ряд выдающихся поэтических достижений (достаточно упомянуть такие имена, как Балинт Балашши в XVI в. и Миклош Зрини в XVII в.), тем не менее длительное порабощение оказывало свое действие, подтачивая постепенно духовные и творческие силы народа. Когда Габсбурги помогли вытеснить турок с территории Венгрии, это принесло венгерскому народу лишь относительное облегчение: турецкое иго сменилось австрийским — менее варварским, но более изощренным; к тому же с Габсбургами в Венгрию пришла контрреформация с ее религиозной нетерпимостью и обскурантизмом. В 1711 г. было подавлено освободительное движение под руководством Ференца Ракоци II, и последний оплот венгерской независимости (Трансильванское княжество) перешел в руки императоров Священной Римской Империи. Последовавшее за этим полустолетие (до появления в 70-х годах XVIII в. первых просветителей во главе с Дьердем Бешеньеи) является периодом упадка, обеднения венгерской культуры, когда лучшие ее традиции продолжают жить, так сказать, подпольно, например в устном народном творчестве и в эмигрантской литературе. Сам венгерский язык постепенно вытесняется из обихода, с одной стороны, латыню — языком католической церкви и, с другой стороны, немецким языком, насаждаемым австрийским двором.

Таким образом, развитие венгерского общества, вследствие неудачно сложившихся исторических обстоятельств, было весьма сильно задержано. Ко второй половине XVIII в. венгры все еще оставались нацией феодальной. В то же время феодальное дворянство и аристократия все более становились тормозом общественного развития. Заинтересованный в поддержании феодальных отношений, класс этот — в массе своей — не оказывал практически никакого сопротивления Габсбургам, особенно перед лицом участившихся в 30—60-х годах XVIII в. крестьянских восстаний. Если турецкое иго было трагедией для всех слоев общества, то австрийский, «европейский» вариант порабощения, обеспечивал более или менее спокойное существование и даже сохранение привилегий дворянству, особенно крупному. К тому же венгерское дворянство, в отличие от дворянства большинства других стран Восточной Европы, было не только объектом угнетения, но и само угнетало другие народы: словаков, сербов и др.; ясно, что венгерские магнаты чувствовали себя гораздо спокойнее, когда за спиной у них стояла австрийская армия. Подчиняясь давлению австрийской администрации, венгерские феодалы довольно быстро принимали католицизм и легко поддавались онемечиванию, так что к середине XVIII в. в замках венгерских аристократов венгерская речь стала редкостью. Если в эпоху Ренессанса, да и в XVII в. дворы крупных феодалов были не только военными и административными, но и культурными центрами, то в XVIII в. положение изменилось: хотя магнаты, благодаря возможности

путешествовать по всей Европе и сбирать великолепные библиотеки, и были часто весьма образованными для своего времени людьми, тем не менее сами они и их окружение утратили, вследствие оторванности от национальной почвы, роль среды, хранящей и развивающей культурные традиции венгерского народа. Таким образом, тот общественный слой, экономическое и политическое господство которого и без того все более становилось историческим анахронизмом, оказался лишенным и функций носителя национальной культуры. Это обстоятельство, естественно, лишь усугубило кризисное состояние венгерской литературы и искусства.

Между тем новый буржуазный класс, который мог бы стать ведущей силой венгерского общества (как это уже произошло в передовых странах Западной Европы), находился пока в эмбриональном состоянии. Наряду с общим отставанием исторического процесса в Венгрии серьезным препятствием для развития буржуазии была административная и экономическая политика Австрии по отношению к Венгрии. Даже тот небольшой слой торговцев и промышленников, который к тому времени имелся в крупных городах, состоял в основном из переселившихся сюда иностранцев; венгерская культура, понятным образом, мало их интересовала. Эта чужеязычная прослойка лишь спустя несколько десятилетий активно включается в культурную жизнь Венгрии.

Поэтому, когда потребность развития начинает ощущаться в Венгрии особенно остро, сторонники прогресса, носители передовых устремлений выходят из среды дворянства, прежде всего, конечно, мелкопоместного; это явление нам знакомо и по русской истории, и по истории многих других стран Восточной Европы.

Картина общественной жизни Венгрии конца XVIII в. осложняется еще одним явлением, которое, не будучи сугубо венгерским, тем не менее в Венгрии играло особенно важную роль. Имеется в виду так называемое дворянское сопротивление 80-х годов, направленное против деятельности Иосифа II. Стремясь укрепить свое лоскунчное государство, привязать его к центральному владению, Австрии, Иосиф II проводил политику так называемого просвещенного абсолютизма — политику, которая призвана была, говоря современным языком, несколько «модернизировать» государственное устройство. В духе этой политики Иосиф II ослабил влияние католической церкви, в значительной мере усовершенствовал систему образования, обеспечил некоторую свободу печати; важное значение имело то обстоятельство, что в Венгрии он пытался (разумеется, исходя при этом не столько из гуманистических соображений, сколько из интересов имперской казны) переложить часть налогового бремени с крепостного крестьянства на плечи дворян. Относительная прогрессивность реформ Иосифа II сказалась, например, в том, что в Венгрии несколько возросли возможности для появления недво-

рянской («разночинской», если этот термин можно применить к данной обстановке) интеллигенции, которая уже в 90-х годах начинает играть немаловажную роль в общественной и культурной жизни, в какой-то мере восполняя отсутствие национальной буржуазии; так, интеллигенция составляет основную массу участников якобинского заговора Мартиновича; из демократических слоев выходят такие видные деятели Просвещения, как близкий к якобинцам поэт Янош Бачани, один из крупнейших представителей сентиментализма в венгерской литературе конца XVIII в. Габор Дайка, замечательный поэт конца XVIII — начала XIX в. Михай Чоконаи, поэт Михай Фазекаш и др.

Однако деятельность Иосифа II была противоречивой: многие его нововведения весьма сильно ущемляли национальные интересы Венгрии — особенно его указы о введении немецкого языка в школе и в административной деятельности; кроме того, Иосиф II не только не ослабил систему колониальной эксплуатации Венгрии, но, напротив, усилил ее: при нем Венгрия окончательно была выведена из сферы действия политики промышленного протекционизма. Вследствие этого и лагерь йозефинистов в Венгрии играл гораздо менее важную роль, чем, например, в Чехии.

Хотя недовольство политикой Иосифа II в Венгрии было весьма широким, однородным оно не было. Представители «дворянского сопротивления», в частности, нападали на Иосифа II *справа*: главной причиной их недовольства было то, что король пытался урезать феодальные привилегии венгерских дворян. Что касается просветителей, то они критиковали Иосифа *слева*: за непоследовательность, половинчатость его реформ, за сдерживание экономического развития Венгрии. Таким образом, оба лагеря выступали с совершенно различных, даже противоположных позиций, имели в виду различные, даже исключающие друг друга цели. Тем не менее они смогли какое-то время идти вместе: общим пунктом, который объединял их, была борьба за независимость Венгрии вообще и за венгерский язык, против онемечивания, в частности.

Разумеется, даже в этом вопросе противники Иосифа II исходили из различных интересов, сопротивлялись онемечиванию по различным побуждениям. Консервативное дворянство мечтalo о независимой Венгрии как о феодальной, дворянской стране с пезыблемым крепостническим строем. Один из ведущих деятелей «дворянского сопротивления», Йожеф Гвадани, выдвинул красноречивый лозунг: «omnis mutatio periculosa» («всякое изменение опасно»). Собственно говоря, и к венгерскому языку представители этого движения подходили с консервативной точки зрения: венгерский язык нужен был им главным образом для того, чтобы отгородиться от европейских влияний, от идущего с Запада, особенно из Франции, духа свободомыслия; пожалуй, именно в эти годы зарождается идеология венгерского национа-

лизма, девиз которой — «extra Hungariam non est vita» («вне Венгрии нет жизни») — приобрел позже такую печальную известность. Националистической узостью веет, например, от взглядов Андраша Дугонича, написавшего по-венгерски учебник математики с целью доказать, что, по его собственным словам, «немецкий язык в объяснении наук никогда так силен быть не может, как венгерский»<sup>2</sup>.

Просветители, разумеется, трактовали вопрос о родном языке в другом плане: для них он был связан с необходимостью преодолеть средневековую темноту и невежество, культурную отсталость страны. А темнота и отсталость в сознании просветителей являлись следствием зависимости от Австрии, колониального угнетения Венгрии<sup>3</sup>. Забота о языке, таким образом, была тем вопросом, в котором пересекались различные аспекты национальной жизни и решением которого неминуемо должна была начаться любая деятельность, направленная на развитие национальной культуры.

Первые попытки поднять, осмыслить эти проблемы содержатся — пока, правда, в нечеткой форме — уже в первых написанных на венгерском языке классицистических трагедиях Дьердя Бешеньеи, вышедших в свет в 1772 г. Позже он сформулировал задачи, стоящие перед просветительством в обстановке Венгрии тех лет, уже в философско-публицистических работах. Однако даже там, где он говорит о необходимости поощрения наук, он тесно связывает вопрос о науке с вопросом о венгерском языке как важнейшем условии расцвета нации и национальной культуры. Об этом идет речь, например, в его проекте создания Венгерского ученого общества (1781 г.), т. е. Академии наук. Стоит привести несколько строк этого документа, так как трудно изложить суть венгерского Просвещения более лаконично и точно, чем это сделал сам Бешеньеи. «Одно из наипервейших средств для достижения счастья есть наука,— писал он.— Чем она обычнее среди жителей, тем та страна счастливее. Ключ же к науке — язык, а поскольку для большей части [жителей] обучение многим языкам невозможно, то, стало быть, это есть собственный язык каждой страны. Возведение его в совершенное состояние должно стать главной заботой той нации, которая стремится ввести в употребление науку и через нее печься о счастьи своих жителей желает»<sup>4</sup>. Наука, счастье жителей страны (причем, как это нетрудно видеть, *всех* жителей, даже тех, у кого нет возможности обучаться языкам) и совершенствование родного языка объединены, как мы видим, в одну задачу.

Подобные взгляды в 70—80-х годах XVIII в. получили, как под влиянием Бешеньеи, так и помимо него, широкую популярность среди прогрессивно мыслящих дворян и среди интеллигенции. Для иллюстрации приведем слова Шамуэля Дечи, который, будучи не литератором, а врачом и живя в Вене, не менее четко, чем Бешеньеи, выразил просветительскую программу расцвета

венгерской нации в работе «Паннонский феникс, или восставший из пепла венгерский язык»: «Дабы подняться на высшую ступень как природного, нравственного, так и гражданского счастья, возьмемся же с превеликим усердием возделывать национальный язык наш, приумножать богатство его и красоту, как это делают другие европейские ученые нации...»<sup>5</sup>.

Когда Иосиф II готовился издать свои указы о введении в школах и в административном обиходе немецкого языка, под эти мероприятия была подведена теоретическая база: составители указов заявляли, что-де венгерский язык — язык варварский, неразработанный, что у венгров «имеющего быть во всеобщем употреблении собственного языка вообще нет»<sup>6</sup>, ссылались на тот факт, что в венгерской литературной практике широко употреблялась латынь. Спеша опровергнуть подобное мнение, венгерские литераторы начали лихорадочную деятельность по усовершенствованию языка. При этом много внимания уделялось, в частности, изобретению слов для обозначения новых, ранее не существовавших понятий. В процессе этой работы было сочинено, конечно, немало слов-уродцев (наподобие наших знаменитых «мокроступов»), но очень многие слова, созданные в те годы, вошли в обиход, были приняты языком.

Сущность литературно-языкового движения тех лет довольно четко выражена у Дьердя Бешеньеи, который, говоря в одной из своих прокламаций о необходимости работать над совершенствованием национального языка, аргументировал это тем, что «пока крепостные говорят по-венгерски, то и господам венгерский язык забыть никак нельзя»<sup>7</sup>. Эти слова, как нельзя лучше, подтверждают тот вывод, что борьба за сохранение венгерского языка «была исходным пунктом борьбы против феодализма, начальной формой борьбы за буржуазное единство нации, против феодального, сословного „разделения“ дворянства и крепостного крестьянства»<sup>8</sup> (Йожеф Реваи).

Стремительно возросшее внимание к венгерскому языку, венгерской культуре послужило стимулом для бурного подъема литературы, которая стала естественной базой для совершенствования языка. Однако этот подъем, именно в силу своих масштабов и интенсивности, создает новое качество: литература выдвигается на первый план и как фактор активного развития общественного сознания становится ареной борьбы прогрессивных сил, как против внешнего угнетения, так и против «внутренних» барьеров прогресса: ограниченности консервативного дворянства, обскурантизма католической церкви, бесчеловечной эксплуатации крестьян, невежества. Литература отражала живое движение философской, социальной и политической мысли: произведения часто содержали положения, воспринимавшиеся как прямая программа действия (в первую очередь это относится к популярному в те годы жанру так называемых прокламаций — публицистических выступлений по актуальным вопросам общественной жизни). Сатириче-

ский роман «Путешествие Тарименеса» Дьердя Бешеньеи, его же философские поэмы и знаменитые прокламации, политическая лирика Яноша Бачани, публицистика Йожефа Кармана, пасмешливая и горькая поэзия Михая Чоконаи — все это не только выдающиеся (особенно на фоне литературного застоя предыдущих десятилетий) достижения венгерской литературы, но и наивысшее выражение национального самосознания (поскольку можно говорить о *национальном* самосознании применительно к той эпохе). Какой-то стороной своей деятельности стремительному развитию литературы способствовали и представители «дворянского сопротивления»: не только потому, конечно, что они были сильными партнерами в спорах и не позволяли сторонникам прогресса самоуспокоиться, но и главным образом потому, что участвовали в шлифовке языка, в совершенствовании художественных приемов и форм — пусть при этом и равнялись в основном на старые образцы. Литературный подъем выразился, если брать чисто художественный аспект, в обогащении жанровой системы, в росте мастерства венгерских литераторов, в остроте, актуальности проблематики произведений. Наблюдается расцвет книгоиздательства, общее оживление литературной жизни, повышенная общественная активность литературы. В эти годы появляются первые периодические издания на венгерском языке: в 80—начале 90-х годов были основаны четыре газеты (правда, три из них издавались в Вене), а также четыре литературных журнала. Почти все эти издания оказались недолговечными, но они тем не менее сыграли свою роль в мобилизации культурных сил страны. В первой половине 90-х годов возникает существовавший, правда, короткое время первый в Венгрии театр, осуществлявший постановки только на венгерском языке; значение этого факта для завоевания национальным языком прав гражданства трудно переоценить.

То обстоятельство, что первый период Просвещения в Венгрии (70—80-е годы XVIII в.) совпал с «дворянским сопротивлением» и что оба эти движения имели общую (по крайней мере во внешних ее проявлениях) доминанту — патриотическую направленность, выражавшуюся прежде всего в литературе,— создает своеобразную ситуацию. Оба движения как бы попадают в резонанс и усиливают друг друга: просветительские требования громче звучат, подхваченные волной «дворянского сопротивления», а «дворянское сопротивление» в свою очередь благодаря просветителям получает оформленность и общественную остроту. Однако этот, в какой-то мере противоестественный, союз разнородных явлений в конечном счете сослужил просветительству плохую службу: когда в 1790 г. Иосиф II, напуганный Великой Французской революцией, уступил требованиям дворян и отменил значительную часть своих декретов, венгерское Просвещение оказалось в крайне трудном положении, так как основная масса дворян, естественно, отказалась поддерживать просветителей. «Дворянст-

во согласилось пойти на сделку с домом Габсбургов, чтобы и далее без помех эксплуатировать крестьян и наживать состояние, пользуясь конъюнктурой, выросшей вследствие направленных на подавление революции войн»<sup>9</sup>.

Обстановка, когда Просвещение в Венгрии оказывается пре-данным подавляющей частью дворянства, способствовала интен-сивной поляризации общественных сил: консервативное дворянство все более сдвигается вправо, особенно после якобинского переворота во Франции, а прогрессивные элементы, напротив, все более радикализуются. В результате рождается столь же уникальное для Центральной Европы, сколь и прежде временное явление — движение венгерских якобинцев, с которым жестоко расправилось в 1794—1795 гг. правительство Австрии и которое было связано с народом, пожалуй, еще меньше, чем декабристы в России.

Почти десятилетний период политической реакции, наступивший после разгрома якобинского заговора Мартиновича, стал как бы перерывом, паузой в истории венгерского Просвещения. Большинство деятелей Просвещения или умерли, или находились в тюрьме, или ушли, выражаясь современным языком, во «внутреннюю эмиграцию», т. е. пережидали тяжелые времена в своих имениях. Идеология Просвещения жила и действовала в этот период лишь подспудно, опосредованно, как, например, в лирике Чоконаи. Даже наполеоновские войны почти не всколыхнули страну: лишь очень немногие (например, Янош Бачани) связывали с Наполеоном надежды на то, что с его помощью Венгрия может обрести самостоятельность. К этому времени прекратили свое существование все журналы, основанные в 80—90-х годах; замерли, задавленные гнетом цензуры, издательское дело и книготорговля.

В такой обстановке начался — в конце первого десятилетия XIX в. — новый этап просветительского движения, связанный с именем Ференца Казинци, вышедшего в 1801 г. из тюрьмы, куда он попал за близость к заговору Мартиновича. Казинци и его единомышленникам пришлось по сути дела начинать все с самого начала, вновь бороться за те цели, которые Бешеньеи выдвинул еще сорок лет назад. В то же время нельзя сказать, чтобы Казинци начал совсем на пустом месте: за плечами у него и его соратников был большой опыт борьбы, была довольно сильная просветительская традиция. Тем не менее возможности просветительства в этот период были очень ограниченны, и путь, на который встал Казинци, был в сущности единственno реальным. Просветительская деятельность на этом этапе свелась к борьбе за обновление и совершенствование литературного языка. Если до 1794 г. Казинци симпатизировал якобинцам, перевел и готовился распространять «Общественный договор» Руссо, то теперь его деятельность была гораздо дальше от политики, ограничивалась сугубо литературными и языковыми вопросами.

Казинци выступил с программой создания единых для всей венгерской литературы языка и стиля, которые были бы, с одной стороны, свободны от диалектных и простонародных слов и, с другой стороны, обогащены опытом лучших образцов древней и новой — для того времени, конечно, — венгерской литературы, обогащены тем новым словарным запасом, который был введен в обиход просветителями предыдущего периода. В своих эпистолях и эпиграммах Казинци высмеивал защитников устаревших, архаичных норм и правил. Так, в «Пиитической эпистоле другу моему Михаю Витковичу» он нарисовал сатирический образ провинциала, приверженца старомодной семинарской поэзии, который:

Не чтит в себе владыку языка,  
К законам речи глух, слов новых не творит,  
Любит лишь старые, да свято чтит обычай,  
Как говорит, так пишет,— словом, кто  
Рожден здесь, вырос здесь,— и здесь помрет<sup>19</sup>.

Программа, которую предложил Казинци, имела скорее эстетический, чем чисто языково-стилистический смысл. Казинци стремился к тому, чтобы венгерская литература избавилась от приземленности и провинциализма, достигла бы уровня западноевропейских литератур. Движение за обновление языка, так же как и первая волна просветительства, вызвало активизацию литературной жизни, втянуло в свою орбиту большинство литераторов того времени в качестве сторонников или противников обновления. При этом некоторые литераторы, участвовавшие в этом движении или примыкавшие к нему (например, Даниэль Бережени), по масштабам поэтического таланта превосходили Казинци, однако заслуга последнего, его вклад в венгерскую литературу определяется не столько его собственными произведениями, сколько ролью теоретика и организатора, сумевшего менее чем за одно десятилетие (к 1819 г.) привести движение за обновление языка к полной победе.

Между тем взгляды Казинци не были лишены противоречий: так, он считал, что поставленных целей литераторы могут достичь, не пытаясь создавать оригинальные произведения (на это венгерская литература, по его мнению, пока не была способна), а переводя лучшие произведения западных литератур и стремясь при этом добиться максимальной эквивалентности художественного выражения. Именно в этом пункте бывшие соратники Казинци, в том числе первый венгерский поэт-романтик Ференц Кёльчей, разошлись с ним и пошли дальше, так что программа Казинци уже в 20-х годах XIX в. оказалась исчерпавшей себя. Однако в общей перспективе литературного процесса деятельность по обновлению языка имела огромное значение: передовые эстетические принципы, на которые она опиралась, во многом способствовали тому, что в 30—40-х годах венгерская литература в лице

Вёрёшмарти, Этвёша и особенно Петефи сделала огромный рывок вперед, выйдя на общеевропейскую арену.

Движение, которое возглавлял Казинци, имело еще и то значение, что благодаря ему была сохранена и пронесена через темные времена реакции просветительская традиция, идущая от Дьердя Бешеньеи. Петефи называл Казинци спасителем венгерской нации; его деятельность во многом подготовила идеологическую почву эпохи борьбы за реформы и, в более отдаленной перспективе, революции 1848—1849 гг. Взгляды большинства ведущих деятелей этой эпохи, в том числе Иштвана Сечени, Лайоша Кошути и, наконец, самого Шандора Петефи, во многом опирались на традиции просветительства, вырастали из них.

\*

Таким образом, если до 1795 г. литература играла в венгерском Просвещении и вместе с тем в борьбе прогрессивных сил венгерского общества *ведущую* роль — в силу того, что собственно просветительские идеи, через которые получали выражение потребности буржуазного развития, тесно переплетались с борьбой за сохранение нации как таковой,— то в первые два десятилетия XIX в. литература стала по сути дела *единственной* сферой, в которой просветительские тенденции продолжали жить и влиять на умы. В конечном счете борьба за обновление, развитие языка и литературы оказалась в те годы «единственным возможным путем буржуазного прогресса в Венгрии»<sup>11</sup> (Йожеф Саудер). В эпоху Просвещения в Венгрии национальная литература стала чрезвычайно важным фактором и показателем национального единства, тем более что прочие, естественные для других условий факторы (государственность, интенсивная хозяйственная деятельность), в находящейся на положении австрийской колонии Венгрии практически отсутствовали. Представление об исключительной роли литературы в общественном развитииочно жило в умах и даже сказывалось порой на ходе событий вплоть до 1848 г. Собственно говоря, с этим можно связать и тот факт, что в революции 1848—1849 гг. самым последовательным и самым радикальным революционером выступил не кто иной, как поэт Шандор Петефи.

С другой стороны, отмечая особую роль литературы в общественной жизни Венгрии конца XVIII — начала XIX в., мы не должны это явление абсолютизировать и, выводя его за пределы конкретных социально-исторических условий, видеть в нем какую-то специфическую черту венгерского развития вообще (попытки такого рода имели место, например, в 1956 г.). Ведь прямой причиной такой исключительной роли литературы было то, что развитие венгерского общества, вследствие объективных трудностей, сильно запаздывало по сравнению с развитием стран Западной Европы да к тому же еще искусственно тормозилось коло-

ниальной политикой Австрии, и политическая, философская, научная мысль была искусственно подавлена.

В заключение следует сказать, что, говоря об особой роли литературы в Венгрии эпохи Просвещения, мы не имели в виду как-то обособить Венгрию от других стран Восточной и Центральной Европы. Ситуация, сложившаяся в Венгрии, была скорее типична для тех стран, которые были лишены государственной самостоятельности и в которых окончательное формирование буржуазной нации, по разным причинам, задерживалось. Однако своеобразие конкретных социально-исторических условий даже в странах, входивших в империю Габсбургов, порождает специфику и литературного процесса, и взаимоотношений литературы и общества в этих странах.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> В венгерской науке начало эпохи Просвещения принято связывать с конкретным литературным событием — появлением в 1772 г. первых классицистических трагедий виднейшего венгерского просветителя Дьердя Бешенеи. Что касается конца этой эпохи, то здесь мнения разделяются. Некоторые видные венгерские ученые, например литературовед Йожеф Вальдапфель, считают, что Просвещение в Венгрии заканчивается в 1795 г., когда был разгромлен якобинский заговор Мартиновича и в стране воцарились реакция. Однако, на наш взгляд, более правильна точка зрения Йожефа Саудера, который включает в рамки Просвещения возглавляемое Казинци движение за обновление литературного языка и таким образом раздвигает границы этой эпохи до середины 20-х годов XIX в.

<sup>2</sup> Цитируется по книге: *Waldapfel J. Magyar irodalom a Felvilágosodás korában. Budapest, 1963, 49.о.*

<sup>3</sup> Передовые представители венгерской общественной мысли сознавали, что их страна не просто зависит от Австрии, но является ее колонией; об этом косвенно свидетельствует тот факт, что в Венгрии широкой известностью (особенно среди тех, кто был близок к якобинскому движению) пользовалась книга Гийома Ренала «Философская и политическая история заведений и коммерции европейцев в обеих Индиях» — один из первых документов, разоблачающих сущность колониализма.

<sup>4</sup> «Szöveggyüjtemény a Felvilágosodás és a Reformkorszak irodalmából». 2. kötet, 1. rész. Budapest, 1952, 99.о.

<sup>5</sup> Там же, 72.о.

<sup>6</sup> Приводится по книге: *Waldapfel J. Magyar irodalom a Felvilágosodás korában. Budapest, 1963, 60.о.*

<sup>7</sup> «Szöveggyüjtemény...», 72.о.!

<sup>8</sup> *Révai J. Válogatott irodalmi tanulmányok. Budapest 1960, 12.о.*

<sup>9</sup> *Waldapfel J. Magyar irodalom a Felvilágosodás korában. Budapest, 1963, 46. о.*

<sup>10</sup> «Szöveggyüjtemény...», 665.о. Перевод автора.

<sup>11</sup> «A magyar irodalom története 1849—ig». Budapest, 1968, 193.о. Эту же мысль высказывает в цитированной выше книге и Йожеф Вальдапфель: «...Это движение [движение за обновление языка.—Ю. Г.] — уже и еще — единственная возможность борьбы за буржуазный прогресс и, с другой стороны, сама борьба за буржуазный прогресс временно сужается, сводится к потребностям развития языка и литературы» (стр. 16). Все же, несмотря на такое единодушие венгерских ученых, следует, видимо, сказать, что движение буржуазного прогресса продолжалось — пусть в скрытой, неявной форме, но и по другим каналам.

## ФОРМИРОВАНИЕ РУМЫНСКОЙ НАЦИИ И СТАНОВЛЕНИЕ РЕАЛИЗМА В РУМЫНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Поражение революции 1848 г. в дунайских княжествах положило конец романтической мечте о возможности единым ударом разрубить сложный узел феодальных пут.

Если для предреволюционного периода, для периода подготовки революции 1848 г. было характерно ощущение общенационального подъема, опирающегося на общенародное чувство необходимости общественного переворота, то поражение революции рассеяло его. Если в предреволюционный период буржуазия нуждалась в поддержке и искала ее в крестьянстве, то на послереволюционном этапе, борясь против феодала-собственника, буржуазия (сама собственница) вынуждена была искать в этой борьбе компромиссных решений, идти на сговор с боярством. Если в предреволюционный период буржуазные идеалы свободы, равенства и братства представляли в незамутненном, идеальном виде и в соответствии с социально-экономическим уровнем развития княжеств облекались в романтическую утопию о создании «справедливого» государства работников-земледельцев, то в послереволюционный период они все явственнее обнаруживают свое буржуазное содержание.

Процесс формирования нации как общий результат самоутверждения национальной буржуазии оказывает свое воздействие и на румынскую литературу. Романтическая по общей своей тональности, по одухотворенности общенародным порывом в предреволюционный период, она долгое время (до конца 80-х годов) в своей значительной части продолжает быть романтической и после 1848 г. Однако, по мере выявления буржуазной сущности тех требований, которые еще в 1848 г. представлялись общенациональными, общепатриотическими, все явственнее начинают звучать в ней не только антифеодальные, но и антибуржуазные критические ноты. Литература не только отмечает буржуазную ограниченность и своеокрыстие, но и ищет новую точку опоры для гуманизма. Происходит преображение понятия народа: будучи понятием социально почти не дифференцированным в предреволюционный период, скорее этническим, чем общественно-социальным, оно постепенно обретает все большую социальную четкость, в результате чего сближается с понятием крестьянства. Именно в крестьянстве, в осознании его экономической и культурной роли в жизни румынского общества того времени и его угнетенного, общественно-бесправного положения и находит литература новую точку опоры для своего гуманизма. Но это происходит не сразу, и новый идеал достаточно четко оформляется только в 80-е годы.

Румынская литература 50-х годов все еще движима общенациональными идеалами, на которых выросло движение 1848 г. Писатели как бы «додумывают» те идеи, которые вдохновляли их в канун и во время революции. Да и сами эти идеи не были сняты с повестки дня, поскольку общественное развитие требовало и объединения в единое национальное государство, и освобождения от иноземного ига, и разрешения крестьянского вопроса. Таким образом получается, что кульминационный взлет литературы, для которой доминирующими был пафос романтизма национального возрождения, совпадает с периодом послереволюционной реакции, наступившей в княжествах.

Романтическое направление не иссякает почти вплоть до 90-х годов, но оно видоизменяется. Пафос национального самоутверждения был основой предреволюционного романтизма буржуазии. Романтизм, особенно творчество Эминеску, пронизывает горькое разочарование в буржуазном миропорядке. И вместе с тем та грязная политическая борьба, интриги и компромиссы, сопровождавшие образование «чудовищной коалиции» буржуазии и боярства, как называл ее И. Л. Караджale, не могли не вызывать пафоса общественного негодования (носительницей которого была опять-таки литература), породили и другое литературное направление — критический реализм.

Критический реализм и романтизм на протяжении 50—80-х годов не являются двумя направлениями, развивающимися параллельно и независимо друг от друга. Они взаимодействуют между собой. Нельзя сказать, что романтическая инвектива румынской буржуазии, выраженная Эминеску в таких стихах, как «Наша молодежь» (1876), «Моим критикам» (1883), в цикле «Посланий» (1881—1886), была подготовлена или возникла под влиянием реалиста Караджale; Эминеску пришел к этому своим путем. Однако созвучие сатирика Караджale и сатирика Эминеску многозначительно, ибо в творчестве поэта-романтика подчеркивает твердые, реальные точки опоры в современной ему действительности. То же самое можно сказать и о Василе Александри, как авторе «Народной феерии», «Синяя и Попеля» (1880), когда он, не отступая от романтических форм художественного выражения, создает на основе фольклорного материала политическую сатиру на двухпартийную систему.

Знаменательным является и то, что Александри, который был настолько переполнен романтической патетикой в предреволюционный период, что вся широта понятия Родины для него уже воплощалась в одном этом слове, лишь написанном с большой буквы, пытается конкретизировать его, «приземлить», сделать по-человечески опуштимым. Политиканство и политikanы раскололи единство и неделимость этого понятия, и он старается найти для него незыблемую основу. Естественно, что эту основу он нахо-

дит в первую очередь в родной природе, а стремясь запечатлеть ее (цикл «Пастели»), отказывается от «универсальности» романтической условности и воссоздает пейзажный облик родной страны предельно конкретно и чувственно ощутимо.

Проникновение реализма в романтическую структуру, наблюдаемое в румынской литературе 70—80-х годов,— явление не новое и не исключительное. В данном конкретном случае нужно только подчеркнуть, что происходит оно под воздействием тех же общественно-исторических условий, которые порождают и литературу критического реализма.

\*

Уже борьба за объединение княжеств обнаружила резкое социально-классовое расхождение по вопросу объединения в единое национальное государство. Тем более остро выразились классовые противоречия, когда на повестку дня встал крестьянский вопрос, весьма половинчато решенный аграрной реформой 1864 г.

Не только острыя, но и скандальная, грязная политическая борьба оказывает воздействие на литературу. Романтическая литература продолжает высоко нести знамя общественного блага, продолжает отстаивать те идеалы, за которые она боролась и до 1848 г. Но если остается неизменной ее гражданственность, то меняется ее внутренняя структура. Если для предреволюционного периода как средство борьбы с общественным злом характерен, к примеру, жанр басни, то в 60-е годы басню сменяет памфлет. Басня уже в силу своей условности делала несколько расплывчатым объект разоблачения, «социальный адрес сатиры» оказывался зачастую «размытым».

Решительный шаг на этом пути делает Богдан Петричейку Хашдеу (1838—1907), который как раз в период наиболее ожесточенной общественной борьбы выпускает первые в Румынии сатирические журналы «Агиуцэ» (1863—1864) и «Сатирул» (1866) и первым начинает культивировать жанр памфлета, что характеризует не только остроту общественной борьбы вокруг самых существенных проблем социального и политического уклада, но также и напряженность литературной атмосферы, в которой появляется и роман Николае Филимона (1819—1865) «Старые и новые народы» (1863). Это произведение знаменательно не только тем, что оно считается первым романом в румынской литературе. Его значение в истории румынской литературы обусловлено в первую очередь тем, что, начиная с этого романа, в литературном развитии четко вырисовывается реалистическое направление, которое, по мере дальнейшего развития литературы, набирает все большую и большую силу. История великого постельника Андроника Тузлука, его слуги и доверенного лица Дину Пэтурекэ, который продуманно и плапомерно разоряет своего хозяина и в конце концов занимает его место в жизни, предстает не как частная бытовая драма, а как отражение общего, законопо-

мерного исторического процесса, начавшегося еще в начале века, куда отнесено действие романа, и активизировавшегося после революции 1848 г.

Показательно, что Филимон не только не идеализирует Дину Пэтурекэ, не только не пытается придать ему какие-либо черты, которые могут вызвать хоть какую-то человеческую симпатию, наоборот, Пэтурекэ дан в обличительном, почти сатирическом свете.

Дину Пэтурекэ становится как бы прообразом многих персонажей румынской реалистической литературы и в первую очередь героев Караджале. Сам Филимон прекрасно понимал, что его Пэтурекэ — одно из главных действующих лиц в румынской общественной жизни всего XIX в. В «Прологе» он дает обличительный портрет высокочки-мироеда: «Любовь к Родине, свобода, равенство, верность принципам — все эти благородные слова, выражющие гражданские добродетели, за которые высокочка-мироед неустанно ратует на политических собраниях и в частных беседах, служат для него лишь ступеньками лестницы, по которой он хочет подняться к власти... Достигнув вершины власти, ради чего он совершил бесчисленное количество подлостей, вынес все унижения и объявил себя носителем всех добродетелей, не обладая ни одной из них, высокочка-мироед сбрасывает с себя маску лицемерия и предстает перед людьми во всей наготе своего ничтожества и мерзости своей душонки... Вот тип,— пишет Филимон,— проследить за метаморфозой которого мы и предлагаем вам. Он появился в эпоху фанариотов, облаченный в халат и с чернильницей у пояса, теперь же мы видим его затянутым в модный фрак, в безукоризненно белых перчатках, но по-прежнему творящим свое грязное дело».

Получилось так, что Филимон предложил проследить за «этим типом» не только читателю его романа, но и всей последовавшей за ним румынской реалистической литературе.

Дину Пэтурекэ, как тип у Филимона и как прототип Караджale, явление социальное. Он порожден переходной эпохой от феодализма к капитализму. Специфика развития румынского общества была такова, что капитализм вытеснял феодализм из экономической сферы куда медленнее, чем происходила замена феодальных общественных учреждений буржуазными. В связи с этим не фигура банкира, промышленника, предпринимателя, крупного купца, не эти «киты» становятся главным в общественной жизни, а «мелкая сошка», «караси» («Каракуди» — карась — персонаж одного из рассказов Караджале), порожденные системой буржуазного общественного устройства: писарь, стряпчий, адвокат, газетчик, учитель, стремящийся стать примером, городским головой, депутатом и даже министром. Подобная общественная среда, естественно, не могла породить характеры (как в человеческом, так и в литературном понимании этого слова), она породила мелких людипек, мелкие душонки, образовавшие, однако, определен-

ный социальный слой, играющий в общественной жизни далеко не последнюю роль. В связи с этим литература сосредоточивает внимание на том общественном зле, которое представляли из себя политиканы и политика, понимаемая как сумма всех средств, применяемых, чтобы добраться до государственной кормушки. Именно эта тема выдвигает крупнейшего представителя критического реализма в румынской литературе второй половины XIX в. Иона Луку Караджале (1852—1912).

Румынская литература критического реализма в самом начале своего становления не создает характеров, она сосредоточивается на социальном типе, притом весьма специфическом типе румынского политикана. В связи с этим основа ее не эпическая, а сатирическая.

Творчество Караджале-комедиографа не было спонтанным. Оно было подготовлено всем развитием румынской драматургии и в первую очередь деятельностью Василе Александри.

Его предреволюционные пьесы и написанные непосредственно после 1848 г. («Иоргу из Садагуры» — 1844, «Яссы во время карнавала» — 1852), — это комедии, высмеивающие в основном боярство. Нельзя сказать, что они только антифеодальные, поскольку объект осмеяния — боярство. Они и антибуржуазные, потому что боярство, которое Александри выставляет «напоказ», не патриархальное, не «кондное», а та новая «модификация», которая стремится идти в ногу с веком, стремится хотя бы внешне обуржуазиться. Главный герой Александри — «дворянин во мещанстве», стремящийся «европеизироваться» во всем, начиная от панталон, кончая языком, дворянин, презирающий свою Родину и все, что связывает его с ней. Высмеивая подобного боярина, Александри высмеивает и мещанина-буржуа, в оболочку которого втискивается боярство. «Дворянин во мещанстве» — фигура переходная, двойственная, «межеумочная», она достойна осмеяния, но в ней нет еще того, что нужно было бы сатирически изобличать. Поэтому комедия Александри — в основном комедия нравов.

К концу пятидесятых годов все четче вырисовывается фигура буржуа-политика, демагога-краснобая, интригана и лихоимца, которая не остается вне поля зрения Александри. Он создает три пьесы: «Санду Напоилэ — ультрапретроград» (1861), «Клеветич — ультрадемагог» (1861) и «Зевака — политический деятель», в которых подвергает осмеянию различные типы, подвзывающиеся на общественно-политической арене. Писатель точно выбрал объект, который нужно публично разоблачить, но его разоблачение не пошло дальше осмеяния. Все три произведения — короткие одноактные пьески с одним действующим лицом. Короче говоря, это монологи или «автопортреты» действующих лиц, причем по водевильной традиции эти монологи перемежаются песенками. Объект разоблачения был намечен, но Александри еще неставил перед собой задачи разоблачения буржуазной демократии, наиболее вы-

раженной в системе политической жизни. Когда же он поставил ее, то он, как романтик, создал лубочную комедию «Сынзяна и Попеля» (1880). На основе фольклорных мотивов он построил аллегорию, в которой высмеял двухпартийную буржуазную систему. Однако и здесь аллегоричность, отстраненность или завуалированность объекта смягчают силу разоблачения.

Нужно отдать должное Александри: он был предшественником Караджала на этом пути, и вместе с тем нельзя не видеть, что Александри оказалась не под силу то, чего достиг в своих комедиях Караджала как разоблачитель буржуазного миропорядка.

Романтическое обобщение в той или иной степени ограничено благодаря отстраненности романтического идеала от действительности. Объективность реализма как художественного метода позволяет глубже проникать в суть явлений, измерить каждое из них своей мерой, историчнее видеть взаимосвязь между ними.

Сатира румынских романтиков, обладающая силой эмоционального воздействия, уступала, однако, сатире реалистов, отличающейся глубиной проникновения в сущность общественно-политических явлений. Эмоциональная, субъективная критика буржуазного строя должна была со временем уступить критике реалистической, основанной на исторически объективной оценке действительности.

В трех своих главных пьесах («Бурная ночь» — 1878; «Господин Лоонида перед лицом реакции» — 1879; «Потерянное письмо» — 1884) Караджеле крупным планом разоблачает «трех китов», на которых держится буржуазное общество. В пьесе «Бурная ночь» Караджеле со свойственным ему чувством гротеска превращает комедию адюльтера в разоблачение частной собственности. В качестве главного действующего лица Караджеле берет купца Думитраке. Купец избирается им не случайно, а потому, что он главная фигура в румынском буржуазном обществе, которое по тем временам было почти целиком торговым. Фарсовая ситуация, когда Думитраке ревнует (и не без основания) свою жену, превращается комедиографом в нечто большее, чем просто осмейние рогодносца. На первом плане — не страсти, связанные с поруганной честью, оскорбленной любовью. Думитраке лишен всяких намеков на возвышенные чувства. Он самодовольный собственник, и его частную собственность одинаково составляют и лесной склад, и его жена Вета. Думитраке говорит о своей «чести семьянина» и о своей «амбиции», но эта честь и амбция бесстрастны, они вне сферы чувств человеческих, они целиком принадлежат инстинкту собственности. Любовный фарс превращается в социальную комедию, направленную против буржуа — охранителя частной собственности. Одноактная комедия «Господин Лоонида перед лицом реакции» — едкая сатира на либералов, пользующихся громкими словами «революция», «свобода», «братьство»; она выставляет на общественное осмение либеральную демагогию, страх перед настоящей революцией как на-

родным движением и тайные идеалы либерального буржуа — ничего не делать и за это получать от государства солидную пенсию.

Обе эти комедии были ступенями, по которым Караджала поднимался к вершине своей драматургии — комедии «Потерянное письмо». Сюжет, разработанный Караджала, чисто комедийный: в предвыборной кампании используется компрометирующее любовное письмо, которое переходит из рук в руки. На этой комической ситуации вырастает беспощадная сатира, которая показывает изнутри всю порочность буржуазной демократии, отвратительную сущность политикаанства, полное «моральное» единство беспринципных либералов и консерваторов. В этой комедии Караджала касается не отдельных пороков буржуазной общественно-политической системы устройства, а берет всю систему целиком и, вывернув ее наизнанку, подвергает осмеянию.

Караджала разоблачает выборную систему конституционной Румынии, т. е. самую сердцевину ее «демократии», показывает, чего стоит «борьба» между партиями, якобы пекущимися о благе народа, он выводит на чистую воду все разнообразные виды политиков, начиная от местных партийных «вождей» (Траханаке и Кацавенку) и кончая мелкой сошкой (Фарфурида и Брынзовенску). Динамика построения действия, доведенный до карикатуры трагизм («то вознесет его высоко, то в бездну бросит без стыда») позволили Караджала вывести на сцену не только социальные типы, но и создать человеческие характеры. Великое искусство Караджала как комедиографа и выразилось в том, что он соединил каждый социальный тип с человеческим характером, сумел найти для социальной маски соответствующего, говоря условно, исполнителя.

В комедиях Караджала сатира превращается в политическое разоблачение. Когда в Румынии зарождается рабочее движение, организуются первые социалистические кружки, Караджала получает право сказать о своем творчестве и о рабочих-социалистах: «И мы, и они боремся за лучшие справедливые и светлые времена. Рабочие избрали путь организации и политической борьбы, мы — иронию и язвительную шутку по адресу бездельников и свистунов, руководящих миром. Мы разрушаем то же, что разрушают они».

\*

Румынский романтизм второй половины XIX в. со свойственной ему идеализацией продолжал если не вдохновляться, то находить внутреннюю опору в возвышенных до значения символов понятиях свободы, равенства, братства, еще не нашедших своего конкретного выражения в пунктах конституции, скопированной с бельгийского образца, и извращенных до неузнаваемости практикой национального политикаанства. То прошлое, к которому обращались романтики, простипалось от конца XVI в., когда

Мирча-Старый впервые скрестил оружие с турками, до конца 1848 г., когда, казалось, вот-вот должна была воссиять желанная свобода, наступить братское единство нации и воцариться полная справедливость. И образ Мирчи-Старого в «Послании третьем» Эминеску, и его стихотворение «Эпигоны», — все говорит за это. Но, по мере обуржуазивания общества и государственности, миф о национальной неразделенности все больше и больше рассеивался, что невольно толкало на поиски иного идеала, иной точки опоры. И этот идеал, имя которому народ, тоже был найден романтиками.

Сознательное отношение к национальной культуре и главным точкам ее опоры — истории и языку, естественно, привело румынских романтиков к летописям и народному творчеству. И тут, и там, т. е. в летописях и в фольклоре, романтики находили общенациональный язык (это было безусловно) и общенациональное мироощущение (по крайней мере так им казалось).

Когда поэты-романтики открывали фольклор, то они прежде всего думали о его художественной ценности, о его поэтике как об основе для становления национальной литературы и не всегда по достоинству могли оценить то, что вместе с фольклором в национальную культуру и литературу входит новое действующее лицо — крестьянин, и не для того, чтобы пребывать в ней в застывшей форме этнографического и фольклорного «экспоната», а для того, чтобы жить, утверждать себя, бороться за свою долю.

Открытие фольклора начинается еще в первой половине XIX в. Сначала этот процесс носит как бы сугубо личный характер: каждый поэт открывает народное творчество сам для себя, внутренне осваивает его и в зависимости от характера своего таланта и восприимчивости к народной поэтике отражает его в своем творчестве. Так, народная песенная стихия проступает в творчестве Александри, а мудрая афористичность пословиц и поговорок отражается в баснях Григоре Александреску и других баснописцев. Фольклор просачивается в литературу в преображенном виде, пропущенный через личное восприятие каждого поэта. Первый и решительный шаг к тому, чтобы опубликовать народное творчество, делает Антон Пани (1794—1854). Главное его произведение — «Сборник пословиц, или сказ слова» (1847), представляет собой прокомментированное стихотворными пояснениями басенного типа собрание пословиц, распределенных по тематическим «разделам», и является как бы своеобразным поучением, наизданием в области этики и морали.

Первое издание «Народных песен» принадлежит Василе Александри (1852). Антон Пани и Василе Александри ввели в обиход национальной культуры народное творчество, заставили прислушаться и восхититься народной мудростью и народным поэтическим гением. Фольклор становится источником вдохновения, поэты осваивают совершенно особую ритмику и рифмовку народ-

ных песен, расширяя таким образом поэтические возможности литературного языка.

Вместе с фольклором в национальную культуру входит крестьянин с его мироощущением, с особым взглядом на мир. Но он еще не объект литературного исследования и в связи с этим его еще нельзя назвать общественным фактором с литературной точки зрения. Лишь став литературным героем, крестьянин получает свое место в комплексе общественной жизни, начинает подвергаться общественному осмыслинию. И вместе с тем крестьянская тема придает румынской литературе новую тональность социального звучания. Если открытая антибуржуазная сатира несла в себе социальный пафос отрицания, то крестьянская тема все четче и четче выявляет тот социальный «субстрат», во имя которого и от имени которого это отрицание провозглашается.

Таким литературным героем румынский крестьянин становится в творчестве Иона Крянгэ (1837—1889). Именно в его произведениях происходит тот переход от пассивного фольклорного «присутствия» крестьянина к активному действию в литературе. С этой точки зрения и фигура Крянгэ, и его творчество весьма примечательны, а как общественно-художественное явление, возможно, уникальны. Сын крестьянина, которому удалось стать дьяконом, лишенный этого сана за пренебрежение к церковному уставу и увлечение светскими удовольствиями (ношение париккулярного платья, увлечение театром), Крянгэ сам вырос на народной культуре и принес ее в литературу. Начав как писатель со сказок, пересказанных великолепным выразительным языком, он выступил не как фольклорист, записавший фольклорный сюжет с чужих слов, а как художник, самостоятельно придавший фольклорному сюжету художественную форму. Фольклорный, сказочный сюжет в свою очередь был для Крянгэ органической формой выражения его мироощущения, впитанного им с молоком матери. Уже в этом коренится глубокое различие между романтиками, открывавшими фольклор как некую «неведомую землю», и Крянгэ, который ощущал его как органическую форму выражения своего отношения к миру.

Это внутреннее различие, относящееся, возможно, более к проблеме психологии творчества, чем к вопросу творческого метода, на протяжении весьма короткого писательского пути Крянгэ обнаруживает себя, можно сказать перерастает, именно в методологическое различие, что происходит в связи с его внутренним осознанием себя как писателя. От первых сказок до «Воспоминаний детства» позиция Крянгэ не меняется: он остается крестьянином по мироощущению и рассказчиком как художник. Изменяется только «местоположение» этого рассказчика. Выступая как рассказчик сказок, Крянгэ полностью сливаются с крестьянином. Он не актерствует, не имитирует, не рядится в чуждый ему наряд, а высказывает о жизни в той художественной форме, которая была органической для него с колыбели. Но ему скоро становит-

ся ясно, что эта форма выражения слишком иносказательна для литературы и вместе с тем слишком «универсальна», чтобы в ней-то он и мог проявить все свои качества художника. Ощущив ограниченность сказки, как прямого выражения идей, Крянгэ как рассказчик меняет свое «местоположение»: он «выходит из субъекта» и превращает этот субъект (т. е. самого себя) в объект наблюдения и описания. Так рождаются «Воспоминания детства». Особенность и уникальность творчества Крянгэ в том и состоит, что он выступает как реалист, будучи и «сказочником», и объективным повествователем деревенской жизни.

Путь от сказки к объективному повествованию не был для Крянгэ переходом от романтизма к реализму. Творчество Крянгэ внутренне едино, ибо он всегда выступает как рассказчик, выражает ли он прямо свое мироощущение в иносказательной форме (сказки), повествует ли об услышанном (рассказы «Дед Ион Роатэ и объединение», «Дед Ион-Роатэ и господарь Кузя»), вспоминает ли о своем детстве. Крянгэ не писатель-сочинитель, придумывающий сюжет, обобщающий человеческие черты, дабы создать персонаж, варьирующий ситуации, чтобы раскрыть характер. Он — рассказчик, он идет от непосредственно пережитого и воспринятого им, и та основная форма, которой он пользуется как художник,— это сказ, вернее, разные вариации народного сказа, т. е. та форма, которая совершенно органично присуща ему — человеку и художнику. Но если можно говорить о единстве творчества Крянгэ на том основании, что все оно носит сказовый характер и выражает единое крестьянское мироощущение, то в илане общего развития румынской литературы оно занимает место как бы на стыке между романтизмом и реализмом. В его творчестве крестьянин, открытый романтиками в фольклоре, из фигуры, пассивно «присутствующей», превращается в фигуру, активно действующую. В творчестве Крянгэ заложен тот художественный импульс, который дает начало развитию крестьянской темы в румынской литературе, на которой вырастают такие блестящие представители реализма конца XIX — начала XX в., как Славич, Кошбук, позднее Садовяну. В творчестве Крянгэ заложен и тот идеинный импульс, который, сливаясь с «папоранистскими» идеями, на долгое время дает гуманистическую основу румынскому критическому реализму.

\*

Процесс формирования румынской нации, бурный финал которого падает на вторую половину XIX в., пробуждает к жизни литературу критического реализма, первым и основным объектом исследования которой становится буржуа. Причем утверждение критического реализма как литературного направления происходит на почве острой социальной и политической сатиры. Социальный анализ, которому литература подвергает общество,

заставляет ее в поисках общественного идеала уточнить недифференцированное у поэтов-романтиков предреволюционного периода понятие «народ» (народ — нация) и накрепко связать его с понятием «крестьянство». Таким образом, к концу века, точнее к 90-м годам, румынская литература критического реализма занимает твердую позицию общественного защитника народа, т. е. обездоленной крестьянской массы, поборника ее прав и выразителя чаяний, вместе с тем обличителя буржуазного зла. Эти две ведущие, наиболее характерные черты прослеживаются в румынской реалистической литературе и в двадцатом веке, вплоть до 1944 г.— переломного в истории румынского народа.

ШКОЛА ЭЛЬСНЕРА И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ  
ПОЛЬСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Изучение сложного и длительного процесса становления и утверждения черт национальной самобытности польской культуры, развитие которых привело к вершинным достижениям великих польских романтиков XIX в., требует постижения предшествующих этапов культурно-исторической эволюции. Среди них особенно важным представляется век Просвещения, идеи которого оказали принципиальное воздействие на процесс создания национальной классики в области литературы, театра, музыки, по который вплоть до последнего времени оставался малоизученным. Многие композиторы той поры оказались забытыми или недооцененными. Наша эпоха принесла уже сравнительно многочисленные публикации их произведений, работы об Эльснере, Огинском, Лесселе, Курпинском, Марии Шимановской, Лигиньском, Островском, определила связи творчества этих композиторов с писателями, деятелями театра и мастерами изобразительного искусства, воскресила такие памятники этико-эстетической мысли, как «Рукопись, найденная в Сарагоссе» Яна Потоцкого. Постепенно все четче вырисовывается та роль, которую сыграла в истории польской художественной культуры школа Эльснера — мудрого учителя Шопена, наставника многих польских композиторов, деятельность которых дает нам право говорить именно о школе, сложившейся в Польше в начале XIX в.

Юзеф Антони Францишек Эльснер (1769—1854) занимает в истории польской культуры особое место. Уроженец Гродкова в Силезии, Эльснер, хотя и был прусским подданным и протестантом (манифест Фридриха II, появившийся в 1741 г., как известно, лишил католиков многих гражданских прав), но так же, как и его отец и мать, пел в детстве польские песни, звучавшие порой даже в лютеранских храмах. Не подлежит никакому сомнению, что, какие бы меры ни принимали прусские власти для германизации вроцлавской епархии, народная культура этих исконных польских земель оказалась достаточно устойчивой. Об этом нельзя забывать, говоря о долгой жизни Эльснера как талантливого и разностороннего деятеля польской культуры.

С его именем связан век Просвещения, к высоким идеям которого приобщил Эльснера в конце XVIII в. «отец польского театра» Войцех Богуславский (1757—1829). В десятилетия, ознаменовавшиеся расцветом польской культуры, достигшей во второй четверти XIX в. классических высот, Эльснер по справедливости считался одним из крупнейших ее деятелей. Литература

о нем, открывающаяся биографическим очерком Богуславского, включившего этот очерк в двенадцатитомное собрание своих сочинений (1820—1823)<sup>1</sup>, на протяжении последних лет неуклонно растет, хотя мы до сих пор не можем считать сколько-нибудь полными сведения о жизни, творчестве и, видимо, очень сложном мировоззрении этого выдающегося человека.

Длившаяся несколько десятков лет творческая, педагогическая, дирижерская и музыкально-общественная деятельность Эльснера оказала столь сильное воздействие на развитие польской музыкальной культуры первой половины прошлого века, что он по праву может считаться главой польской музыкальной школы, выдвинувшейся в мировой музыкальной культуре после смерти Бетховена и Шуберта на первый план, прежде всего благодаря творческим свершениям Шопена, гениального ученика Эльснера.

Нет надобности напоминать хорошо известные высказывания Шопена о своем учителе, который в возрасте уже примерно семидесяти лет писал, что Шопен «своей гениальной игрой на фортепиано, равно как и своими произведениями, начал новую эпоху в истории этого инструмента; подлинно признательный и преданный ученик, он до сих пор не забывает меня, радуя с сыновьей чуткостью своего старого друга и сообщая почти о каждом своем шаге, что мне невыразимо отрадно»<sup>2</sup>. Из этих строк видно, что творцом «новой эпохи» фортепианной музыки Эльснер считал именно Шопена.

Не лишено интереса свидетельство немецкого композитора и музыкального критика Фридриха Иеронима Труна (1811—1886), который в своих «Musikalische Reiseblätter», печатавшихся в «Neue Zeitschrift für Musik» в 1841 г., засвидетельствовал, что «первым лицом в музыкальном мире Варшавы по-прежнему является полный юношеского увлечения Юзеф Эльснер — достойный истинного уважения мастер нашего искусства»<sup>3</sup>. Описывая свидание свое с Эльснером, с которым познакомил его ученик варшавского мастера, ныне полузабытый Каспер Наполеон Высоцкий (1810—1850)<sup>4</sup>, Трун называет его «отцом новой польской музыки». Вряд ли это можно считать каким бы то ни было преувеличением, ибо незадолго до появления статьи Труна, осенью 1839 г., во время пребывания Эльснера в Вильне Монюшко поднес ему партитуру своего первого квартета d-moll с посвящением, в котором Эльснер именовался «первым основоположником нашей отечественной музыки».

Место Эльснера в культурной жизни Варшавы было обусловлено назревшей необходимостью появления центральной фигуры, которая могла бы возглавить развитие польского музыкального творчества, образования, музыкально-сценического искусства. Именно такой фигурой оказался Эльснер, приобретший к тому времени значительный профессиональный опыт в Гродкове, где прошли годы его детства, во Вроцлаве, Вене, Брне и Львове<sup>5</sup>. Из перечня произведений Эльснера, составленного им самим<sup>6</sup>.

явствует, что еще до переезда в Варшаву он работал в области религиозной, музыкально-сценической, симфонической и вокальной (как сольной, так и хоровой) музыки, создав десятки произведений, свидетельствующих об уверенном накоплении средств композиторской техники в различных музыкальных жанрах. Любопытно замечание Эльснера, что созданная им во Львове двухактная опера «Необыкновенные братья», или «Четыре заколдованные пули» (*Die seltenen Brüder oder Die vier Zauberkugeln*), «должна была стать чем-то вроде подражания „Волшебной флейте“, каковой шедевр Моцарта привлекал тогда внимание всего музыкального мира»<sup>7</sup>. Именно эта опера более всего заинтересовала Богуславского, посещавшего все ее репетиции<sup>8</sup>.

Окончательное сближение Эльснера с Богуславским произошло в Варшаве, куда в 1799 г. «отец польского театра» пригласил Эльснера, в полной мере оценив во время львовских встреч его композиторское дарование и незаурядную дирижерскую технику. Нет сомнения, что признание переломного значения Моцарта в истории мировой музыкальной культуры было основой для такого сближения. Но вместе с тем Богуславский не мог не оценить стремление Эльснера принять участие в становлении тех национально-своебразных черт польской музыкально-сценической культуры, которые отчетливо проявлялись в поставленных труппой Богуславского во Львове в 1796 г. польских операх. То были «Агатка» Холлянда и знаменитые «Краковяне и горцы» Яна Стефани (варшавской постановки 1794 г. Эльснер, конечно, не видел). Знаменательно, что в том же 1796 г. Эльснер написал три фортепианных трио (фортепиано, скрипка и виолончель) на темы, взятые из этой оперы Стефани, музыка которой, как известно, близка к интонационному строю польского народно-песенного творчества. Такая близость постепенно начинает проявляться и в других произведениях Эльснера, доказательством чему, как считает А. Новак-Романович, может служить написанная во Львове ре-мажорная соната для фортепиано<sup>9</sup>.

Несомненно, критические замечания по поводу произведений Эльснера, возникавших обычно в крайней спешке, не лишены оснований. Трудно говорить и о яркости композиторского дарования Эльснера. И тем не менее именно ему суждено было возглавить развитие польской музыкальной культуры первой половины XIX в. Если Эльснер и не был гениальным композитором, то все же он воспитал гениальнейшего польского композитора, который после смерти последних венских классиков стал центральной фигурой музыкальной культуры Запада. «Особенности славянских оборотов мелодии и модуляций выступили совсем явственно для всей Европы в творениях Шопена», — писал А. Н. Серов в 1856 г., говоря о постепенном нарастании роли «славянанизмов» в европейской музыке<sup>10</sup>. Тогда, когда через несколько месяцев после смерти Шуберта, Шопен впервые выступил в Вене, едва ли кто-нибудь отчетливо сознавал, что

венская школа, которой — прежде всего благодаря Моцарту — некогда уступила гегемонию итальянская, в свою очередь сменилась славянской школой. Высочайшей вершиной мировой музыкальной культуры по-прежнему оставался Моцарт, гениально обобщивший и синтезировавший не только гигантские философские свершения Баха и эмоциональные откровения итальянской музыки, но и опыт яромержицкой и мангеймской школ. Прямым продолжателем Моцарта стал Шопен, ученик Эльснера, всю жизнь гордившийся своим учителем и любивший его.

Годы формирования шопеновского гения были вместе с тем годами интенсивного формирования эльснеровской школы, не менее полувека остававшейся ориентиром и направляющей силой польской музыкальной культуры в самых различных ее областях. Помимо разностороннего дарования Эльснера, здесь сыграла огромную роль его совершенно поразительная трудоспособность. При всем разнообразии аспектов деятельности Эльснера ее основой неизменно оставалось стремление к профессионализации, начавшее проявляться тотчас же по приезде его в Варшаву.

Говоря о творчестве Эльснера, нельзя пройти мимо характеристики музыкальных впечатлений его детских и отроческих лет. Впечатления эти в значительной степени способствовали постоянному обращению Эльснера к традициям польской культуры, воспринимавшимся им уже в репертуаре монастырского хора и оркестра, в составе которого Эльснер провел юношеские годы и где эти традиции, по воспоминаниям самого Эльснера, продолжали жить. Перечисляя свои композиторские опыты, созданные во Вроцлаве (список их открывается градуалом, написанным тринадцатилетним мальчиком), композитор называет «арии и дуэты, исполнявшиеся во время великого поста в каждый четверг после проповеди... В мое время произносились проповеди еще по-польски»<sup>11</sup>.

Итак, Эльснер воспитывался в монастырской среде, в которой часто пели по-польски и «w polskim języku kazano». Но и в домашнем быту он слушал отзвуки польских песен, глубоко запавшие ему в душу. К концу жизни написал старый мастер: «„Stabat mater“ короткая, легкая оратория... Главная тема взята из славянского церковного папева, исполнявшегося отцом моим с таким волнением, когда он участвовал в общехрамовом пении»<sup>12</sup>.

Возвращаясь к вроцлавским сочинениям Эльснера, нужно все же констатировать, что в области теории композиции он остался самоучкой, хотя и не раз пользовался советами опытных музыкантов, с которыми он встречался. Насколько мы знаем, композиторов *sensu stricto* среди них не было. Ни в Вене, где Эльснер пробыл почти два года, ни в Брие, где Эльснер, работая скрипачом в оперном театре, начал выступать и в качестве дирижера, он также не имел возможности заниматься теорией композиции под руководством какого-либо опытного педагога. Но, совершенствуясь в игре на скрипке, приобретая все более и

более серьезные навыки в искусстве дирижирования, Эльснер настойчиво штудировал генерал-бас, контрапункт и инструментовку, неотступно размышлял о путях развития музыкального искусства и, видимо, уже тогда, в «годы странствий», убедился в том, что наиболее надежными образцами в поисках этих путей навсегда останутся Бах и Моцарт. На их произведениях Эльснер учился сам и учил воспитанные им поколения польских музыкантов. Достаточно вспомнить о том, что говорил смертельно больной Шопен своему верному другу Делакруа о Моцарте...

Итак, Эльснеру не у кого было учиться композиции, технической которой он, однако, овладел во всех жанрах. Религиозные произведения создавались им, как известно, не только на латинские, но и на польские тексты<sup>13</sup>. Известно также, что, несмотря на усиленно проводившуюся в Силезии в XVIII в. политику германизации, не только сам композитор, но и его отец, и дед принимали участие в исполнении произведений, созданных на польские тексты. Оставаясь по существу самоучкой, Эльснер уже около 1790 г. овладел техникой оркестрового письма, о чем свидетельствует не только прозвучавшая во Львове первая (Es-dur) из пяти ранних симфоний, но и исполнявшаяся там же антракты к трагедии Шиллера «Мария Стюарт». Пребывание во Львове ознаменовалось для Эльснера тем сближением с Войцехом Богуславским, значение которого оценил уже сам Богуславский («Dzieje Teatru Narodowego») и подробно осветила в своей монографии об Эльснере А. Новак-Романович.

К трехактной мелодраме Богуславского «Изкахар, король Гуакары» («Izkaħar, król Guahagy»), впервые поставленной во Львове в 1797 г. и обошедшей затем многие польские сцены, Эльснер написал музыку, в состав которой, в отличие, скажем, от мелодрам Йиржи Бенды, ставившихся во Вроцлаве и Варшаве, входили не только симфонические (иногда довольно обширные), но и вокальные эпизоды. Один из них дошел до нас, но в целом утративший эту музыку лишает нас возможности судить о ее художественном уровне и мастерстве композитора. Текст же мелодрамы дошел до нас и дает все основания согласиться с теми исследованиями, которые отмечают наличие в «Изкахаре» масонской символики, видимо, восходящей к «Волшебной флейте». Заметим попутно, что Эльснер еще до переезда в Варшаву начал подниматься по иерархической лестнице польского масонства, сыгравшего столь значительную роль в истории национально-освободительного движения в стране после трагических событий 1795 г. Музыкально-сценические произведения, созданные во Львове Богуславским совместно с Эльснером (трагедия «Ланасса», героико-комическая опера «Амазонки или Эрминия», мелодрама «Сидней и Цума»), несомненно, подготовили варшавский период деятельности обоих мастеров, который начался летом 1799 г., когда Эльснер с радостью принял приглашение своего друга, поселившегося в одном доме вместе с ним в городе Сирены.

31 августа 1799 г. Эльснер впервые появился в Варшаве за дирижерским пультом Национального театра, руководимого Богуславским. В тот вечер шла опера «Дерево Дианы» находившегося тогда в зените славы профессора Парижской консерватории Мартини\*.

Уже в первые годы своего более чем полувекового пребывания в Варшаве Эльснер развел кипучую, многостороннюю деятельность. Он был музыкальным руководителем и дирижером спектаклей Национального театра, писал музыку ко многим из них (варшавским первенцем Эльснера был трехактный «Султан Вампум»\*\*, многократно ставившийся в Варшаве, Познани, Кракове и других польских городах), воспитывал («исключительно тщательно», по свидетельству Богуславского) оркестр театра, а также певцов, в чем, несомненно, помог Эльснеру опыт, накопленный в Львовской музыкальной академии. Вскоре после приезда в Варшаву Эльснер близко сошелся со многими польскими музыкантами (например, с Яном Стефани и Юзефом Явурком) и писателями — назовем, в частности, драматурга, либреттиста и переводчика Людвика Адама Дмушевского (1777—1847).

Творческий путь Эльснера показывает, с какой настойчивостью стремился он утвердить национальную самобытность польской музыкальной культуры, развивая различные жанры, обосновывая в своих трудах теоретические основы не только композиции, но и принципы метроритмической структуры польского стиха, связанные с его интонационным строем и отражением его в музыке. Стоявший у колыбели польского романтизма Казимеж Бродзинский снабдил примерами и комментариями долго обсуждавшийся в варшавских литературно-музыкальных кругах труд Эльснера *«Rozprawa o metryczności i rytmiczności języka polskiego szczególnie o wierszach polskich we względnie muzycznym»*. Этот труд был опубликован в Варшаве в 1818 г. И в том же году Эльснер закончил работу над планом организации высшего музыкального образования в Польше.

Собственно говоря, к тому времени именно Эльснер возглавлял музыкально-педагогический процесс в стране. Но, прежде чем остановиться на его деятельности в качестве ректора «Начальной школы музыки и драматического искусства», консерватории, «Главной школы музыки» и профессора Варшавского университета, необходимо сказать о громадной, но, к сожалению, далеко не всегда получающей должную оценку работе Эльснера по

\* Йоганн Пауль Эгидиус Мартини (1741—1816) был немцем по происхождению (его настоящая фамилия была Шварцендорф), поэтому в источниках того времени его нередко называют *Martini il Tedesco*.

\*\* В переводе текста Коцебу, изданного во Франкфурте в 1794 г. (опера Мацея Каменского была написана именно на этот немецкий текст), принимал участие Богуславский.

консолидации и сплочению польских музыкантов. Именно в процессе этой плодотворной работы, сочетавшейся с напряженным трудом в Национальном театре, композитор завоевал тот исключительный авторитет, оценивая который мы с полным правом можем говорить о «школе Эльснера». Само собой разумеется, что таким определением ни в коей мере нельзя заменить исторически закономерный термин «шопеновский период развития польской музыки», но, как будет показано дальше, именно этим определением можно данный термин дополнить и уточнить.

Вскоре по приезде в Варшаву Эльснер занялся вопросом о систематической публикации музыкальных произведений, созданных в Польше. Несмотря на напряженную и разностороннюю работу в Национальном театре, он нашел время для организации нотопечатания, в чем ему помог Изидор Юзеф Цыбульский, который взял себе в помощь родственника своего Антония Плахецкого. Не останавливаясь на деятельности самого Цыбульского, заметим, что Эльснер содействовал тому, что Плахецкий приобрел соответствующие навыки в искусстве гравировки нот. Текст, написанный Эльснером уже в конце января 1803 г., извещал польскую общественность о том, что в ближайшее время начнут появляться ежемесячные сборники камерно-инструментальных и вокальных произведений польских авторов в качестве выпусков серии «Wybór pięknych dzieł muzycznych i pieśni polskich». Первый выпуск серии появился уже в марте 1803 г. с посвящением: «Обществу ученых поляков — носителям света в народе, создателям краеугольного камня устойчивости языка польского, опоре наук и искусств — это собрание прекрасной музыки и песен польских, как плод собственного сада граждан польских, с благоговением перед их благородным рвением посвящает Юзеф Эльснер».

На торжественном заседании «Общества друзей наук» первый выпуск серии с этим посвящением вручил руководству общества знаменитый драматург, поэт и историк литературы Людвик Осицкий, с которым, так же как и с другими видными деятелями этого общества, основанного в 1800 г., Эльснер сблизился вскоре после переезда в Варшаву. В соответствии с анонсом, появившимся в печати, первая тетрадь эльснеровского собрания \* открылась полонезом Огиньского, завоевавшего к тому времени громадную популярность в Польше и в кругах польской эмиграции.

Несмотря на то что автору этих строк, вслед за проф. Здзиславом Яхимецким, неоднократно приходилось уже писать об Огиньском и опубликовать десятки его произведений, все еще порой раздаются голоса, требующие полемических реплик.

\* В дальнейшем гравировка и печать выпусков эльснеровской серии осуществлялась во Вроцлаве, хотя на титульном листе неизменно указывалась Варшава.

В 1970 г. Институт искусств Польской академии наук в Варшаве опубликовал чрезвычайно ценный и интересный сборник работ «Традиция и современность», в основу которого легли доклады польских историков культуры, сделанные на научной сессии, организованной в ознаменование 25-летия Народной Польши<sup>14</sup>. В докладе «Роль традиции в польской музыке 1945—1969 гг.» Зофья Лисса отметила, что «в польской музыке конца XVIII в. смогли стать традицией необычайно популярные в свое время программные, исторически актуальные полонезы Огиньского, в которых нетрудно увидеть прообразы полонезов Шопена...»<sup>15</sup> Правда, программных полонезов Огиньский никогда не писал, но в общем Лисса, конечно, права, присоединяясь к выводам Яхимецкого, указавшего даже на тематические отзвуки Огиньского в ранних полонезах Шопена. Более того, говоря о благороднейшей традиции польской музыки, Лисса справедливо говорит о «сильной эмоциональной реакции на все то, чем жила и живет страна, на ее величайшие трагедии и взлеты...». И далее: «В сентиментальных полонезах Огиньского это проявилось с исключительной силой»<sup>16</sup>.

Однако совершенно непонятно, что в том же 1970 г., когда вышел из печати цитируемый сборник, другое издательство выпустило книжку Лиссы, в которой, в отличие от приведенных высказываний того же автора, говорится, что патриотизм (*patriotyczność narodowa postawa*) Огиньского выражался лишь в том, что он культивировал жанр полонеза и выпускал «некоторые из этих сентиментальных произведений под политически-злободневными (*aktualnopolityczne*) названиями»<sup>17</sup>. Такой passus нельзя понять, тем более что Огиньский далеко не ограничивался только полонезами, а развивал в своем творчестве различные жанры<sup>18</sup>.

Как свидетельствуют многие документы, в том числе слова самого Костюшки, Огиньский сражался под его знаменами, сформировал, вооружил на свой счет, командовал воинской частью армии повстанцев и передал в распоряжение Национального совета (протокол заседания от 29 апреля 1794 г.) «свое имущество, труд и жизнь»<sup>19</sup>, а также денежные фонды, находившиеся в распоряжении его как великого подскарбия Литвы. Что же касается пресловутых названий полонезов Огиньского, то давно уже хорошо известно, что давались эти названия не им, а предпримчивыми издателями, над которыми сам композитор смеялся<sup>20</sup>. Огиньский дал название только одному своему полонезу — «Les adieux», о чем он сам написал в «Письмах о музыке». В целом же мы знаем сейчас уже свыше шестидесяти произведений Огиньского, которые уже его современники ценили «как чистейший тип и дух музыки польской», — так было сказано на титульном листе посмертного издания 14 полонезов под редакцией Игнация Феликса Добжиньского — одного из талантливых учеников Эльснера. Тот факт, что «Wybór» Эльснера открылся именно полонезом Огиньского, является одним из много-

численных доказательств признания, которое уже тогда (1803 год!) завоевал у себя на Родине композитор, очень рано, впрочем, начавший пользоваться и международной известностью.

Но дело, конечно, не в том, что тот или иной музыкoved недооценил творчество Огиньского или даже позволил себе высказаться о нем иронически-пренебрежительно, а в том, что *якса* еще появляются ничем не мотивированные рецидивы искажения исторической перспективы развития польской музыкальной культуры. В связи с этим необходимо напомнить, что блестящая плеяда польских музыковедов, прежде всего Адольф Хибиньский и его ученики И. Фейхт, Ю. М. Хоминьский, С. Лобачевская, Т. Струмилло, Я. Проснак, А. Новак-Романович, известные историки польской культуры Т. Сыга и С. Шениц и многие другие авторы в послевоенные годы создали исторически достоверную концепцию развития польской музыки, показав ту роль, которую сыграли в процессе этого развития предшественники и старшие современники Шопена.

Определение «школы Эльснера» вполне соответствует той ситуации, которая сложилась в польской музыкальной жизни после третьего раздела страны. Расцвет польской культуры в первой половине XIX в., после потери Польшей своей государственности, объясняется прежде всего мобилизацией духовных сил народа, оставшегося непобежденным, о чем красноречиво свидетельствовал именно этот расцвет. Справедливость требует признать, что именно Эльснер стал центральной фигурой страны в области музыкальной культуры; деятельность его заслуживает не только признания, но и восхищения, ибо труд его поистине можно признать подвижническим.

Не будем приводить длинный перечень произведений Эльснера, сочинявшего оперы, симфонические и камерно-инструментальные произведения, думы-баллады, религиозные сочинения и учебники теории композиции. Но, помимо этого, он разучивал в Национальном театре все ставившиеся там произведения как дирижер, хормейстер и концертмейстер, занимаясь с певцами, зачастую не знавшими пот. Эльснер вел и чисто педагогическую деятельность, так как Богуславский обязал его еженедельно заниматься по три часа с каждым солистом. Польский музыкальный театр приобрел, таким образом, благодаря Богуславскому и Эльснеру прочную профессиональную основу.

Одну за другой выпускал Эльснер тетради своего «Собрания». Как уже было сказано, Эльснер подчеркнул значение творчества Огиньского, открыв «Wybóг» его до-мажорным полонезом. В восьмой тетради того же «Собрания» за 1803 г. был помещен фа-минорный полонез Огиньского. В 1805 г. Эльснер издал «Думу» и другие произведения Мацея Каменского (1734—1821) — автора первой польской оперы, написанной в 1778 г. на польский текст Богуславского. В том же году появились полонезы, ныне, к сожалению, забытых композиторов — Карбоского и Тышкевича.

Печатались в этой серии и произведения самого Эльснера, в том числе и сопаты.

В своем творчестве Эльснер последовательно стремился к развитию народно-национальных жанров. Примечательно, в частности, что в его исторических операх утверждается новый тип увертюры, которому предшествовали длительные творческие поиски в других жанрах. В этом типе, создателем которого мы вправе считать именно Эльснера, медленное вступление предшествует быстрой части, представляющей собой широкое и свободное развитие характерных черт какого-либо польского танца. Так, увертура к «Лешку Белому» (1809 г.) начинается *Adagio maestoso*, которое по существу является вступлением к *Alla polacca*. Увертура к «Королю Люкетку» (1818 г.) также начинается *Adagio*, за которым непосредственно следует *Allegro alla Krakowiak*. «Лешек Белый» содержит, кроме того, мазур, думку Анны, ее же каватину *alla polacca*, арию-полонез, хор *alla Krakowiak* (собственно говоря, два краковяка в первом акте) и квартет *alla polacca*. Таких примеров развития народно-танцевальных жанров в творчестве Эльснера можно привести множество.

Но деятельность Богуславского, Эльснера (а затем и приглашенного в 1810 г. в Национальный театр в качестве второго дирижера Кароля Курпиньского) и их коллектива, не чуждавшегося, разумеется, и западноевропейского репертуара, не всеми воспринималась одобрительно. Находились и любители легковесного и модного «искусства». Сокрушительный удар по этим любителям нанесла одноактная комическая опера Эльснера на текст Дмушевского «*Siedem razy jeden*». Поставленная в декабре 1804 г. в Варшаве (а вскоре вошедшая в репертуар и немецкого столичного театра), опера эта на протяжении ближайших лет завоевала популярность в Познани, Калише, Ловиче, Белостоке, Кракове и даже в Петербурге.

Эльснер издал за свой счет клавир оперы, т. е. увертуру и шесть номеров, в том числе песенку книгопродавца, иронически разъясняющего своей покровительнице:

Pani, taka teraz moda,  
Cudzym towarem sie szczycą,  
Gust, rozum, suknia, uroda,—  
Wszystko lepsze zagranicą.

Мы легко установим связь этой песенки с «Миколаем Дос-вядчинским» Игнация Красицкого, который показал, как ловко французский лакей превратился в Польше в маркиза. Век Просвещения продолжал борьбу за самобытность польской культуры и такие иронические выпады были подчас более чувствительными, чем высокопарные патриотические рассуждения.

Однако сатирическо-обличительные произведения (от которых, путь шел, например, к арии-полонезу Мечника из «Страшного двора» Монюшко) все же не определяли магистральной ли-

нии творчества Эльснера, придававшего, как уже говорилось, в это трудное для Польши время большое значение историко-патриотической тематике. Он полагал вместе с тем, что расцвет польской музыкальной культуры необходимо должен быть обусловлен приобщением к достижениям мирового музыкального искусства, вершинами которого он всегда считал Баха и Моцарта. Со всеми своими учениками Эльснер изучал прелюдии и фуги Баха, которые, как мы знаем, величайший ученик варшавского мастера так внимательно штудировал даже в последние годы своей жизни. Вспомним письмо Юльяну Фонтане от 8 августа 1839 года: «... Вношу исправления в парижское издание Баха, не только ошибки гравера, но также правлю и ошибки, узаконенные теми, которые якобы понимают Баха (я не претендую на то, что понимаю лучше, но убежден, что иногда угадываю)»<sup>21</sup>.

В годы расцвета музыкально-педагогической деятельности Эльснера были изданы мотеты, месса ля-можор, *Magnificat* и другие произведения Баха, изучение которых способствовало профессионализации эльснеровской школы, в частности в области полифонии. Один из любимых учеников Эльснера, композитор и органист Август Фрейер (1803—1883), был особенно выдающимся исполнителем произведений Баха. Глинка, часто слушавший Фрейера в Варшаве, писал В. П. Энгельгарту: «...По-моему, примечательный артист в Варшаве — органист Фрейер, у него руки и ноги равносильны; я без ужасного, восторженного напряжения нерв не мог слушать, когда он играл фуги и прелюдии Баха...»<sup>22</sup>. Восторженный отзыв об игре Фрейера содержится и в «Записках» Глинки<sup>23</sup>, где встречаются и другие ценные сведения о варшавских встречах композитора с Каролем Курпинским, Владаимежем Вольским (автором либретто «Гальки») и другими польскими писателями и музыкантами.

Придавая столь большое значение прошлому отечественной культуры, Эльснер стремился обогатить ее как собственными произведениями, так и интенсивной пропагандой произведений других польских композиторов, исполнявшихся под его управлением в Национальном театре, а затем и в симфонических концертах<sup>24</sup>. Инициатива систематического проведения этих концертов (по пятницам, летом — раз в две недели) принадлежала великому немецкому писателю и музыканту Э. Т. А. Гофману, с которым Эльснер и Богуславский встречались еще в Познани, где, заметим попутно, гастролировала и труппа Дэббелина (*Döbbelin*), исполнившая в сезоне 1805—1806 гг. в Радзивилловском дворце в Варшаве зингшпиль Гофмана «Непрошеные гости», тогда как Национальный театр поставил двухактный зингшпиль Гофмана «Веселые музыканты» (на текст Клеменса Брентано) еще в предыдущем сезоне почти одновременно с одноактной оперой (вернее, водевилем) Эльснера «Старый ветреник и юный мудрец», написанной на текст Гофмана. И в том же 1805 г. в Вар-

шаве вышла из печати гофмановская клавирная соната, включенная Эльснером в «Wybór» в июле<sup>25</sup>.

31 мая 1805 г. в Варшаве был опубликован статут «Музикальной Ресурсы», главным инициатором которой был Гофман. Тотчас же после возвращения из поездки в Париж, т. е. в конце 1805 г., в деятельности Ресурсы участие принял и Эльснер. Это объединение варшавских музыкантов организовало симфонические и камерные концерты: вначале во дворце Огиньских, а затем во дворце Мнишков, где в день открытия концертного зала (т. е. 3 августа 1806 г.) прозвучала недошедшая до нас кантата Эльснера «Музыка», причем сольную партию пел Гофман.

Просветительское значение деятельности Ресурсы было огромным. В концертах под управлением Эльснера и Гофмана исполнялись произведения Моцарта (любовь к которому, как подчеркивают биографы обоих мастеров, особенно сближала их друг с другом), Гайдна, Глюка. В Мальтийском дворце впервые в Варшаве прозвучали под управлением Гофмана первые симфонии Бетховена, читались лекции о музыке и литературе на польском, немецком и французском языках. Там же расположились большая нотная и книжная библиотеки и школа пения, руководителем которой были имевшие серьезный опыт Эльснер и Гофман.

В ноябре 1806 г. Варшаву заняли наполеоновские войска, и деятельность Ресурсы прекратилась. Эльснер отклонил сделанное ему придворным капельмейстером французского императора Паэром предложение переехать в Париж, но согласился принять участие в качестве концертмейстера в четырех симфонических концертах, организованных в варшавском замке. «Гофмановский» период деятельности Эльснера оказался исключительно плодотворным, ибо в этот период развивались новые формы музыкальной жизни столицы, которую полюбил и немецкий мастер. Но вскоре Гофман уехал в Берлин. Творческая и дирижерская деятельность Эльснера продолжалась, но вместе с тем расширялась и педагогическая деятельность, вышедшая далеко за рамки вокального искусства. Вошедшие в «Wybór» имена композиторов очерчивают круг варшавских музыкантов, считавших Эльснера своим мэтром. Среди этих имен встречается, например, имя Томаша Гремма, который вслед за Лисовским (о котором мы по существу ничего не знаем) был одним из учителей Марии Воловской, прославившейся впоследствии под именем Марии Шимановской — «царицы звуков», как назвал ее Мицкевич. Вполне логично предположить, что именно Эльснер, часто бывавший в салоне Воловских, поддержал Лисовского, посоветовавшего родителям девочки пригласить Гремма в качестве преподавателя игры на фортепиано. Ни у Гуммеля, ни у Мошелеса, ни у Филда «царица звуков», вопреки сведениям, разбросанным по учебникам, энциклопедиям и журналам, никогда не училась. Ее учителями были только варшавские пианисты, о чем она сама заявила князю П. И. Шаликову в Москве<sup>26</sup>.

О том, у кого училась Мария Шимановская теории композиции, она аналогичных заявлений не делала. Известно, правда, что она была дружна с гениально одаренным Францишком Лесслем. Но он вернулся в Польшу лишь после смерти своего учителя Гайдна, скончавшегося, как известно, 31 мая 1809 г. Между тем ее ранние композиции были созданы еще до этого. Возможно, конечно, что Гремм познакомил свою ученицу с основами теории композиции, но, сравнивая, например, его фортепианные вариации с этюдами, прелюдиями, мазурками и другими пьесами Шимановской, можно сделать вывод, что она значительно превосходила Гремма по уровню не только дарования, но и техники. Теофиль Сыга и Станислав Шениц в своем обширном исследовании о жизни и творчестве Шимановской подчеркивают, что, наряду с Эльснером, частым гостем в салоне Воловских был Михал Клеофас Огиньский, полонезы которого произвели такое сильное впечатление на юную пианистку, что она играла их и тогда, когда композитор, примкнувший к Костюшке, скитался по зарубежным странам. В этот период созревания творческого дарования Шимановской наставником ее был Эльснер, который, как уже было сказано, тоже высоко ценил произведения Огиньского. Как Огиньский, так и Шимановская до конца своей жизни продолжали искать новые пути развития польской музыки. И нет сомнения, что их лучшие произведения могут быть по праву причислены к значительным достижениям той дошопеновской эпохи, знаменосцем которой был Эльснер.

Следует, однако, обратить внимание и на то, что у Эльснера, еще до того как он официально принял на себя руководство музыкальным образованием в Польше, учились и другие композиторы, жизнь и творчество которых еще недостаточно изучены. Есть все основания полагать, что молодые польские пианисты, учившиеся у жившего в Варшаве в 1815—1824 гг. чешского пианиста, органиста и композитора Вацлава Вилема Вюрфеля (1790<sup>27</sup> — 1832), совершенствовались в теории композиции под руководством Эльснера. Особо выделялся среди них «*Feliks brylantowy*» (бриллиантовый Феликс) — так называли еще в консерватории годы Феликса Островского (1802—1860), блестящее начавшее свою пианистическую карьеру и уже в начале 20-х годов опубликовавшего три полонеза, а затем — *Adagio et Rondo* для фортепиано, но позже, судя по имеющимся у нас данным, всецело отдавшегося педагогической деятельности.

Следует остановиться на благородной и бескорыстной заинтересованности Эльснера в развитии музыкальной культуры страны. Уже говорилось о том, что капельмейстер Национального театра был частым гостем в салоне Воловских. Принимая участие в широко распространенных тогда формах домашнего музенирования, Эльснер — и это чрезвычайно важно подчеркнуть, — естественно, становился центральной фигурой тех салонов, в ко-

торых он бывал. Так случилось и с салоном Миколая Шопена. С отцом Фридрика связывала Эльснера тесная дружба, а Вюрфель, как известно, бывал на музыкальных вечерах у Шопенов и приводил туда своих талантливых учеников, в числе которых был и Островский. Необходимо также напомнить, что именно Эльснер пригласил Вюрфеля в качестве преподавателя генерал-баса в *Instytut Muzyki i Deklamacji czyli Konservatorium*<sup>28</sup>. Именно Эльснер, кстати сказать, просил Вюрфеля ознакомить своего гениального ученика с техникой игры на органе.

Еще до организации института и преобразования его в консерваторию Эльснер вел педагогическую работу с певцами в театре, добился осуществления своего проекта создания упоминавшейся уже «Начальной школы музыки и драматического искусства», ректором которой он был назначен. Наконец, создание «Главной школы музыки», которой Эльснер руководил в качестве профессора Варшавского университета, еще более расширило возможности общения с молодежью и ее музыкально-эстетического воспитания. Надо полагать, что надпись, сделанная на золотом перстне, поднесенным Эльснеру: «Создателю польской музыки — молодежь 3 декабря 1820 года», вполне отражала настроение варшавской общественности, несмотря на те незаслуженные обиды, которые вынудили Эльснера уйти из театра. Ни талантливый Курпиньский, ни Солива не заняли такого места в истории польской музыкальной культуры, как Эльснер, хоть и остались в ней (в особенности Курпиньский) заметный след.

Дошедшие до нас мемуарные и эпистолярные материалы позволяют считать, что Эльснер вел свою музыкально-воспитательную работу не только в учебных заведениях, но и во время встреч с друзьями и учениками, со многими представителями варшавской общественности, да и не только варшавской, придавая значение международным связям польской культуры. Уже во время первой поездки в Вену Шопен почувствовал, как относятся к школе, которую он представлял: «Гаслингер благодаря письму пана Эльснера не знал, куда меня посадить». Много помог юноше Вюрфель, друг его семьи и его учителя, которого он так тепло вспоминал в Вене<sup>29</sup>. Напомним, что, так же, как Шимановская, Шопен, после триумфальных выступлений в Вене, должен был засвидетельствовать, что он учился именно в Варшаве. И так как он в должной мере оценил достоинства уже вполне сформировавшейся к тому времени школы Эльснера, то высказался с явным раздражением: «...У Живного и Эльснера даже величайший осел выучился бы»<sup>30</sup>.

Как мы знаем, в Вене Шопен встретился с другим учеником Эльснера, композитором и дирижером Томашем Наполеоном Нидецким, который окружил его вниманием и принял участие в просмотре оркестровых голосов<sup>31</sup>. Теплое чувство к Нидецкому, который после длительного пребывания в Вене вернулся в 1838 г. в Варшаву, Шопен сохранил и в парижские годы,

о чем свидетельствуют его письма, посланные Нидецкому в 1842—1843 гг. 8 ноября 1842 г. Шопен писал Эльснеру письмо, которое начиналось словами: «Сердечно Вас обнимаю, люблю всегда, как сын, как старый сын, как старый друг»<sup>32</sup>. На следующий день Шопен писал Нидецкому: «Люби меня по-старому, как в Вене на Leopoldstadt»<sup>33</sup>.

Нидецкий вошел в историю польской музыки преимущественно как дирижер. Оперы его были написаны в Вене на цемецкие тексты. В Варшаве он писал преимущественно церковную музыку (такова, например, месса, созданная в 1848 г. для французского храма). В этой области, широко применяя разнообразные полифонические приёмы, успешно работали упоминаемые Эльснером<sup>34</sup> его ученики, в том числе Юзеф (Якуб?) Линовский, который был одним из немногих, присутствовавших 22 августа 1830 г. (с Эльснером, Живным и Эрнеманном) на проигрывании дома у Шопена его полонеза для виолончели и фортепиано и трио, исполнявшегося автором, профессором консерватории Юзефом Беляевским (скрипка), и Юзефом Качиньским.

Продолжая перечень упомянутых Эльснером его учеников, следует назвать также Юзефа Ярецкого, рано скончавшегося Юзефа Крогульского, Антония Радзиньского, который почти полвека был органистом в храме св. Креста, где в наше время находится урна с сердцем Шопена. Назовем упоминавшегося уже плодовитого автора симфонических, камерно-инструментальных и вокальных произведений Игнация Феликса Добжиньского, не раз называемого в письмах Шопена композитора, скрипача и дирижера Антония Орловского, эмигрировавшего во Францию, где под его управлением исполнялись, в частности, произведения Эльснера. Известно, что, встречаясь на чужбине, Шопен и Орловский с теплым чувством вспоминали своего читателя.

Развитие польской оперы во многом было обязано Эльснеру, под руководством которого учился, например, в 20-е годы, Юзеф Стефани (сын Яна). Один из его ранних музыкально-сценических опытов — опера «Dawne czasy» — была создана в соавторстве с Юзефом Дамсе, чрезвычайно плодовитым автором, работавшим, как, впрочем, и Юзеф Стефани, в самых разнообразных жанрах и притом с необычайной спешкой, которая отрицательно сказывалась на его произведениях. Заслуживает внимания то обстоятельство, что Эльснер, продолжая поощрять учеников, обращавшихся к музыкально-сценическим жанрам, в том числе к мелодраме («Свитеянка», исполнявшаяся в 1834 г. в Вильне с музыкой Виктора Кажиньского, шла в том же году в Варшаве с музыкой Юзефа Стефани), никогда не прекращал заботиться о вокальной полифонии, примером чему могут служить сочинения не только некоторых уже названных его учеников, но и, скажем, Войцеха Слочиньского (с 1840 г. он возглавил оркестр кафедрального собора в Варшаве), в особенности его «Большая месса с фугами на темы народных песен».

Как уже было сказано, Эльснер стремился к введению национальных вокально-танцевальных жанров в свои музыкально-сценические произведения. В этом отношении Кароль Курпиньский был не соперником его, как принято говорить, а продолжателем. Именно с Эльснера начались и творческие поиски национально-своеобразного музыкального языка, неразрывно связанного в представлении композитора с речевыми произношениями. Такая связь прослеживается, например, в упоминавшейся уже работе Эльснера «Rozgrawa o metryczności i rytmiczności języka polskiego szczególnie o wierszach polskich we względzie muzycznym»<sup>35</sup>. Шесть из десяти лирических стихотворений, созданных Бродзиньским для этого издания, Эльснер положил на музыку, причем, например, «Пастушка», как указывает А. Новак-Романович<sup>36</sup>, может уже считаться предвестницей песен Монюшки.

Подчеркнем также, что Эльснер и большая группа польских музыкантов, безоговорочно признававших его авторитет, поддерживали теснейшую связь с польским музыкальным театром, начавшуюся содружеством Эльснера с Богуславским, а также с польскими писателями, историками и теоретиками литературы.

Изучение дошедших до нас мемуарных и эпистолярных источников позволяет сделать бесспорный вывод о том, что наряду с Богуславским Эльснер, во всяком случае на протяжении первой четверти прошлого столетия, был центральной фигурой польской культуры, дальнейшие пути развития которой определили Шопен и Мицкевич. Но значение Эльснера заключается, разумеется, не только в том, что он был как бы *raecursor maximus* того периода, который принес бессмертие свершениям польской музыки и литературы. Его личное творчество получило признание во многих европейских странах, в частности в России, как он убедился, приехав в 1839 г. в Петербург, где пресса сравнивала его с Генделем. В свою очередь Эльснер познакомился с Глинкой, с его первой оперой, о которой он весьма лестно отзывался, заметив, что «автор ее заслуживает славы»<sup>37</sup>.

В северной столице Эльснер написал статью о русской опере и выразил желание сделать вклад в развитие музыкальной культуры братского славянского народа, набросав план «национальной оратории» о Петре Великом<sup>38</sup>. Профессор Т. Н. Ливанова в нескольких выпусках своей «Музыкальной библиографии русской периодической печати XIX века» (М., 1960—1968) перечисляет отклики, появившиеся в нашей стране, на творчество и деятельность Эльснера.

Одной из наиболее значительных черт этой деятельности следует признать не только разносторонность, но и удивительную последовательность. Во время восстания 1830—1831 гг. именно Эльснер и его ученики, начиная с Новаковского и Добжиньского и кончая совсем юным Крогульским, создали основной фонд песен тех лет, подхвативших и развивших традиции повстанческих песен 1794 г., связанных с именем Огиньского.

В 1830—1831 гг. еще заметнее проявилась та сплоченность «школы Эльснера», которая характеризовалась прочными связями его со своими учениками,— вспомним хотя бы его высказывания по поводу предложения Калькбреннера со ссылкой на весьма нелестную характеристику, данную Марией Шимановской,— усовершенствовать искусство Шопена на протяжении целых трех лет! Старый профессор и здесь проявил свою непоколебимую уверенность, запечатлевшуюся еще в его записи в экзамационных актах «Главной школы музыки» — «Фридрик Шопен — музыкальный гений». А о тех беседах *sub rosa*, которые воспитали Шопена как великого мастера-патриота, позволяет составить нам представление цепь, связывающая национально-освободительную концепцию «Изкахара» с эльснеровским гимном «Алтарь Свободы».

Верность этому алтарю Эльснер сохранил до конца дней. Он понимал, какое значение для утверждения национальной самобытности и величия народа имеет развитие культуры, для которой он так много сделал в самых различных ее областях. В высшей степени правдоподобным следует признать предположение, что мудрый «рыцарь розового креста» (напомним, что в качестве масона Эльснер имел седьмую степень посвящения), пользуясь своими источниками информации и влиянием на семью Шопена, считал нужным ускорить отъезд своего гениального ученика из Польши еще до наступления бельведерской ночи и тем самым спасти его от всех опасностей. Конечно, ни один наставник не может влиять на степень одаренности своего воспитанника. Но нельзя отрицать той роли, которую варшавские годы сыграли в формировании творческого облика Шопена, ставшего «польским Моцартом» благодаря гениальной одаренности, в полной мере оцененной Эльснером, и благодаря высокому уровню профессиональной подготовки, полученной «в школе Эльснера».

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Wojciech Bogusławski. Józef Xawery Elsner. «Dzieła Dramatyczne», t. VI. Warszawa, 1823. Из заглавия этого очерка явствует, что Эльснер пользовался именем «Ксаверий». Богуславский пишет также (видимо, со слов самого Эльснера), что композитор считал себя потомком старого польского рода.

<sup>2</sup> Józef Elsner. Sumariusz moich utworów muzycznych... Opracowała Alina Nowak-Romanowicz. PWM. Kraków, 1957.

<sup>3</sup> «Musikalische Reiseblätter», S. 9. Многие статьи Труна, в том числе «Эрих Теодор Гофман как музыкант», были опубликованы и по-русски. См., например, «Отечественные записки», IX, отд. II. СПб., 1840.

<sup>4</sup> О нем см.: Emma Altberg. Polscy pianisi. Łódź, 1947. Видимо, именно об этом Высоцком идет речь в письме Шопена к Яну Бялоблоцкому от 15 мая 1826 г. См.: Ф. Шопен. Письма. Общая редакция А. Соловцова. М., 1964, стр. 8.

<sup>5</sup> Обширную монографию об Эльснере написала крупнейшая исследовательница его творчества Alina Nowak-Romanowicz (PWM, 1957, Рец.: Ks. Prof. Dr. Hieronim Feicht. «Ruch Muzyczny», 1958, N 11).

<sup>6</sup> *Józef Elsner*. Указ. соч.

<sup>7</sup> Там же, стр. 42.

<sup>8</sup> Там же, стр. 99.

<sup>9</sup> См.: *Alina Nowak*. Sonaty Józefa Elsnera. «Rozprawy i Notatki Muzykologiczne». Kraków, 1935—1936.

<sup>10</sup> *A. H. Серов*. Избранные статьи, т. I. М., 1960, стр. 277—278.

<sup>11</sup> *Józef Elsner*. Указ. соч., стр. 31.

<sup>12</sup> Там же, стр. 41. Проф. Иероним Фейхт, комментируя эту запись Эльснера, в беседе с автором этих строк подчеркнул, что в общехрамовом пении (w ogólnym śpiewie kościelnym) многих монастырей на землях, отошедших в то время от Польши, сохранялся польский язык.

<sup>13</sup> Такова, например, выдержанная два издания «Народная месса» (*Msza ludowa*). Там же, стр. 34, passim.

<sup>14</sup> «Tradycja i współczesność. O kulturze artystycznej Polski Ludowej». Warszawa, 1970.

<sup>15</sup> Там же, стр. 59.

<sup>16</sup> Там же, стр. 84.

<sup>17</sup> *Zofia Lissa*. Polonica Beethovenowskie. PWM, 1970, str. 38.

<sup>18</sup> Наиболее полное собрание фортепианных сочинений Огинского выпустило в ознаменование 200-летия со дня его рождения советское изд-во «Музыка» в 1965 г. Вокальные произведения композитора собраны в томе, выпущенном в 1962 г. Владзимежем Позняком (PWM, 1962).

<sup>19</sup> Обо всех этих документах см.: *Igor Belza*. Michał Kleofas Ogiński. PWM, 1965, passim.

<sup>20</sup> *Michał Kleofas Ogiński*. Listy o muzyce. Oprac. Tadeusz Strumiłło. PWM, 1956, 35, 47—84 passim.

<sup>21</sup> Шопен. Письма, стр. 342.

<sup>22</sup> *Михаил Иванович Глинка*. Литературное наследие, Т. II. Письма и документы. Л., 1953, стр. 378.

<sup>23</sup> Там же, т. I. Л., 1952, стр. 270.

<sup>24</sup> *Józef Elsner*. Указ. соч., стр. 74.

<sup>25</sup> Один экземпляр данного издания находится в музыкальном отделе Национальной библиотеки в Варшаве (Mus. II, 20723/7Cim.), другой — в Ягеллонской библиотеке в Кракове. Возможно, что на это издание авторы специальных работ о Гофмане как о музыканте не обратили в свое время должного внимания, ошибочно приняв обозначение przez J. P/ana/Hoffmanna за инициалы какого-то однофамильца Гофмана.

<sup>26</sup> См. его статью: «Концерт госпожи Шимановской». «Московские ведомости», 1822, № 36, стр. 1146.

<sup>27</sup> Уточняем дату рождения Вюрфеля (во многих источниках указан 1791 г.) на основании его метрики (Archivum země České, kniha IX, 1788—1802, sygn. M. 8—13, 10).

<sup>28</sup> Окончательная реорганизация института в консерваторию произошла в 1820—1821 академическом году. Ср. *Józef Elsner*. Указ. соч., стр. 147—148.

<sup>29</sup> Ф. Шопен. Указ. соч., стр. 118.

<sup>30</sup> Там же, стр. 124.

<sup>31</sup> Там же, стр. 121.

<sup>32</sup> Там же, стр. 416.

<sup>33</sup> Там же, стр. 417.

<sup>34</sup> *Józef Elsner*. Указ. соч., стр. 170.

<sup>35</sup> Все примеры метроритмического строя польского стиха, подготовленные для этой работы Эльснера его другом Казимежем Бродзиńskim (включая фрагмент рукописи, возможно, также предназначавшейся для данной работы,— B. Nar. BOZ. 1241 а), воспроизведены в книге: *Kazimierz Brodziński. Poezja*, Т. I. Opracował i wstępem poprzedził Czesław Zgorzelski. Wrocław, Ossolineum, 1959, str. 273—280, 457—459.

<sup>36</sup> Указ. соч., стр. 148.

<sup>37</sup> *Józef Elsner*. Указ. соч., стр. 87.

<sup>38</sup> Там же.

И. И. СВИРИДА

**НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПОЛЬСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.**

Говоря о формировании национальной художественной культуры, следует иметь в виду не только развитие национальных черт в самом художественном творчестве (национальная проблематика, поиски самобытных средств ее воплощения и проч.), но и возникновение новых, общенациональных форм художественной жизни.

Формы художественной жизни определяются в своих главных чертах уровнем развития общества в целом. Вместе с тем некоторые из них могут возникать, опережая свое время, а другие переживать породившие их условия. Наконец, могут быть и случаи наполнения старой формы новым содержанием, хотя в этом можно видеть элемент стилизации. В целом, однако, для каждой общественно-экономической формации характерны свои формы художественной жизни. Ниже будет рассмотрен вопрос о том, как под влиянием социально-экономических и политических процессов, которые переживала Польша в эпоху становления буржуазной пачии (последняя треть XVIII — 60-е годы XIX в.) развивались новые, общенациональные формы художественной жизни. В статье использован материал, связанный с историей пластических искусств.

\*

С конца XVIII в. и на протяжении большей части XIX в. в Польше происходят очень важные сдвиги, которые привели к разложению феодальных и формированию капиталистических отношений. Существенные изменения в это время наблюдаются и в польской культуре. Суть их состояла в переходе от феодальной культуры к культуре нового времени, к культуре складывающегося буржуазного общества.

По мере нарастания их значения, они все более активно выступают как фактор, стимулирующий и поддерживающий развитие искусства, влияющий на идеино-эстетические основы художественного творчества и в то же время изменяющий условия создания и распространения произведений искусства, т. е. порождающий новые формы художественной жизни.

Особенности развития капитализма в Польше (замедленные его темпы, слабость национальной буржуазии и проч.) оказали влияние и на специфику культурного процесса, затормозив его

демократизацию, возникновение новых форм культурной жизни, свойственных развитому капиталистическому обществу в противовес феодальному.

Тем не менее с конца XVIII в. мы можем проследить зарождение новых явлений в художественной жизни Польши, которые хотя и не получили столь интенсивного и последовательного развития, как это было свойственно ряду европейских стран (Франция), однако свидетельствовали о проникновении капиталистических отношений во все сферы общественной жизни, отражали объективно закономерное движение от феодализма к капитализму, свидетельствовали об упрочении национальных основ культуры.

Одним из важнейших явлений, свойственных польской культуре первой половины XIX в., было расширение социальной основы ее развития и начавшийся в этой области процесс демократизации. В XVIII в. профессиональное художественное творчество имело очень узкую социальную базу. Главными заказчиками произведений искусства были король, аристократия (светская и духовная), крупная шляхта; меценатство носило сугубо частный характер.

В эпоху Просвещения, из которой берут начало многие существенные тенденции, получившие развитие в польской культуре XIX в. (речь идет не только о преемственности в области художественного творчества, но и о зарождении в век Просвещения некоторых новых форм культурной жизни), происходит усиление роли государства в развитии культуры. Сначала государственная деятельность в области искусства персонифицировалась в особе короля. Он выступал как заказчик картин, скульптур, архитектурных проектов, собирая художественную коллекцию, приглашал на службу иностранных художников, пытался создать Академию художеств и пр.<sup>1</sup>

Однако наряду с этим значение начинает приобретать деятельность государственных учреждений, что особенно ярко проявилось в работе, созданной в 1773 г. Эдукационной комиссии. Хотя в ее ведении были прежде всего вопросы просвещения, однако она оказала влияние и на развитие искусства, заложив основы для создания в Польше системы профессионального художественного образования. Рассматривала комиссия и проект создания Национального музея, предложенный Adamem Чарторыским, однако нереализованный.

В XIX в. роль государства в культурной жизни все больше возрастает, что было характерно для всех европейских стран. Это нашло выражение в создании специальных государственных организаций, ведающих вопросами культуры, в развитии государственной системы художественного образования, государственных художественных коллекций, музеев, библиотек, финансировании выставочной деятельности, заказе произведений искусства. В Польше этот процесс приобрел совершенно особые черты.

В отличие от других стран, где формирование национальной культуры завершалось в условиях укрепления государственности (Россия) или подъема национально-освободительного движения (Сербия), в Польше оно хронологически совпало с утратой политической независимости и ликвидацией самостоятельного единого Польского государства.

Говоря о деятельности государства в области культуры в Польше в XIX в., нужно по сути дела рассматривать культурную политику трех государств (Австрии, Пруссии и России) с различными культурными традициями, разными формами управления культурой, но с общей целью — подавлять ярко национальные проявления польского духа, в том числе и в художественном творчестве.

Быстро сменявшие друг друга государственные образования на территории бывшей Речи Посполитой, зависимые от господствующих держав, не могли обеспечить нормального культурного развития страны, что тормозило также процесс перехода от феодально-сословного меценатства к новым формам, свойственным развивающемуся капиталистическому обществу. Krakowskaya республика (1815—1846) практически так же не имела возможности сколько-нибудь серьезно развернуть культурную деятельность.

Наиболее ощутимые результаты были достигнуты в первые годы существования Царства Польского, когда был открыт Варшавский университет (1816 г.) с отделением изящных искусств (1817 г.), создана комиссия вероисповедания и общественного просвещения, во главе которой стоял патриотически настроенный собиратель и ценитель произведений искусства Станислав Костка Потоцкий — автор первого серьезного польского труда по эстетике «Винкельман польский»<sup>2</sup>. Польский характер сохранял в эти годы Виленский университет, расположенный на землях бывшего Великого княжества Литовского, присоединенных к России. Этот университет, так же как Варшавский и Krakowski, был важным центром культурной жизни, где получали образование будущие художники, организовывались художественные выставки, развивалась эстетическая мысль.

Создание государственной системы художественного образования<sup>3</sup>, стипендионного фонда (в том числе и для продолжения образования за границей), введение уроков рисунка в программы общеобразовательных школ, финансирование художественных выставок (в Варшаве), единичные случаи покупки заказов отдельных произведений — вот наиболее заметные проявления деятельности официальных государственных учреждений в области искусства.

Репрессии, политическая реакция, последовавшие за подавлением восстания 1830—1831 гг., но обнаруживавшиеся и в более ранние годы (например процессы филоматов и филаретов в Виленском университете 1823—1824 гг.), свели на нет эти начала государственной культурной деятельности. Усиленно развивав-

шаяся на протяжении первой трети XIX в. система художественного образования, обеспечившая постоянный приток квалифицированных сил в польское искусство, организация художественных выставок были ликвидированы с закрытием Варшавского и Виленского университетов после восстания 1831 г.

В первой половине XIX в. изменяется характер частного меценатства. Оно в известной мере демократизируется. После разделов исчезает в Польше королевское меценатство, падает политическое и экономическое могущество магнатов, что происходит как в силу объективных общественно-экономических процессов (разложение феодальной системы и развитие капитализма), так и в результате сознательной деятельности государств Священного союза, стремившихся к ослаблению сильных старинных польских родов, многие из которых претендовали на роль возродителей Польши и могли выдвинуть потенциального претендента на польский престол.

В это время в культурную жизнь включаются все более широкие круги мещанства, что было следствием активизировавшегося с конца XVIII в. процесса урбанизации страны и усиления роли городов. Все чаще его представители, а также средняя шляхта становятся заказчиками произведений искусства. Особенно это заметно на примере портретного жанра, чрезвычайно распространившегося в начале XIX в. В газетах постоянно встречаются объявления, адресованные к весьма широкому и не слишком изысканному кругу заказчиков, с предложением выполнить портрет «совершенно похожий», портрет «в стиле Лампи» или «маниере Изабэ». Свои услуги предлагают местные художники и прибывшие «из чужих краев» — из Парижа, Голландии, Петербурга, художники, остановившиеся в Варшаве надолго, и «проезжий художник портретов и миниатюр». Изменение круга портретируемых оказало влияние и на характер самих портретов. Они утрачивают парадно-репрезентативный характер, свойственный этому жанру в XVIII в., и становятся все более реалистическими документами внешних и внутренних особенностей изображенных людей.

К широким кругам мещанства, к средней и мелкой шляхте обращены и многочисленные объявления о продаже произведений искусства, помещаемые с начала XIX в. в прессе. Польские или заезжие антиквары предлагают купить литографии, гравированные копии известных произведений, работы третьестепенных западных мастеров или живописные копии, что рассчитано явно на весьма широкий и не слишком требовательный круг покупателей<sup>4</sup>.

Все более активную роль в художественной жизни начинает играть формирующаяся в это время профессиональная национальная интеллигенция — чиновники, врачи, адвокаты, преподаватели учебных заведений, профессора университетов, учителя, представители свободных профессий. Интеллигенция выступает не толь-

ко как заказчик произведений, предназначенных для собственных семейных собраний, но и как инициатор создания произведений искусства, появление которых становится событием в жизни нации. Именно так обстояло дело с созданием памятника Копернику, заказ на который знаменитому датскому скульптору Торвальдсену был сделан не каким-либо магнатом, а выдающимся польским ученым Станиславом Сташицем, поднявшимся до своей славы ученого и общественного деятеля из социальных низов. Участие интеллигенции в художественной жизни имело значение не только для финансовой поддержки художественного творчества. Интеллигенция как наиболее просвещенная прослойка влияла на развитие художественного вкуса более широких слоев общества и на содержание искусства; и в этом прежде всего заключалось значение ее участия в культурной жизни.

Хотя удельный вес магнацкого меценатства снижается в XIX в., однако его роль все же еще велика, особенно в начале творческого пути художников, многие из которых пользуются финансовой помощью Рачиньских, Мостовских, Оссолиньских, Огиньских, Любомирских и представителей других известных родов для получения художественного образования или продолжения его за границей. В то же время были художники, которых по характеру их связей с покровителем можно назвать придворными художниками. Несколько художников имеют официальное звание придворных у правящих монархов или их наместников.

В развитии меценатства в XIX в. появляется важный идеинный акцент: часто оно диктуется патриотическими стремлениями. Так, например, в 1821 г. для украшения зала Ягеллонского университета известному польскому художнику Михалу Стаховичу были заказаны 11 картин, изображающих историю Krakowskого университета, на средства пожелавшего остаться неизвестным «любителя национального и изящных искусств»<sup>5</sup>. Несомненно, патриотическим актом со стороны Сташица была установка памятника Копернику, имя которого именно в начале XIX в., прежде всего усилиями самого Сташица, было возвращено польской культуре.

Патриотический характер имело и коллективное публичное меценатство, возникающее в начале XIX в. как проявление расступающего национального самосознания. Показательным примером этой новой формы меценатства был сбор средств, проведенный в 1817 г. на памятник национальному герою Юзефу Понятовскому, заказанный тому же Торвальдсену. Никак не ограничивая скульптора в выборе средств художественной выразительности, в условиях, поставленных скульптору, однако, указывалось, что «скульптура должна быть сделана в национальном вкусе»<sup>6</sup>.

Другой формой публичного меценатства, не известной ранее, стала деятельность общественных организаций, таких, как, например, «Общество друзей науки», существовавшее в 1800—1831 гг., одним из руководителей которого был Сташиц. Общество заказы-

вало художникам произведения искусства, некоторые из художников были его членами<sup>7</sup>.

С развитием новых форм меценатства изменяется положение художников. В предшествующие эпохи большинство художников были связаны с определенным покровителем. Это были или придворные художники, в основном иностранные, как, например, итальянец Баччарелли, или художники, состоявшие на службе при тех магнатских дворах, которые, не желая отставать от королевского, также выписывали мастеров из других стран (например Норблен у Чарторыских), или, наконец, строго регламентированные уставом в своей деятельности цеховые художники. Нужно отметить, что цех художников сохранялся в Польше очень долго по сравнению с другими странами, что тормозило и развитие самого художественного творчества, и процесс превращения еще средневекового по своему социальному положению ремесленника в художника нового времени. Борьба за освобождение от цеховой зависимости, связанная с зарождением ренессансных явлений в европейской культуре, не могла получить в Польше значительного развития в XVI в., что было обусловлено спецификой польского Ренессанса, упадок и реакция XVII — первой половины XVIII в. сделали эту борьбу невозможной. Лишь к середине XVIII в. в Польше вновь складываются объективно-исторические предпосылки для решения этой проблемы. Однако окончательно краковский цех живописцев был ликвидирован лишь в 1825 г.<sup>8</sup>

В XIX в. меценатство становится в основном анонимным (государственное, коллективное, создание произведений, рассчитанное на свободную продажу), а связи «художник-заказчик» являются очень кратковременными (например заказ на портрет). Тем самым постоянная связь «художник — заказчик», как это имело место еще в XVIII в., заменяется новыми формами. Непосредственные формы связи вытесняются опосредованными. Роль соединяющего звена между художником и зрителем начинают играть публичные художественные выставки, а между покупателем и художником — антиквариаты, различные бюро по продаже произведений искусства.

Эта опосредованная связь между художником и зрителем, развитие товарно-денежных отношений и в этой сфере вели к формированию нового типа художника по его моральному и социальному положению, так называемого свободного художника. Как пишет известный польский искусствовед Ян Бялостоцкий: «Была полная свобода выбора, пришедшая со сменой структуры художественной деятельности и рынка, горькая и не один раз оплаканная свобода живописного выражения не для покровителя или заказчика, а для честного и неподкупного раскрытия собственной индивидуальности»<sup>9</sup>.

В польских условиях переход к положению «свободного художника» был осложнен целым рядом обстоятельств и эконо-

мического, и политического, и морально-психологического плана. Экономическая отсталость Польши, унаследованная ею от предшествующих столетий, которую не в силах были преодолеть попытки прогрессивных реформ в эпоху Просвещения, тормозила развитие художественной жизни. Материальное положение художников на протяжении всего XIX в. оставалось очень тяжелым, лишь немногие из них могли жить за счет художественного творчества. Большинство художников были вынуждены искать себе побочные занятия. Хорошо, если это была педагогическая работа, однако часто это были дела, имеющие очень отдаленное отношение к искусству (например государственная служба). Встречаются поистине трагические судьбы доведенных до отчаяния своей нищетою художников<sup>10</sup>.

Отсутствие возможности на протяжении жизни посвятить себя избранному делу, несомненно, сказывалось и на качественном уровне развития польского искусства. Биографии многих польских художников первой половины XIX в. как бы разделены на отдельные периоды, лишь часть из которых посвящена художественному творчеству.

Трудности в положении художников, которые все более четко обозначались по мере увеличения числа лиц, занимающихся искусством, для данной профессиональной среды постепенно превратились в социальную проблему. Присущие в той или иной мере всем странам (образ бедствующего художника проходит через произведения писателей разных стран), эти трудности приобретали в Польше особую остроту<sup>11</sup>.

На заседании «Общества друзей наук» Ю. У. Немцевич говорил в 1828 г.: «Вкус к изящным искусствам у нас еще недостаточно распространен, больше того, мы недостаточно богаты, чтобы могли их поддержать и вдохновлять»<sup>12</sup>.

Говоря о художественной выставке того же года, он отмечал, что там были представлены произведения Залесского, Хадзевича, которые сразу бы купили в богатых странах, а у нас «не вознаграждают работы, времени и расходов художника»<sup>13</sup>.

Рецензент той же выставки писал в «Газете Варшавской»: «В нашей столице, где жизнь такая дорогая ...как трудно положение молодого художника. Расходы на жизнь домашние заботы и работа — это наверняка, а вот доходы ненадежные.

Наши состоятельный господа до сих пор далеки от покупки даже лучшего произведения на выставке. Было бы желательно, чтобы художник, получающий на выставке премию\*, мог бы потом и выгодно продать свое произведение... У нас больше всего художников-портретистов, потому что этот вид приносит наиболее надежные доходы, историческая же картина, даже наилучшая, очень редко находит покупателя»<sup>14</sup>.

\* Первоначально в связи с организацией художественных выставок были учреждены денежные премии и медали. Однако на практике присуждались только медали без денежного поощрения.

В этом фрагменте рецензии отмечены очень существенные моменты в художественной жизни: практическое отсутствие художественного рынка, безразличное отношение к лучшим, даже награжденным произведениям, которые после выставок возвращались в мастерские художников и становились печальными символами бесперспективности творческой деятельности, превращение портретного жанра в коммерческое дело.

Формирование польской творческой интеллигенции шло в специфических социально-психологических условиях. Польская интеллигенция была прежде всего шляхетского происхождения. Обращение к свободным профессиям было для разоряющейся шляхты одним из наиболее благовидных путей к получению средств на существование, ибо занятие промышленностью или торговлей считалось в Польше для шляхтича чем-то постыдным и даже вело к потере нобилитации. Не случайно еще в эпоху Просвещения, видя разорение шляхты, ее политические деятели стремились дать ей благоприятные источники дохода. В частности, В. Мнишех, выдвигая проект создания университета, подчеркивал, что его открытие «дало бы возможность бедной национальной шляхте для развития таланта, при помощи которого, не унижая дворянского достоинства (*bez upodlenia szlachectwa*), она имела бы средства для жизни»<sup>15</sup>.

Однако мнение, что научная или творческая работа *«pie upodlają szlachectwa»*, было распространено не столь широко. Одно дело для шляхтича увлекаться наукой или искусством в свободное от общественной или политической деятельности время, другое дело — посвятить этому жизнь (что в лучшем случае считалось чудачеством, как это имело место в оценке Яна Потоцкого), уже совершенно иное — получать за это деньги.

В Польше на протяжении нескольких веков дворянство с удовольствием занималось поэзией, музыкой, живописью, наукой. Однако оно никогда не рассматривало эти занятия как профессию, стремясь и в XIX в. подчеркивать филантропический характер своей деятельности.

Бескорыстное занятие искусством считалось чем-то очень выштатенным, а получение гонораров — чем-то неловким. Художник В. Смоковский в воспоминаниях о своем коллеге В. Ваньковиче, отмечая усердие последнего в работе над портретами, считает нужным как положительную черту отметить, что Ванькович писал их из любви к искусству, а не для заработка, так как, будучи человеком обеспеченным, в деньгах не нуждался<sup>16</sup>.

Не только польское дворянство оберегало свою кастовую «чистоту». Известно, как отнеслись родственники и знакомые к решению графа Федора Толстого стать профессиональным художником.

Вопрос об оплате труда художника шокировал многих дворян-эстетов, желавших видеть в художнике подвижника, требо-

вавших от него самопожертвования и отречения от земных благ и в своем идеализме, основанном на собственном благополучии, игнорировавших как практические человеческие потребности художника, так и объективный процесс развития товаро-денежных отношений в сфере художественной жизни<sup>17</sup>. Это второе было следствием неразвитости капитализма в Польше; в свою очередь специфическое отопление шляхты к участию в торгово-промышленной деятельности было одним из тормозов развития последней.

Борьба за профессионализацию положения художника шла не изолированно. Аналогичные процессы происходили и в польской литературной жизни<sup>18</sup>. Здесь также складывается тип литератора-профессионала, идет развитие издательского дела и происходит образование книжно-издательского рынка. Нужно отметить, что тип писателя-профессионала формируется позже, чем художника-профессионала, который или как член цеха, или как придворный мастер всегда жил за счет своего творчества. Первым писателем, который жил за счет авторских гонораров, смог стать А. Мицкевич.

Говоря о социальном положении художника, нужно иметь в виду, что оно определялось не только экономической стороной его существования, но и его моральной позицией в обществе. В первой половине XIX в. происходят серьезные изменения и в этой области.

В это время меняется представление о роли художника, писателя, деятеля культуры в жизни нации. Абсолютный авторитет *wieszczów*-пророков, как называют наиболее выдающихся представителей литературы и искусства, стоит вне всяких сравнений. В эпоху романтизма, когда всемерно подчеркивается примат духовного, не могли бы быть написаны слова, «что своей славой Речь Посполитая обязана земледельцам, а не резчикам, музыкантам, комедиантам, танцорам»<sup>19</sup>.

В борьбе за утверждение положения художника преодолевалось еще широко распространенное отношение к художественному творчеству как к ремеслу. Даже наиболее образованные люди того времени не всегда отдавали себе отчет в значительности творческих усилий художников, архитекторов, вкладываемых ими в свои произведения. Устанавливалась трудная в настоящее время для понимания иерархия отдельных видов искусства. Так, скульптура явно считалась явлением низшего порядка, наиболее близким к ремеслу, что нашло, например, отражение в тех различиях, которые существовали в оплате профессоров живописи или преподавателей скульптуры. Вознаграждение последних было в несколько раз меньше. Как правило, преподаватель скульптуры не имел профессорского звания, должность эта часто пустовала, и университетские власти не чувствовали многие годы необходимости заполнять вакансии.

В целом же введение в университетах преподавания «сво-

бодных искусств» \* и назначение художников профессорами способствовали укреплению авторитета этой профессии.

В XIX в. изменяются не только условия художественного творчества, но и пути распространения произведений искусства. Вопрос о контактах зрителей с изобразительным искусством, о социальном составе его «потребителей» очень сложен для исследования, прежде всего из-за весьма ограниченного круга источников. В более выигрышном положении находятся литературоведы, располагающие для изучения контингента читателей списками подписчиков, прилагавшимися к большинству изданий XIX в., сведениями о тиражах. Историк искусства может опираться лишь на косвенные данные, прослеживая судьбу каждого конкретного произведения, на мемуарные материалы, позволяющие судить о степени распространения произведений искусства в обществе.

Как было показано выше, с начала XIX в. наблюдаются значительные изменения в положении художника. Нарушается непосредственная связь «художник — меценат», формы непосредственных контактов заменяются опосредствованными. Если раньше произведение искусства возникало в большинстве случаев в результате конкретного заказа и сразу попадало с мольберта художника к заказчикам, то теперь импульсы создания произведения несколько изменяются — предстоящая публичная выставка, объявленный конкурс, внутреннее побуждение. В связи с этим произведение искусства должно искать новые пути к обретению своего зрителя.

Качественно новым явлением в распространении произведений искусства стали художественные выставки<sup>20</sup>. К сожалению, сохранились весьма скучные сведения об их посетителях. Однако можно с уверенностью сказать, что это была публика, отличная от завсегдатаев салонов эпохи Просвещения, несомненно, более многочисленная и демократическая по своему составу. Для широких кругов, интересующихся искусством, эти выставки предназначались уже их организаторами. Так, впервые открытую в Варшаве в 1814 г. для широкой публики галерею картин, принадлежавших графу Юзефу Оссолиньскому, могли посещать любители искусства, ученики и сами художники. Галерея была открыта ежедневно по 9 часов в день, что, несомненно, было рассчитано на массового (по тем временам) посетителя<sup>21</sup>. О работе галереи помещались объявления в варшавской прессе.

Организация публичных выставок, первая из которых датируется 1819 г. (в Варшаве), означала распространение новой важной формы художественной жизни, открывающей доступ к искусству более широким слоям общества, не имеющим собственных

\* Это было специфически польским явлением, так как в других европейских странах художественное образование получали в Академии художеств.

художественных собраний и могущим теперь бесплатно знакомиться с произведениями художников \*.

Однако этим не ограничивалось значение художественных выставок. Привлекая художников и зрителей, они усиливали значение городов, в которых проводились, как национальных культурных центров. Просматривая каталоги, можно заметить, как на протяжении XIX в. выставки из локальных, представляющих произведения художников только из одного города, все больше становились местом конфронтации творчества мастеров из различных художественных центров. Следует отметить, что разделы Польши оказали тормозящее воздействие и на этот процесс. Границы, проходившие через территорию Польши, создавали барьеры и для произведений искусства, препятствовали активному развитию культурного обмена между отдельными городами. Так, в постановлении о первой варшавской художественной выставке 1819 г. указывалось, что к участию в ней допускаются лишь граждане Царства Польского. Тем самым исключалась возможность представить свои произведения для художников Кракова, Львова, Вильно, располагавших значительными творческими силами. В 1840 г. было принято новое постановление о выставках, согласно которому к участию в них допускались все жители Российской империи. Однако художники Кракова по-прежнему были оторваны от Варшавы, равно как цензурные барьеры ограждали ее от книг, издаваемых в Краковской республике и Австрийской империи.

Тем не менее выставки явились одним из факторов развития общенациональной культурной жизни и укрепления национального самосознания. В условиях утраты политической самостоятельности создание постоянного института публичных художественных выставок (следует отметить, что Варшава это сделала не из последних в Европе), было, несомненно, признаком сохранения непрерывности культурной традиции, способности к ее дальнейшему развитию. Сам факт организации выставок рождал в польском обществе оптимизм. Он был основан на сознании распространенного значения польского национального искусства. В рецензии, опубликованной на выставку 1819 г. в «Газете Варшавской», говорилось: «Вид этого собрания (произведений) и первых начальных национального образования в изящных искусствах \*\* возбуждает в сердце соотечественников самые приятные чувства и надежды»<sup>22</sup>.

\* В первой половине XIX в. большинство выставок было доступно бесплатно. Лишь в 1836 г. на выставку, которая была организована как благотворительная, вход был платным. В 1845 г. также были введены билеты, дававшие одновременно право на посещение художественной и промышленной выставок. Ряд художников открывает для свободного посещения свои мастерские.

\*\* На выставке были представлены произведения зрелых художников и учеников отделения живописи при Варшавском университете.

С начала XIX в. все более заметным фактором в художественной жизни становится периодическая печать. Прежде всего это относится к варшавской прессе<sup>23</sup>, а также к краковской и виленской. Газеты помещают самого разного рода информацию. Они выступают посредниками между художниками и широкой публикой. Так, в газетах регулярно помещались объявления художников, предлагающих свои услуги в качестве портретистов или учителей рисования. Особенно охотно к помощи прессы прибегали иностранные художники. Приехав в Варшаву или Краков часто на небольшой срок, они стремились как можно быстрее оповестить своих потенциальных заказчиков о прибытии. Искали известность через прессу и начинающие польские художники, и зрелые мастера.

Заметную роль играла пресса и как посредник в развитии торговли картинами, внося вклад в формирование национального художественного рынка.

Эти новые явления в художественной жизни, о которых шла речь выше,—изменение источников финансирования художественного творчества, социального положения художников, распространение профессии свободного художника как элемента формирования национальной творческой интеллигенции, укрепление значения городов как художественных центров, развитие публичных форм художественной жизни (выставки, прессы, музеи), начавшийся процесс ее демократизации, возникновение художественного рынка, характерные для культурного процесса во всех странах в период формирования буржуазной науки,—в Польше развивались замедленно, скачкообразно, этапы подъема чередовались с полосами упадка, что было следствием исторической судьбы Польши в XIX в.

Разделы, тормозя развитие польской культуры в целом, задерживали также консолидацию национальных творческих сил, складывание общенациональных форм культурной жизни.

Процесс национальной культурной интеграции, проявлявшийся в других странах, в частности в росте общенационального значения отдельных культурных центров, в Польше в результате разделов замедлился. Политическая эмиграция, особенно сильная после восстания 1830—1831 гг., повлекла за собой отток художественной интеллигенции за пределы Польши. Существенной особенностью польской культурной жизни в XIX в. становится возникновение ее очагов в Париже (прежде всего в результате так называемой Великой эмиграции), а также в Петербурге, Вене, Риме, Дрездене и других городах. Вопрос о значении этих очагов в формировании польской национальной художественной культуры исследован еще мало. Между тем было бы чрезвычайно существенно проанализировать характер творчества отдельных мастеров, работавших за пределами Польши, именно с точки зрения национальных особенностей их творчества. Здесь, очевидно, можно было бы отметить мастеров, сохранивших глубоко

национальную проблематику своего творчества (яркий пример — график Антоний Олецкинський), как и художников, потерявших связь с основным течением развития польской культуры и вошедших в ее историю лишь в силу своего национального происхождения.

Однако как разделы не могли помешать завершению формирования польской нации, так они не могли и остановить развитие польской национальной культуры. Важно отметить, что новые формы культурной жизни, о которых шла речь выше, достигают наиболее зрелого выражения в те же хронологические рамки, которые историки определяют как время завершения формирования польской буржуазной нации (вторая половина XIX в.)<sup>24</sup>.

Именно со второй половины XIX в. можно говорить о стабильности и зрелости форм культурной жизни в Польше — утверждаются позиции средних слоев общества, как определяющих в инспирировании художественного творчества; города окончательно закрепляют за собой роль национальных культурных центров в противовес утратившим свое культурное значение поместьям шляхты и магнатским резиденциям; общественные формы культурной жизни, вопреки репрессиям, приобретают систематический характер; регулярно проводятся художественные выставки (с 1858 г.), открываются постоянно действующие художественные музеи (Познань, 1857 г.; Варшава, 1862 г.; Краков, 1879 г.); в 1854 в Кракове, а в 1860 г. в Варшаве создаются общества поощрения изящных искусств\*, что дало более прочную материальную основу для деятельности художников; более развитый характер приобретает художественный рынок.

Важным результатом складывания новых форм культурной жизни было воздействие их на развитие самого художественного творчества. Наряду с другими не менее значительными факторами, как влияние национально-освободительных и патриотических идей, рост национального самосознания и др., они способствовали усилию национальной специфики произведений польских мастеров, формированию национальной школы в польском искусстве.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> О меценатстве Станислава Августа существует обширная литература. См., например, Mańkowski T. — Mecenat Stanisława Augusta. Warszawa, 1934; Tatarkiewicz Wł. Rządy artystyczne Stanisława Augusta. Warszawa, 1934 и др.

<sup>2</sup> См. об этом: St. Kozakiewicz. Malarstwo warszawskie w latach 1815—1850. Podłożę rozwoju. Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, t. IV. Warszawa, 1962.

<sup>3</sup> Развитие польского художественного образования подробно рассматривается в кн.: Bartnicka K. Polskie szkolnictwo artystyczne. Wrocław, 1971.

\* Аналогично общество, созданное в 1836 г. в Познани, объединяло прежде всего немецких художников.

<sup>4</sup> Вопросам продажи произведений живописи в Варшаве посвящала работа: *A. Ryszkiewicz. Początki handlu obrazami w środowisku warszawskim.* Wrocław, 1953.

<sup>5</sup> «Kurier Warszawski», 1821; *Moszoro J. Warszawskie życie artystyczne w świetle prasy warszawskiej.* Wrocław, 1962, str. 85.

<sup>6</sup> «Gazeta Warszawska», 1820; цит. по: *Moszoro J. Указ. соч.*, str. 82.

<sup>7</sup> См.: *Ryszkiewicz A. Sprawy artystyczne w działalności Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. «Materiały do studiów i dyskusji...»*, 1951, N 6.

<sup>8</sup> О борьбе польских художников за освобождение из-под цеховой зависимости см.: *M. Chambona. Walka malarzy krakowskich o wyzwolenie spód praw czechowych.* «Biuletyn Historii Sztuki», 1954, N 2.

<sup>9</sup> *J. Białostocki. Ikonografia romantyczna.* W: «Romantyzm». Warszawa, 1967, str. 69.

<sup>10</sup> Вопрос о положении польских художников в первой половине XIX в. рассматривается польским ученым А. Рышкевичем в статье: *Na temat pozycji społecznej artystów polskich w pierwszej połowie XIX wieku. «Materiały do studiów i dyskusji...»*, 1952, N 10-11, а также в его работе *«Początki handlu obrazami w środowisku warszawskim»*, str. 29—49.

<sup>11</sup> Польский исследователь Stefan Kozakiewicz в своей работе *«Варшавская живопись 1815—1850 гг.»* (названной выше) справедливо отмечает, что ситуация, в которой находились польские художники на протяжении первой половины XIX в., не была одинаковой: как наиболее благоприятный период он выделяет, в частности, 1815—1830 гг.

<sup>12</sup> Цит. на осн.: *Kozakiewicz St. Warszawskie wystawy sztuk pięknych w latach 1819—1845.* Wrocław, 1952, str. 194.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> «Gazeta warszawska», 1828, N 238. Цит. на осн.: *Kozakiewicz St. Warszawskie wystawy... str. 193.*

<sup>15</sup> Цит. на осн.: *Dobrowolski T. Nowoczesne malarstwo polskie.* Warszawa, 1957, t. I, str. 25.

<sup>16</sup> *Smokowski W. Walenty Wańkowicz.* «Athenaeum», 1845, t. VI.

<sup>17</sup> Высказывания об этом А. Грабовского, Э. Зимецкой — представителей наиболее реакционного крыла польской художественной критики — анализирует А. Рышкевич в статье *«Na temat pozycji społecznej...»*. Op. cit.

<sup>18</sup> Их исследованию посвящена книга: *Kamionkowa J. Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku.* Warszawa, 1970.

<sup>19</sup> *Kamieński A. Edukacja obywatelska.* Warszawa, 1774, str. 83—84.

<sup>20</sup> О варшавских художественных выставках см.: *Kozakiewicz St. Warszawskie wystawy..., Kozakiewicz St. Malarstwo warszawskie w latach 1815—1850.*

<sup>21</sup> О деятельности галерей см. публикацию А. Рышкевича: *«Zbiory artystyczne Józefa Kajetana Ossolińskiego. Pierwsza publiczna Galeria warszawska».* «Rocznik Warszawski», t. I, 1960.

<sup>22</sup> «Gazeta Warszawska», 1819, N 76; цит. по: *Kozakiewicz St. Warszawskie wystawy..., str. 14.*

<sup>23</sup> См.: *Moszoro J. Указ. соч.*

<sup>24</sup> См., например: *«История Польши»*, т. II. М., 1956, стр. 376 и др.

Ю. И. РИТЧИК

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВОПРОС  
В ЧЕШСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ  
В 50 — НАЧАЛЕ 60-Х ГОДОВ XIX в.

В историческом развитии чешского народа, в системе чешского искусства и культуры в целом театру всегда принадлежало значительное, а на некоторых этапах едва ли не первенствующее место. Укажем в качестве примера на такие периоды в эпохе национального Возрождения, как последние десятилетия XVIII в., 30-е годы XIX в.<sup>1</sup>

Столь же важным как относительно перспективы развития собственно театрального искусства, так и с точки зрения его общественного резонанса и весомости является в истории чешского театра период 50—60-х годов прошлого столетия. В это время ведущие деятели чешской национальной политики и культуры окончательно определяют и формулируют принципы и пути создания самостоятельного Национального чешского театра. Оговорим предварительно, что в данной работе речь пойдет не о конкретной художественно-эстетической практике театра тех лет (репертуар, режиссура, исполнительское мастерство и т. п.), а о театральном вопросе как составной части той общей, многосторонней борьбы чешского общества за национальное самоутверждение, национальную культуру, которая широко велась им в эти годы и отражала степень национальной зрелости и самосознания.

Театральный вопрос для чехов 40—60-х годов — это прежде всего проблема отделения чешского театра от немецкого, создание регулярной, самостоятельной профессиональной чешской сцены, которая бы служила потребностям крепнувшего чешского элемента в Праге и чешского населения страны вообще.

В 40-е годы положение чешской профессиональной труппы (а таковая была лишь в Праге) было почти катастрофическим. Сцена Сословного театра, где играла чешская труппа, предоставляемая ей лишь по воскресеньям, в неудобное для публики время, на спектакль отводилось два часа, по истечении которых по указу властей занавес — независимо от того, был ли спектакль доведен до конца или нет,— должен был закрываться. Это пагубно отражалось как на текстах пьес, подвергавшихся неестественному сокращению, так и на уровне мастерства актеров, игравших без репетиций. К тому же актеры не могли существовать на те гроши, которые им выплачивались, и вынуждены были искать дополнительные средства, либо исполняя третьестепенные роли в немецких спектаклях, либо просто занимаясь какой-то далекой от театра деятельностью. Статус чешской труппы даже

юридически не был оформлен: она не имела так называемого интенданта (выражаясь современным языком, директора-распорядителя), т. е. интересы ее нигде и никем не представлялись. Рядом же были немецкие актеры, великолепно подготовленные, высокооплачиваемые, являвшиеся безраздельными хозяевами Словного театра.

Деятели чешского будительства неоднократно, с учетом общественно-политических обстоятельств, пытались изменить такое положение и завоевать чешской труппе равноправие в стенах Словного театра, однако и к середине 40-х годов положение сохранялось таким же, каким оно было еще при Я. Н. Штепанеке, в 20-е годы.

Постепенно в среде чешских национальных деятелей созревает, правда еще не окончательно четко, убеждение в том, что самостоятельность чешского театра следует искать не путем убеждения земских и центральных, венских, официальных учреждений в справедливости чешских требований, а в строительстве отдельного театрального здания в Праге для чешской труппы. Еще в 1846 г. под председательством одного из лидеров патриотически настроенной части дворянства, графа И. М. Туна, было создано акционерное «Товарищество чешского театра», куда вошли несколько десятков богатых пражских чехов, а также наиболее видные представители национальной партии, такие, как Ф. Палацкий, Й. Юнгман, Ф. Л. Ригер, Й. В. Фрич. Однако прошение о разрешении деятельности товарищества не было представлено венским правительством на рассмотрение императору Фердинанду I и осталось без ответа.

В революционной ситуации 1848 г. театральный вопрос становится предметом активного обсуждения на страницах и радикальных, и либеральных органов чешской печати. Именно в условиях подъема революционного движения широких народных масс, вылившегося в Пражское восстание в июне 1848 г., выдающийся деятель чешского театра и культуры Й. К. Тыл, выражая объективные потребности в национальном самоутверждении и концентрируя уже носившиеся в среде чешской интеллигенции, по еще расплывчатые идеи относительно средств решения театрального вопроса, формулирует положение о создании чешского национального театра путем участия самых широких слоев всей нации в сборе средств на его строительство. Впервые эта мысль была высказана Тылом в апреле 1848 г. на страницах журнала «Вчела» в его знаменитой статье «„Опасное“ вступление». Тыл писал здесь: «Театр вообще убедительно свидетельствует об уровне национальной жизни, *у нас же и теперь* он должен являться золотым цветком новой свободы, должен стать могучим рыцагом для возвеличивания нации»<sup>2</sup>, и обращал к чешскому обществу вопрос, звучавший пламенным призывом: «Не удалось бы нам *теперь выстроить храм национальной Музы на средства нации?*»<sup>3</sup>. И далее, ставя театр в контекст всей поднимающейся наци-

нальной культуры,— заключал: «Мы обязаны теперь вскоре подумать о собственном театре; так же как нам нужны хорошие школы для будущих поколений, так нужны нам для нынешнего поколения, наряду с другими культурными учреждениями, настоящий театр, живое, пламенное слово вдохновенных поэтов, публичное выступление наппего искусства перед всем миром, который будет отныне глядеть на нас внимательным взглядом»<sup>4</sup>. (В приведенных цитатах курсив принадлежит Тылу.— Ю. Р.).

В идее Тыла необходимо подчеркнуть ее решительный акцент именно на национальном характере театра. Если на раннем этапе чешского будительства его деятели говорили о *патриотическом* театре, если романтики ратовали за *чешский земской* театр, выделяя лишь территориальный момент, то Тыл в условиях резкого ускорения процесса формирования чешской нации, выражавшегося в различных явлениях как базисного, так и надстроичного порядка, последовательно говорит о *национальном* театре.

Предложение И. К. Тыла с исключительной полнотой и точностью отражало как настроения всех слоев и политических течений, ибо в поддержку его вскоре выступили все политические фракции, все либеральные и радикальные политики, так и достаточную степень зрелости национального самосознания, так как отклик, с которым оно встретилось в широких кругах чешского населения, свидетельствовал о том, что значительная масса чехов уже начинала ощущать себя членами единого национального коллектива, перед которым стоят общие для всех его членов задачи. Это, конечно, ни в коей мере не означает, что чешское общество тех лет было в социально-классовом отношении монолитным, единым, но на том этапе исторического развития буржуазия, устами своих деятелей формулировавшая задачи нации, выражала по целому ряду вопросов общенациональное мнение.

Идея И. К. Тыла стала — по оценке современных историков театра — «генеральной линией в решении чешского театрального вопроса»<sup>5</sup>.

Широкому распространению выдвинутой Тылом программы национального театра как «дела всей нации» способствовал К. Гавличек-Боровский, который, перейдя после поражения революции 1848 г. в радикально-демократический лагерь и вступив в открытое политическое единоборство с австрийским правительством, и в театральном вопросе занял наиболее категоричную позицию. Если в начале 1848 г. в «Пражских новинах» он требовал для чешской труппы половины вечеров в Сословном театре (за что был раскритикован именно Тылом, театральным практиком, трезво оценившим политические, экономические и художественные факторы тогдашней театральной ситуации и считавшим такое решение «бальзамированием тела, готового воскреснуть к новой жизни»), то в 1851 г. Гавличек на страницах оппозиционного журнала «Слован» писал: «Театр в наше время

не является лишь и единствено учреждением для искусства, он, особенно в столицах, является одним из главных центров национальной общественной жизни, без достойного театра наш национальный язык не может снова попасть в образованные дома, от коих он до сих пор отлучен. Когда мы будем иметь свой достойный театр, мы будем день ото дня все более завоевывать общественный вес не только в Праге, но и во всей стране, а следовательно, и за границей»<sup>6</sup>. При этом Гавличек рассматривает театральный вопрос как целый комплекс проблем, связанных с организацией театральной жизни. «Собственный театр» для него — это «собственное здание, театральное общество, свои собственные актеры и певцы, оркестр, директор и драматические авторы»<sup>7</sup>.

Организационным выражением усилий чешской национальной интеллигенции, направленных на скорейшее конституирование самостоятельного чешского театра в Праге, стало образование «Общества по созданию национального театра» («Sbor pro zřízení národního divadla»).

Первое упоминание о подготовке к учреждению этого общества мы встречаем в письме П. Трояна\* от 10 июля 1850 г. на имя командования крепости и города (Прага находилась тогда на чрезвычайном положении), заключавшем просьбу разрешить деятельность такого рода общества и излагавшем основной характер и цели его работы — массовый сбор средств на постройку самостоятельного чешского национального театра.

В конце августа разрешение было получено, и 4 октября 1850 г. состоялось первое общее учредительное собрание членов общества. Председателем его был избран Ф. Палацкий, делопроизводителем — П. Троян, секретарем — Я. Юнгман. Устав общества был написан И. К. Тылом. В числе членов общества мы видим виднейших представителей чешской культуры, науки, политики той эпохи — В. К. Клицперу, К. Я. Эрбена, Я. Е. Пуркине, В. Ганку, Ф. Л. Ригера, В. Б. Небесского и др.

Важность этого события в чешской национальной жизни трудно переоценить. Цели, преследовавшиеся организаторами общества, надежды, на него возлагавшиеся, отнюдь не ограничивались рамками чисто театральных проблем, а носили общекультурный и общенациональный характер, приобретая скрытый политический подтекст. Создание общества было вызвано стремлением реорганизовать национальный фронт для сдерживания наступавшей общественно-политической и культурно-идеологической реакции, перестроить ряды сторонников либеральной партии. Вожди национального движения пытались в критическую минуту нацио-

\* П. А. Троян, известный общественный деятель, был назначен в 1849 г. временным интендантом не существовавшего еще чешского театра, что было чисто формальным признанием властями принципа равноправия двух наций в театральной сфере.

нальной истории, в момент нарастания новой волны германизации и преследования всего чешского сохранить на внешне нейтральной почве культурной программы достаточно прочные позиции для защиты национальных интересов, создать центр, который бы давал возможность определенной консолидации разобщенных национальных сил и который можно было бы легально использовать для воздействия на широкие массы, поддерживая в них национальное самосознание и готовя их к новой борьбе.

Учитывая уже начавшееся к этому времени фронтальное наступление реакции во всех сферах общественной жизни, следует признать, что учреждение «Общества по созданию национального театра» было важнейшим достижением чешского национального движения в послереволюционное десятилетие. В известном смысле общество было прообразом тех национальных культурных обществ и организаций, которые в значительном количестве стали появляться в чешских землях после падения бауховского правительства.

Осуществленное таким путем юридическое оформление идеи создания национального театра силами самой нации, широких народных масс ставило одновременно серьезную преграду попыткам решать этот вопрос, ориентируясь в первую очередь на помочь земских и центральных правительственные учреждений, как это делалось в 40-е годы. Именно такую точку зрения отстаивал Риггер, возражавший против форсирования строительства театрального здания до принятия соответствующего указа земским сеймом. Полная юридическая независимость в решении всех задач, связанных с постройкой театра, была достигнута обществом в декабре 1850 г., когда сословный земский комитет в официальном уведомлении признал за обществом — помимо права на проведение денежных сборов — право на реализацию собранных средств и всего строительства и отказался от какого бы то ни было вмешательства в действия общества.

В полной мере деятельность общества развернулась с первых месяцев 1851 г. Были составлены списки всех общин в чешских землях с данными об их населении и национальном составе. В соответствии с этим в тот или иной населенный пункт высыпалось определенное количество подписных листов, текстов обращения и устава общества на чешском или немецком языках. О масштабе этой акции свидетельствуют, в частности, следующие цифры: в 1851 г. было разослано свыше 12 тыс. экземпляров обращения на чешском языке и 8 тыс. на немецком, 2 тыс. чешских и 2 тыс. двуязычных экземпляров устава общества, масса других материалов, связанных с подготовкой сборов. Все это заняло около шести месяцев упорной организационной работы. Несколько тяжеловесная система оповещения широких слоев населения и практической реализации сборов объясняется тем обстоятельством, что обществу в самый последний момент (24 января 1851 г.) распоряжением канцелярии наместника было за-

прещено назначать собственных сборщиков в провинции. Взносы на театр должны были передаваться специальным уполномоченным, назначаемым местными общинами властями, что невольно придавало всей акции некоторый официозно-бюрократический оттенок.

В столице же общество сохранило право назначать сборщиков по своему усмотрению, закрепляя за ними определенные улицы и кварталы города. При этом сборщики, работавшие на добровольных началах, руководствовались как заранее составленными списками патриотически настроенных пражских граждан, так и личным знанием населения той или иной округи. Сборы в Праге шли очень успешно. Вот что писал еще в 1868 г. современник и один из первых историков движения за создание национального театра К. В. Гоф: «Стародавняя столица королевства нашего и на этот раз подтвердила давно заслуженную славную репутацию города, которому в высшей степени свойственно понимание всего доброго, прекрасного и полезного и который возглавил — в качестве великолепного примера другим — патриотическое начинание»<sup>8</sup>.

Гоф — с 1863 г. один из руководителей финансовой политики комитета общества — специально отмечал активный отклик на сбор средств среди представителей пролетариата: «Однако самым волнующим выражением патриотической любви является то обстоятельство, что и рабочие, обреченные лишь на свой повседневный заработок, отрывают от себя свои трудовые гроши, собирают их каждую неделю, чтобы пребывать в сознании, что и они внесли свою лепту вздание нашей национальной гордости»<sup>9</sup>. Этот факт чрезвычайно любопытен как одно из первых достоверных свидетельств самовыражения чешского рабочего класса в сфере национальной культуры.

Первые месяцы и даже первые годы проведения сборов средств на строительство национального театра подтверждали пророчество Гавличека-Боровского об успехе этого начинания. Боровский резко критиковал любое проявление пессимизма и тем более откровенного недоброжелательства по отношению к этой акции. «Я заверяю „Reichszeitung“ [имперскую газету.— Ю. Р.] и всех тех, кто заранее радуется нашей слабости, что сборы будут успешными, даже если бы для этого мне потребовалось ходить от деревни к деревне и доказывать необходимость и полезность такого рода национальной манифестации. Пусть вы приложили все усилия, чтобы вычеркнуть нас из семьи народов, но мы вам докажем, что мы в состоянии проделать еще большую работу для того, чтобы остаться тем, чем нас создал бог,— народом самостоятельным, вам равным, а не вашими подданными»<sup>10</sup>.

Специальные академии\*, беседы, балы, лотереи, спектакли лю-

\* Мероприятие культурно-просветительного характера, типичное для чешской культурной жизни рассматриваемого периода.

бительских театральных кружков, сбор с которых шел в пользу национального театра, устраивались по всей Чехии, а также в имперской Вене, в Словакии, на Мораве и в других частях Австрийской империи.

Чешское движение за самостоятельный театр получило определенный резонанс и за границей. Среди фактов, подтверждающих это, для нас наиболее интересно письмо дирекции московской оперы, посланное комитету общества в октябре 1852 г. с предложением принять участие в первых спектаклях будущего национального театра.

Разумеется, далеко не все «известные лица» откликнулись на призыв общества внести свою лепту в дело создания самостоятельного чешского театра. Не пожелал дать ни крейцера австрийский император Франц-Иосиф I, не удостоивший ответом письмо общества от 23 октября 1850 г.

Власти вообще были крайне обеспокоены размахом театральной кампании, особенно тем общественно-национальным резонансом, который она получила в чешских землях, и стремились всемерно сковать инициативу патриотических сил страны различными запрещениями и ограничениями. Так, например, в 1853 г. полицией были изъяты подписные листы у студентов-сборщиков в Карловом университете. В ответ на свой протест комитет общества был уведомлен о том, что впредь сборы среди студентов университета и Высшей политехнической школы запрещаются.

Осенью 1852 г. общество в лице своих представителей — М. Бергера, В. Порта и М. Горачека — подписывает с некоей Элеонорой фон Шлоссер купчую на приобретение за 45 тыс. золотых «в полное и неограниченное владение» земельного участка с постройками на берегу Влтавы, где некогда находился городской соляной склад. Первые 25 тыс. золотых были выплачены в день оформления купчей, остальная сумма погашалась в рассрочку в течение четырех лет. После последнего погашения в 1856 г. в кассе общества осталось около 500 золотых...

По мере нарастания той застойной общественной атмосферы, которая позволила поэту охарактеризовать это десятилетие (1850-е годы) как «время заживо погребенных» (Неруда), интерес к театральной проблеме все более и более затухает. Деятельность общества, равно, впрочем, как и национальное движение в целом, переживает период явного упадка. Достаточно сказать, что сборы в 1858—1860 гг. составили всего-навсего 75 золотых 50 крейцеров.

Падение реакционного правительства Баха и обнародование октябрянского диплома 1860 г. открыли новые возможности и горизонты перед чешским национальным движением, политическая и культурная жизнь приобрела в чешских землях небывалые до тех пор масштабы. Среди первоочередных задач, поставленных на повестку дня чешской нацией, центральное место занял опять театральный вопрос. О том, насколько животрепещущей едва ли

не для каждого чеха была проблема равноправного положения чешской труппы в пражском Сословном театре, говорит тот факт, что уже в первом номере крупнейшей чешской политической газеты «Народни листы» (1 января 1861 г.) В. Галек от имени всей нации заявил: «Мы хотим — и немедленно, пока у нас нет собственного театра,— половину вечеров в Сословном театре — для чешских представлений, вторая половина пусть останется немцам»<sup>11</sup>.

В новых условиях оживляется и деятельность «Общества по созданию национального театра». Поскольку в конце 50-х годов многие его члены по тем или иным причинам из него выбыли, то один из первых шагов исполнительного комитета общества был направлен на всемерное его укрепление, в первую очередь путем расширения его численного состава. Декретом канцелярии наместника от 11 августа 1861 г. предельный лимит количества членов общества был увеличен со 120 до 300 человек. Среди новых членов мы видим, как правило, представителей нового поколения деятелей чешской культуры младочешской ориентации, таких, как Й. Манес, К. Сладковский, Я. Неруда, В. Галек, Й. Барак, Й. Р. Вилимек, Р. Турн-Таксис и др.

И снова, как на рубеже 40—50-х годов, в лагере чешских национальных деятелей сталкиваются два противоположных мнения относительно форм реализации намеченной цели — создания независимого, отделенного наконец-то от немецкого, чешского театра.

Суть театральной программы Ф. Л. Ригера составляло положение о необходимости срочно добиваться в земском сейме и земском комитете решения о немедленном строительстве на средства земского бюджета хотя бы небольшого театрального здания для чешской труппы. Ригер, политик сколь тщеславный, столь и трезвый, не хотел упустить благоприятные политические условия для постройки пусть скромного, *временного*, но чешского театра, прекрасно помня о том, как резко изменилась политическая ситуация двенадцать лет назад, когда решение театрального вопроса в пользу чешского элемента в Праге казалось делом ближайшего будущего. Финансовое же положение «Общества по созданию национального театра» не позволяло надеяться на то, что оно в скором времени сможет приступить к реализации своей задачи.

При оценке театральной программы Ригера, ее достоинств и недостатков, следует помнить, что она отнюдь не была неизменной, а модифицировалась в соответствии с эволюцией политических взглядов своего автора. В начале 60-х годов Ригер, справедливо настаивая на первоочередности строительства театрального здания под эгидой земского сейма и земского комитета, еще не отбрасывал в сторону (отсюда его термин «временный») мысль о создании в дальнейшем, по мере материального укрепления общества, национального театра на средства самой нации,

хотя особого энтузиазма по отношению к этой акции у него не было. Я. Бартош прав, когда пишет: «Мистицизм идеи национального театра был ему непонятен. То, что составляло ее основу,— вера — было ему чуждо. Он не понимал ее эмоционального смысла, в ведь она... инспирировала в народе сознание собственной силы»<sup>12</sup>.

Взгляды Ригера полностью разделял Ф. Палацкий, авторитет которого многих заставлял с ними соглашаться. Исчерпывающие характеризует позицию маститого историка, уповающего прежде всего на благосклонность властей, фраза, начертанная им на поданном многолетним секретарем общества Я. Юнгманом «Проекте быстрого сбора достаточных средств для учреждения чешского национального театра в Праге»: «Мы ждали столько лет, подождем еще несколько недель»<sup>13</sup>.

За скорейшее построение национального театра, т. е. за идею театра, созданного на средства самой нации, ратуют — и, следует признать, не слишком обоснованно, учитывая тогдашнее финансовое положение общества, — Сладковский, Галек, Вилимек, братья Э. и Ю. Грегры.

Столкновение этих двух групп в рамках общества было одним из первых конфликтов между поляризующимися либеральной, младочешской, и консервативной, старочешской, фракциями в Национальной партии, борющимися за лидерство в национально-политической жизни — пока еще на почве культурной программы, но с явным политическим подтекстом.

Против проекта Ригера Сладковского и его сторонников заставляло выступать главным образом опасение, что появление некоего промежуточного, «временного» звена в театральном развитии снизит накал национальных усилий в этом направлении и отдалит момент окончательного завершения борьбы за национальный театр, миссия которого состояла для них не только в подъеме чешского театрального искусства на более высокий художественный уровень, но и в демонстрации жизнеспособности и зрелости чешской нации вообще. Кроме того, было очевидно, что обществу будет трудно влиять в нужном направлении на практическую деятельность театра, выстроенного земскими властями и являющегося, естественно, земским учреждением, в то время как в национальном театре предполагалось, правда в качестве альтернативы, создание конституируемого самим обществом особого театрального совета, который бы руководил финансовой и художественной политикой театра.

21 января 1862 г. Ригер провел через земский комитет решение о строительстве в Праге временного театра для чешской драматической и оперной трупп на средства земского бюджета в размере 80 тыс. злотых.

«Общество по созданию национального театра» принципиально согласилось с этой инициативой земских учреждений и передало в их ведение часть земельного участка, предназначенного для

строительства большого здания национального театра. При этом, однако, общество недвусмысленно заявило о необходимости непременного соблюдения двух условий, выдвигаемых им при передаче «части строительной площадки, приобретенной на деньги патриотических пожертвователей, рассчитанные исключительно на устройство национального театра»: во-первых, «временный театр должен рассматриваться как подготовка и начало будущего национального театра», во-вторых, «если рядом будет выстроено здание национального театра, то временный театр станет либо его частью, либо перейдет в его собственность»<sup>14</sup>.

К сожалению, трения между грушировками Ригера и Сладковского не ограничивались рамками одного общества и резко осложняли, в частности, давно уже натянутые отношения между обществом и земским комитетом. Земский комитет, членом которого был Ригер, стремился узурпировать юридически оформленное десять лет назад право общества на самостоятельное строительство национального театра, то выдвигая требование о передаче уже собранных обществом средств в его распоряжение, то пытаясь претендовать через канцелярию наместника решение о том, что ввиду начавшихся работ по возведению театрального здания на ассигнования земского сейма какая бы то ни было надобность в самом обществе отпадает.

«Общество по созданию национального театра» (значит, и материализованная в нем демократическая театральная программа 1848 г.) было сохранено благодаря усилиям младочешского крыла, наставившего на включении в новый устав общества, принятый в конце 1862 г., пункта о неизменности юридических отношений между обществом и земскими властями.

18 ноября 1862 г. следует признать выдающейся датой в истории чешского театрального искусства и чешской культуры вообще: в этот день постановкой исторической трагедии В. Галека «Король Вукашин» в чешской столице торжественно открылся самостоятельный чешский театр, получивший официальное название «Королевский земский временный театр в Праге»\*. С открытием этого театра, вошедшего в историю чешской культуры под названием «Временного», театральное искусство Чехии навсегда освободилось от состояния подчиненности по отношению к театру немецкому и получило возможность развиваться естественно и независимо в соответствии с задачами национальной культуры, с потребностями чешской нации. С 1862 г. «konti-

\* Здание театра, вмещавшее около тысячи зрителей и отличавшееся строгой элегантностью и простотою, было построено чрезвычайно быстро (с мая по ноябрь 1862 г.) и с художественно-архитектурной точки зрения, бесспорно, талантливо проф. В. Ульманом, который, по словам Неруды, «мастерски распорядился» небольшим земельным участком и скромными средствами. Потолок, богато украшенный лепкой в стиле Ренессанса, был расписан художником Коуцким. Ему же принадлежали эскизы занавеса, на котором были изображены памятные исторические места Чешской земли — Пражский Град, Тын, Вышеград, Бланик, Ржип.

пuita» чешского театра уже никогда не нарушалась. В течение двух десятилетий (1862—1883) Временный театр был ведущей чешской сценой, идейно-художественные искания и находки, мастерство актеров и режиссеров, репертуарная политика, наконец,— само существование которой оказывало существенное и принципиальное воздействие на театры в других чешских городах, на многочисленные любительские труппы в провинции, на бродячие театральные общества, словом, на всю театральную жизнь страны. Отметим, кстати, что уже в 1865 г. постоянный чешский театр появляется в Пльзне, несколько позже — в Брно, и т. д. Был ли Временный театр необходимым и естественным этапом в развитии чешской театральной культуры? В. Галек, младочешский оппонент Ригера, по случаю открытия театра писал: «Мы считаем наш Временный театр решительным шагом вперед, на котором, однако, останавливаться нельзя, но лишь благодаря ему (курсив наш — Ю. Р.) мы можем достичь того, чего мы все желаем»<sup>15</sup>.

Еще более определенно высказался человек, который в дальнейшем стал добрым гением театра, способствовавшим, как, по жалуй, никто, росту его художественно-эстетической зрелости,— Ян Неруда: «Мы должны считать Временный театр подлинным даром божиим. Это единственный возможный переход к достойному большому театру (курсив наш.— Ю. Р.). Сначала наши чувства противились такому небольшому театру. Однако мы не согласились, наученные опытом, с общественным мнением и не напрасно, ибо видели, что временный театр должен появиться и что воздействие его будет благодатным»<sup>16</sup>. Искренность и продуманность занятой Нерудой позиции подтверждается в полной мере тем фактом, что, будучи избран (еще до открытия Временного театра) членом «Общества по созданию национального театра», поэт отказался от членства, полагая, что споры, в нем ведшиеся, далеко не всегда служат решению театрального вопроса. Кстати, по этой же причине Неруда сторонился и «Умнелецкой беседы» («Художественного клуба») — творческого объединения литераторов, художников, музыкантов, возникшего в 1863 г.

Но самым веским аргументом в пользу «эпохи Временного театра» (термин, распространяемый на театральную жизнь 1860—1870-х годов) как закономерного этапа в развитии чешского театрального искусства является сама художественная практика творческого коллектива Временного театра, место и роль театра в общем культурном процессе 60—70-х годов XIX столетия.

Официальный статус («королевский», «земский») и автономное положение Временного театра, улучшение его материальной базы способствовали значительному подъему профессионального уровня, росту исполнительского и режиссерско-постановочного мастерства, увеличению объема репетиционных и учебных занятий, расширению состава драматической и оперной труппы. Современная наука справедливо считает, что «в 60-е годы впервые теат-

ральные сцены, несмотря на все недостатки, дали возможность консолидировать актерский ансамбль и заложить фундамент для художественной деятельности в будущем большом театре — национальном». <sup>17</sup> Действительно, только пройдя нелегкую, во многом противоречивую школу Временного театра, актеры и режиссеры смогли в дальнейшем успешно и прочно овладеть глубинами сценического реализма, утвердившегося в стенах Национального театра, но зарождавшегося в 60—70-е годы во Временном театре.

Появление Временного театра благотворно отразилось и на других областях национальной культуры. Так, например, задача выработки собственного репертуара, решавшаяся молодым театром, послужила толчком для роста продукции отечественной драматургии. Для Временного театра писали многие ведущие литераторы тех лет — Я. Неруда, В. Галек, Й. В. Фрич, Ф. В. Ержабек, Э. Боздех. Наиболее распространенным был жанр исторической трагедии, тогда как драма, созданная на материале современной жизни, появляется во Временном театре значительно позднее («Слуга своего господина» Ержабека, 1870).

Подлинного триумфа добивается на сцене Временного театра чешская национальная опера, основу которой составили классические произведения Б. Сметаны: «Брандербуржцы в Чехии», «Проданная невеста», «Две вдовы», «Поцелуй» (первые две — на либретто К. Сабины). В течение почти десяти лет Сметана руководил музыкальной частью театра.

Наконец, не следует забывать тот знаменательный факт, что именно в стенах Временного театра чешский зритель впервые знакомится с русской драматургией («Ревизор» Гоголя, 1865; «Бедность не порок» Островского, 1867; трилогия Сухово-Кобылина и т. д.) и с русской оперой («Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» Глинки, исполненные соответственно в 1866 и 1867 гг., причем последняя опера поставлена при непосредственном участии М. А. Балакирева). Разумеется, интенсификация чешско-русских культурных связей в 60-е годы прошлого века, отмечаемая единодушно многими исследователями этого периода <sup>18</sup>, является прежде всего результатом некоторых аналогичных тенденций в общественной жизни двух этих стран. Однако, не будь в Праге к этому времени самостоятельного чешского театра, проникновение русской драмы и оперы в чешскую культурную среду произошло бы, конечно, значительно позднее.

Создание Временного театра не сняло с повестки дня вопрос о постройке Национального или, как его называли современники, чтобы отличить от Временного, «большого», «достойного» театра, созданного на средства самой нации. Но задача эта была решена уже на другом историческом этапе, когда влияние в обществе все более переходило в руки младочехов, а консерватизм их политических противников, старочехов, все более нарастал. Кстати, рост консервативных тенденций в политических воззрени-

ях Ригера находил непосредственное отражение и в его театральной политике. Вскоре после постройки Временного театра он полностью отказывается от идеи национального театра. Будучи избран в 1863 г. председателем общества, он в течение двух лет не созывал собраний членов общества, парализовав его работу, а с 28 февраля 1864 г. по его указанию с театральных афиш, начинавшихся официальным называнием «Королевский земский временный театр в Праге», изымается слово «временный». Новый этап в деятельности «Общества по созданию национального театра» наступил в 1865 г., когда руководство обществом перешло в руки младочехов. Вместо Ригера председателем был избран Ф. Урбанек, а заместителем — известный лидер младочешской партии К. Сладковский, ставший подлинным вдохновителем деятельности общества.

Таким образом, в качестве итога можно констатировать, что в национальном движении чешского народа в 50—60-е годы прошлого века борьба за самостоятельный чешский театр была одной из эффективных форм самоутверждения нации. С другой стороны, методы реализации театрального вопроса в Чехии были таковы (создание оппозиционного властям «Общества по созданию национального театра», участие широчайших народных масс в финансировании строительства, сеть специальных сборщиков в столице и т. д.), что служили не только конкретным задачам театрального искусства, но и решительным образом способствовали росту национального самосознания — одного из важнейших признаков развитой нации.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> «Dějiny českého divadla. II. Národní obrození». Praha, 1969, str. 198.

<sup>2</sup> Йозеф Кастан Тыл. Театр. М., 1957, стр. 554.

<sup>3</sup> Там же, стр. 557.

<sup>4</sup> Там же, стр. 569.

<sup>5</sup> «Dějiny českého divadla. II...», str. 331.

<sup>6</sup> K. Havlíček Borovský. O literatuře. Praha, 1955, str. 112.

<sup>7</sup> Там же, стр. 111.

<sup>8</sup> K. V. Hof. Dějiny velkého národního divadla v Praze. Praha, 1868, str. 11.

<sup>9</sup> Там же, стр. 13.

<sup>10</sup> K. Havlíček Borovský. Указ. соч., стр. 116.

<sup>11</sup> V. Hálek. O umění. Praha, 1955, str. 167.

<sup>12</sup> J. Bartoš. Národní divadlo a jeho budovatelé. Praha, 1934, str. 134.

<sup>13</sup> Там же, стр. 122.

<sup>14</sup> K. V. Hof. Dějiny velkého národního divadla v Praze, str. 35.

<sup>15</sup> V. Hálek. Указ. соч., 185—186.

<sup>16</sup> Цит. по: V. Müller. Vypravění o Národním divadle. Praha, 1963, str. 72.

<sup>17</sup> «Dějiny české literatury. III. Literatura druhé poloviny XIX století». Praha, 1961, str. 91.

<sup>18</sup> И. Бэлза. Очерки развития чешской музыкальной классики. М.—Л., 1951, стр. 227, 235 и др.; А. П. Соловьева. Борьба Неруды за реалистическую эстетику в чешской литературе 60—70-х годов XIX века. «Критический реализм в литературах западных и южных славян». М., 1965, стр. 29—30 и др.; К. И. Ровда. Чехи и русские в их литературных взаимосвязях. 50—60-е годы XIX в. Л., 1968.

Г. Л. МАЙКОВСКАЯ

К ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСА  
О ФОРМИРОВАНИИ  
АЛБАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Проблема формирования албанской национальной культуры относится пока еще к числу малоизученных. Отсутствуют специальные исследования, целиком посвященные этой проблеме. Косвенным образом она, конечно, рассматривается в работах албановедов различных профессий — историков, фольклористов, литературоведов, языковедов. Однако это рассмотрение в большинстве случаев носит характер чисто фактологический и не позволяет делать каких-либо теоретико-обобщающих выводов.

В данной статье будет сделана попытка лишь кратко охарактеризовать постановку вопроса о формировании албанской национальной культуры в имеющейся литературе.

На наш взгляд, самыми серьезными источниками по проблеме формирования албанской национальной культуры являются: II том «Истории Албании»<sup>1</sup> (Тирана, 1965) и «Краткая история Албании» (М., 1965). Сюда следует отнести также книги И. Г. Сенкевич: «Освободительное движение албанского народа в 1905—1912 гг.» (М., 1959) и «Албания в период Восточного кризиса» (М., 1965). В этих работах вопрос о формировании албанской национальной культуры в период национального Возрождения рассматривается не как специальная проблема, а в связи с анализом национально-освободительного движения в Албании и процессом становления албанской нации, национального самосознания албанцев. Приблизительно в таком же аспекте вопрос о формировании албанской национальной культуры стоял и на проведенных в Тиране в 1953 и 1964 гг. научных сессиях, посвященных проблемам нации и национального движения, на I и II конференциях по проблемам албановедения, состоявшихся в Тиране в 1962 и 1968 гг. Представляют известный интерес материалы, посвященные трактовке национального Возрождения в албанской исторической литературе, которые в последнее время публиковались в журнале Тиранского государственного университета «Исторические исследования»<sup>2</sup>. В этих материалах отмечается, что в отличие от довоенных буржуазных историков, которые сводили период национального Возрождения лишь к культурно-просветительному движению, нынешняя албанская историография, выявив новое содержание этого периода, связав его с разложением феодальных отношений и возникновением буржуазных отношений, отводит важное место народным движениям. Что касается выдающихся албанских просветителей, то их концепции и проекты в отношении будущего исторического и культурного

развития Албании оцениваются сейчас диалектически: с одной стороны, подчеркивается их политическая дальновидность, с другой — ограниченность их мировоззрения, вызванная условиями, в которых оно формировалось.

Следует отметить также, что отдельные проблемы албанского культурно-просветительного движения рассматриваются в албанском журнале «Народное образование» («Arësimi popullor»), в югославском журнале «Исследования по албановедению» («Gjurmime albanologjike»), в румынском журнале «Юго-восточные исследования» («Revue des études Sud-Est européennes»). Эти вопросы затрагиваются и в изданной в 1967 г. в Америке книге С. Скенди «Албанское национальное Возрождение 1878—1912 гг.»<sup>3</sup>. В ряде исследований, посвященных албанскому фольклору, литературе, искусству, в статьях, опубликованных в албанском журнале «Исследования по филологии» («Studime filologjike»), в работах советских авторов Ю. В. Ивановой<sup>4</sup>, Г. Л. Маньковской<sup>5</sup>, Т. Ф. Серковой<sup>6</sup> вопросы формирования албанской национальной культуры и литературы, национального самосознания албанцев рассматриваются в связи с анализом творчества албанских поэтов, писателей, переводчиков, собирателей фольклора, художников и др. Представляют интерес работы советского албановеда-языковеда А. В. Десницкой «Албанский язык и его диалекты» (Л., 1969) и «Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка» (Л., 1970), в которых вопросы разобщенности и унификации албанского языка исследуются как составная часть складывавшейся в период национального Возрождения албанской национальной культуры.

Представляется очевидным, что в настоящее время комплексное изучение процесса формирования албанской национальной культуры, которое должно вестись совместными усилиями специалистов целого ряда научных дисциплин, находится в своей начальной стадии и лишь дальнейшая планомерная и всесторонняя разработка сложной проблематики данного процесса может привести к созданию цельной и объективной его картины.

Пока же на основе имеющегося материала мы попытаемся в самой краткой форме выделить узловые, на наш взгляд, моменты становления албанской национальной культуры в период национального Возрождения.

Прежде всего, как уже говорилось, албанская национальная культура начинает складываться в период албанского национального Возрождения, хронологическими рамками которого в исторической литературе принято считать, с одной стороны, 40-е годы XIX в., а с другой — провозглашение независимости Албании от 500-летнего турецкого господства в 1912 г. По мнению большинства исследователей, в период национального Возрождения происходит зарождение экономической и политической общности в масштабах всей страны в результате разрушения старых, феодально-патриархальных связей и развития товарно-денежных от-

ношений. Медленно, но уже происходит формирование албанской буржуазии. Начинается процесс складывания албанской нации, сопровождающийся бурным подъемом национального самосознания, что находит свое яркое выражение в широких антитурецких выступлениях. В тесном контакте с объективными потребностями национально-освободительного движения на протяжении всего периода национального Возрождения происходит борьба за осуществление требований культурно-просветительского характера — за свободу пользования албанским языком, создание единого албанского алфавита, организацию собственно албанских школ в противовес турецким, итальянским, австрийским школам, которые, щедро субсидируясь правительствами соответствующих стран, вели среди албанцев шовинистическую пропаганду.

Исследователи выделяют отдельные этапы становления албанской национальной культуры. Первый этап — это 40—60-е годы XIX в., когда албанская интеллигенция, вынужденная жить в основном в эмиграции из-за преследования турецких властей, была еще слабо связана с общественной жизнью своей страны. Ее деятельность и литературные произведения были известны лишь узкому кругу. На этом этапе мотивы национальной независимости ограничивались стремлением интеллигенции лишь к культурному возрождению Албании. Участвуя в политической жизни Турецкой империи, албанская интеллигенция крайне медленно освобождалась от общеосманских идей. Но с 70-х годов намечается новый этап, когда в связи с широким развитием народных антитурецких выступлений борьба за национальный язык, литературу, школу перестает быть делом одиночек-интеллигентов и превращается в общеноародное дело. Значительную роль в пропаганде национальных идей, в объединении албанцев различных вероисповеданий — православных, католиков, мусульман — сыграли первые албанские национальные объединения и патриотические культурно-просветительные общества, возникшие в последней четверти XIX в.

Требование распространения просвещения, преподавания албанского языка в школах выдвигает первая албанская национальная организация — Призренская лига, возглавившая в 1878—1881 гг. национально-освободительную борьбу в стране. После разгрома Призренской лиги важную роль в освободительном движении начинают играть национальные албанские общества, деятельность которых носила культурно-просветительный характер. Внутри Албании деятельность этих обществ была невозможна, поэтому они возникали в Стамбуле или среди многочисленных албанских эмигрантов в Румынии, Болгарии, Египте, Италии, Греции, США и других странах. Состав этих обществ неоднороден. Выделялись левое и правое крыло. Правое крыло стремилось к достижению автономии Албании в рамках Османской империи, левое, более демократическое, было тесно связано с антитурецкой борьбой своего народа.

Внимание к народной жизни, народному творчеству, стремление внести просвещение в широкие народные массы объединяло сторонников демократического направления. Многие из них — Константин Кристофориди, братья Наим и Сами Фрапери, Тими Митко, Андо Зако Чаяпу и другие — были первыми крупными албанскими писателями. С их именами связана не только выработка единого албанского алфавита, организация албанских школ, типографий, периодических изданий, но и зарождение албанской художественной литературы. Писатели, поэты и переводчики демократического направления основным содержанием своего творчества делают пропаганду идеей национально-освободительной антитурецкой борьбы и единства в ней албанцев всех вероисповеданий. Именно в этот период поэт-демократ А. З. Чаяпу писал: «Мусульмане и христиане, встаньте в ряд! Будем биться в нашем стане, стар и млад.» В своем адаптированном переводе на албанский язык французского революционного гимна «Марсельеза» поэт и переводчик Тими Митко обращается с призывом к албанскому народу поднять оружие против турок. Путем национальной адаптации басен Лафонтена ставит вопросы албанского национального освободительного движения поэт и переводчик Папа Кристо Неговани. Так, в басне «Дракон и дикий олень» он призывает к укреплению братства между албанцами в общей борьбе против турок; басня «Курица и ласточка» заключает в себе резкую критику греческой церкви, наносящей вред единству албанского народа. Эти оригинальные стихотворения и переводы были включены затем в сборник «Стихи для первых албанских школ». В 1902 г. журнал «Национальный календарь» — орган албанских эмигрантов в Софии — писал: «Призренская лига, Стамбульское и Бухарестское общества явились лишь новым светом, согревающим огнем, который растопил лед недоверия между тосками и гегами (тоски и геги — этнические названия, обозначающие соответственно жителей Северной и Южной Албании.— Г. М.), между христианами и мусульманами»<sup>7</sup>. И в этом, надо сказать, большая заслуга принадлежала первым албанским просветителям, писателям, поэтам, переводчикам.

Как нам представляется, в процессе становления албанской национальной культуры следует выделить еще один этап, обозначаемый, как правило, недостаточно четко в имеющейся литературе. Это — период подъема национально-освободительного движения с начала XX в. до 1912 г. В начале XX в. в нетурецких провинциях Османской империи усилилось национально-освободительное движение, на которое огромное революционизирующее влияние оказала первая русская буржуазно-демократическая революция 1905—1907 гг. Общий подъем освободительной борьбы захватил и Албанию. Албанская прогрессивная печать (эмigrantские газеты «Свет» — «Drita», «Албания») приветствовала русскую революцию и призывала албанцев следовать примеру русских. Используя смягчение политического режима в период

младотурецкой революции 1908 г., албанцы добились создания в самой стране национальных школ и клубов, которые до этого времени были на подпольном положении, а также создания органов печати. Правда, албанские национальные клубы имели неоднородный состав и различные программы, в основе которых в большинстве случаев лежали проблемы культурно-просветительного характера. Центральным руководящим клубом стал албанский клуб в Битоле, где были сильны традиции национально-освободительного движения. В клубах происходили столкновения между пропагандой и патриотической группами. Внутри клубов возникали тайные политические комитеты, которые вели активную патриотическую деятельность. Албанские клубы возглавили борьбу за создание албанских школ. Эти школы не разделялись по религиозному признаку и не подчинялись местным церковным общинам. Албанские национальные школы сразу же превратились в центры пропаганды молодой албанской литературы и периодической печати.

В 1908 г. состоялся первый всеалбанский культурный конгресс в Битоле, созванный с целью конституировать единый албанский алфавит. Официально этот конгресс преследовал лишь культурные цели. Однако он имел и большое политическое значение. В конгрессе участвовало 32 делегата от клубов Албании и эмигрантских албанских колоний в Италии, Румынии, Болгарии и других странах. Это были председатели и члены албанских клубов, редакторы и издатели албанских газет, чиновники и офицеры турецкой службы, служители церкви. На закрытых заседаниях конгресса обсуждались важные политические аспекты национального движения, в частности программа автономного государственного устройства Албании. Спустя год в Дибре и Эльбасане состоялся еще один конгресс, посвященный проблемам национальной культуры. Официально было объявлено, что основной задачей конгресса является организация училища в Эльбасане для подготовки учителей. Но и на этом конгрессе тоже обсуждались политические вопросы.

Школьное движение, пропаганда албанского языка, литературы, печати начали встречать жестокое противодействие со стороны младотурок. Пытаясь внести раскол в албанское национальное движение, они организовали кампанию против албанских алфавитов на латинской основе, обвиняя сторонников этих алфавитов в стремлении отдать страну в руки «неверных» европейцев. Мусульманское духовенство стремилось убедить албанцев, что латинские буквы оскорбляют веру. Руководство албанского клуба в Стамбуле, сотрудничая с младотурками, рассыпало по албанским городам книги на арабском алфавите. На местах турецкие власти увольняли с работы учителей и чиновников — сторонников латинского алфавита для албанского языка. В защиту албанских школ и латинского алфавита выступили широкие слои албанцев. Обучавшиеся в турецких средних школах албанцы в

знак протesta против арабского алфавита переходили в албанские школы. Весной 1910 г. во многих городах Албании — Корче, Пермете, Шкодре, Эльбасане — прошли митинги в защиту албанской школы, алфавита, языка. Эмигранты-албанцы в Болгарии, Румынии, США организовали митинги солидарности. В Косовском вилайете борьба вокруг албанского алфавита стала составной частью широкого движения крестьян и горожан против турецкой администрации.

Таким образом, вплоть до провозглашения независимости Албании в 1912 г. культурно-просветительное движение развивалось в тесном контакте с национально-освободительной борьбой. Произошло ли окончательное формирование албанской национальной культуры в период национального Возрождения? Как нам кажется, строго научное решение этого вопроса, равно как и многих других малоизученных либо совсем не изученных проблем, связанных с развитием албанской национальной культуры, требует еще фундаментального и комплексного анализа всех явлений и процессов рассматриваемой эпохи.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> «Historia e Shqipërisë», Vell. 2. Tirana, 1965.

<sup>2</sup> «Studime historike», 1969, N 4; 1970, N 3.

<sup>3</sup> Skendi S. — The Albanian national awakening 1878—1942. Princeton (New York), 1967.

<sup>4</sup> Иванова Ю. В. Албанцы. В кн.: «Народы зарубежной Европы», Т. I. М., 1964 (см. «Краткий исторический очерк», стр. 517—523; «Устное народное творчество», стр. 555—557; «Культурная жизнь. Литература», стр. 560).

<sup>5</sup> Маньковская Г. Л. О национальной локализации в художественном переводе. «Советское славяноведение», 1970, № 5, стр. 36—45.

<sup>6</sup> Серкова Т. Ф. Поэзия итальянских арберешей и проблемы албанского романтизма. М., 1966.

<sup>7</sup> «Kalendar kombiar». Sofie, 1902, f. 92. Цитируется по книге: Сенкевич И. Г. Албания в период Восточного кризиса. М., 1965, стр. 130.

Л. Н. ТИТОВА

ИЗ НАСЛЕДИЯ СЛОВАЦКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ  
Ю. РИБАЙ

В процессе воспитания национального самосознания словацкого народа, формирования национальной культуры немалую роль играет просветительская деятельность протестантской интеллигенции. Среди ее представителей, безусловно, следует наавать Юрая (Иржи) Рибай (1754—1812) — словацкого просветителя, евангелического проповедника в Венгрии.

Из его обширного наследия опубликовано лишь несколько работ народно-дидактического характера, в том числе: «Катехизис о здоровье для простого народа и школьной молодежи», «Правила поведения, либо вежливости», «Орфография словацко-чешская» (1795), «Настольная книга о полевом хозяйстве» (1803) и др. В 1913 г. в Праге была издана переписка Рибай с Й. Добровским<sup>1</sup>. Краткое упоминание о Рибай как о словацком будителе, тесно связанном с чешскими учеными и литераторами, верном ученике Добровского, мы находим в некоторых курсах по истории чешской, словацкой и венгерской литературы, а также в энциклопедиях. Из этих небольших заметок трудно составить представление о характере деятельности Рибай, поскольку большинство материалов, относящихся к его просветительской и научной работе, пока не получило освещения в научной литературе.

В то же время документы, хранящиеся в рукописном отделе Государственной библиотеки Сечени в Будапеште<sup>2</sup>, позволяют не только дополнить и глубже осветить просветительскую программу самого Рибай, но и представляют несомненный интерес для изучения чешского и словацкого национального Возрождения, а также венгерско-славянских научных и культурных связей конца XVIII — начала XIX в.

В некоторых статьях эти документы упоминались, однако не публиковались и не освещались сколько-нибудь подробно. В настоящее время в рукописном отделе хранятся следующие документы:

1. «Корреспонденция с учеными мужами Чехии и Моравии, 1785—1800»<sup>3</sup>, содержащая письма Й. Добровского (41), В. Дуриха (4), К. Унгара (2), Фр. Пельцеля (2), Яна Длабача (8), Й. Барча (5), В. Стаха (1), Фр. Томсы (2), Яна Рулика (1), В. Тама (1), Фортуната Ториха (5)<sup>4</sup>, т. е. видных ученых и литераторов, активных деятелей чешского национального Возрождения. Из этой обширной корреспонденции опубликованы, как уже упоминалось, письма Добровского, а также В. Стаха и В. Тама<sup>5</sup>.

Рукописное наследие Рибай содержит богатый историко-литературный материал, затрагивает важные вопросы общественно-культурной жизни Чехии и Словакии того времени: издания научной периодики, словарей, художественной литературы, славянской археологии и мифологии. В корреспонденции с Добровским, Торихом, Дурихом обсуждаются проблемы чешско-словацкого языкового родства, славянских заимствований в венгерском языке, развития чешского и словацкого литературных языков. В ответ на просьбу Рибай информировать его обо всех патриотических начинаниях Вацлав Там — основатель первого профессионального чешского театра «Боуда» — подробно пишет ему о пражской театральной жизни, переводах и постановках пьес на чешском языке (Рибай, кстати, получает из Праги экземпляры всех этих переводов), о подготовке первой антологии чешской поэзии «Стихотворения...», куда Тамом были включены стихи самого Рибай. В. Там сообщает здесь о своем намерении продолжать это издание. Для третьего тома, который так и не вышел в свет, он собирает стихотворения Стаха и Рибай.

Интересно, что на оборотной стороне письма рукой Рибай написаны имена четырнадцати евангелических священников, которые, по его мнению, заинтересуются сборниками «Стихотворений...». Видимо, это было вызвано просьбой Тама «в ближайшее время прислать некоторые имена любителей чешской поэзии»<sup>6</sup>.

Чешские будители Рулик и Пельцель в своих письмах характеризуют пражскую культурную жизнь того времени, сообщают о новых трудах чешских ученых — Длабача, Крамериуса и др.

В. Стах, профессор пастырской теологии в Градиске у Оломоуца, живший в 1785 г. в Праге, советуется с Рибай по поводу своего перевода «Истории великого костницкого сейма»<sup>7</sup>. Это был первый основательный труд о «достойных мужах» Яне Гусе и Иерониме Пражском, попавший в руки чешскому читателю и вызвавший недовольство католической церкви из-за своей просветительской направленности.

Читая эти письма, можно ясно представить себе отношение чешских будителей к Рибай: «Единственно, что мне хочется, чтобы Вы были здесь и видели постановки чешских пьес» (В. Там, 30.III 1787). «Как только представится возможность, приезжайте к нам, чтобы со всеми нами увидеться. Узнать вас лично — единственное наше желание» (Я. Рулик, 10.V 1783).

В корреспонденции Рибай выступает как страстный будитель, находящийся в курсе всех патриотических начинаний чешских ученых и литераторов, их активный помощник (Унгар, Там и другие неоднократно обращаются к нему за помощью, например при издании каталогов, словарей), стремящийся полнее познакомить венгерскую общественность с успехами чешского и словацкого Возрождения, с одной стороны, и чешских будителей

с наиболее яркими явлениями венгерской культурной жизни этого времени — с другой.

2. Несомненный интерес представляют также два письма Рибай Ференцу Сечени — крупнейшему деятелю эпохи венгерского Просвещения, основателю Национального музея и Национальной библиотеки. Первое датировано 10 августа 1805 г. и называется: «Рибай И. Собственноручно написанный ответ графу Ференцу Сечени по поводу каталога Национальной библиотеки»<sup>8</sup>.

Все письмо проникнуто духом просвещения. Рибай с энтузиазмом приветствует создание венгерского Национального музея и библиотеки. «Многие издавна воздвигали замки и крепости, защищая безопасность и долговечность нашей страны, другие героически защищали ее от врагов либо иными способами славу ее умножали. Однако то, что совершили Вы, еще никто и никогда не совершил. Бывали и у нас большие любители и усердные собиратели и хранители книг. Но все же они это делали лишь для себя и подобно своей одежде при себе держали. Ваша светлость всему обществу завещала сокровище, богатое кладами мудрости и красоты. Из своего собственного Вы сделали его всеобщим!». Рибай полагает, что эти национальные институции помогут венгерскому народу догнать «иноzemные народы» в области культуры и искусства. Ныне, пишет он, когда в Венгрию возвратились времена Матиаша Корвина и не приходится «оплакивать более потерю некогда славной Будинской корвинской библиотеки», народ Венгрии «счастливо пойдет рука об руку вместе с другими народами по пути науки и просвещения к нравственной зрелости». При этом, пишет Рибай, «слава Отчизны не скучеть, а все более и более расти и расширяться будет, так безопасность и мощь ее укрепится и упрочится, так в ней всеобщее благо расцветет и достигнет своей зрелости». Далее он упоминает о своих скромных заслугах в деле развития венгерской культуры, а в заключение предлагает Сечени «купить все книги из моих чешско-словацких, которым по праву надлежит находиться в отечественной библиотеке», поскольку «в этом случае славяне, говорящие на любом языке и пребывающие под венгерской короной, получат все условия для процветания своего языка и литературы, для возбуждения безмерной патриотической любви».

3. Рибай мечтает о месте хранителя книг этой библиотеки. Для того, чтобы познакомить Сечени со своей деятельностью и трудами, он посыпает вслед за этим письмом второе, озаглавленное: «Добавление к благодарственному письму за подаренный печатный каталог отечественной библиотеки, основанной Сечени. Жизнеописание Иржи Рибай содержащее и посланное вместе с письмом его сиятельству графу Франтишеку Сечени»<sup>9</sup>. Письмо это представляет собой, собственно говоря, автобиографию Рибай, а потому заслуживает того, чтобы привести его полностью (см. приложение). К тому же, насколько нам известно, оно не

публиковалось ни венгерскими, ни чехословацкими исследователями.

В конце письма Рибаи перечисляет свои работы как вышедшие в свет, так и находящиеся в рукописи. Следует отметить, что частично эти труды были использованы Палковичем при составлении чешско-немецко-латинского словаря<sup>10</sup>. Кроме того, отрывки из них публиковались в журнале «Staré noviny literárního umění» (1785—1786), издававшемся в Банской Бystрице на чешском языке обществом «Societas slavica» (ред. О. Плахи). Ю. Рибаи наряду с Б. Таблицем, Я. Грдличкой и другими будителями был активным сотрудником этого журнала.

«Добавление к государственному письму...» интересно также и тем, что в нем цитируется письмо Крамериуса, оригинал которого не сохранился<sup>11</sup>. Отношения этой ведущей фигуры чешского будительского движения конца XVIII в.— литератора, журналиста, основателя первого чешского издательства «Чешская экспедиция» — с другими будителями известны мало, поэтому каждое его письмо представляет большой интерес.

Характерно, что сотрудничество Рибаи и Крамериуса становится особенно интенсивным в 90-е годы XVIII в., когда Крамериусом привлекаются корреспонденты и коммиссионеры из Чехии, Моравии и Словакии, с помощью которых широко распространяются книги, издаваемые «Чешской экспедицией». Как правило, это были учителя, евангелические священники, крестьяне. Одним из таких центров распространения чешских книг стала Цинкота<sup>12</sup>.

Из письма Й. Барча, настоятеля храма св. Яна Непомука на Градчанах, подготавливавшего историю чешского книгопечатания (не издана), известно, что пражские будители неоднократно предлагали Ю. Рибаи принять участие в работе «Чешской экспедиции».

Рибаи высоко оценивает патриотическую деятельность Крамериуса — «достойного автора чешских газет, неутомимого издателя превосходных чешских книг»:

«Чешкий язык он всемерно возрождает  
и родную речь мудро прославляет»<sup>13</sup>.

4. В рукописном отделе библиотеки Сечени хранится также рукопись Рибаи (на лат. яз.): «Проект Институции, либо Общества словацко-чешского среди словаков в Венгрии»<sup>14</sup>, датированная 13 ноября 1793 г. Это весьма интересный документ, характеризующий направление просветительской деятельности самого Рибаи. В нем проступает стремление подчеркнуть вклад словацкого народа в культуру и историю Венгерского государства.

О подготовке проекта<sup>15</sup> Рибаи сообщает в письмах Церрони и Барчу, где пишет, что по примеру сербов несколько словацких священников в Венгрии хотят основать «Словацкое общество».

Проект состоит из четырех разделов. Первые три определяют сферу интересов и занятий общества. Это, во-первых, «собственно словацкий народ, обитающий в Венгрии»: его история (родина словаков, первые поселения, миграции, взаимоотношения с немцами и венграми и в связи с этим происхождение венгерского слова «Tót» — (пренебрежительное «словак»); географическое описание (районы, заселенные словаками, исчезнувшие словацкие поселения); национальный характер, обычаи, традиции. Во-вторых, это — словацкая литература. Основная задача общества — отыскивать и спасать от гибели словацкие и чешские рукописи и книги, издавать книги на словацком языке. В-третьих, — словацкий<sup>16</sup> язык, его история, его судьба в Венгрии, его доля в венгерском языке. Здесь же ставится задача «усердно собирать чешские и словацкие пословицы и поговорки».

Последний, четвертый, раздел проекта определяет пути осуществления этих задач: создание денежного фонда, библиотеки чешских и словацких книг и рукописей, архива, музея, типографии, издающей как учебники и пособия для школ, так и художественную литературу. Подробно рассматривается порядок проведения заседаний членов общества, определяются их обязанности. Главная задача «Институции, либо Общества словацко-чешского среди словаков в Венгрии» — «распространять, внушать, поддерживать и укреплять любовь к изучению словацкого языка и литературы».

В тогдашних условиях Словакии не было реальной надежды на осуществление этого проекта. Однако идея Рибай не пропала даром. Она была положена в основу проекта кафедры чешско-словацкого языка и литературы, разработанного Ю. Палковичем и Б. Таблицем в 1803 г.

5. Для исследователей чешской и словацкой литератур XVI—XVIII вв. ценным источником являются документы, относящиеся к уникальному для того времени собранию славянских книг и рукописей, созданному Рибай за многие годы неустанных поисков. В 1800 г. он был вынужден продать свою библиотеку и с этой целью готовил к печати ее каталог (Рибай стремился передать все собрание в одни руки. Библиотека была продана за очень низкую цену венгерскому меценату Янковичу. В настоящее время большая ее часть находится в Национальном музее в Будапеште). Каталог остался в рукописи и хранится в библиотеке Сечени. Он озаглавлен следующим образом: «Библиотека славянско-чешская, или рукописный каталог книг, излагающий как изданные, так и рукописные книги славянские различного рода, преимущественно чешские, отысканные в различных местах и собранные воедино с большим трудом и большими затратами священником Георгием Рибай, словаком из Тренчина, священником в Цинкоте. Книги систематизированы в соответствии с размерами и по языку. Расположены в алфавитном порядке. Года 1800»<sup>17</sup>.

Согласно каталогу, библиотека содержит 2030 книг и рукописей, из них «*Libri bohemici*» — 1103, т. е. около половины всей библиотеки. Помимо них, упомянуты чешско-славянские рукописи (62) и латинские тексты со вставками на чешском языке (81).

Второй из этих документов представляет собой тоже каталог, составленный, правда, по другому принципу и снабженный, как это было принято в то время, краткими аннотациями на каждую из перечисленных книг. Рукопись носит заглавие: «*Litteraria Bohemico-Slavica*, либо Сообщения о различных книгах, чешских и словацких, в трех частях»<sup>18</sup>.

Книги распределены по следующим трем разделам: 1. Сообщения о чешских книгах, которые я не мог достать, хотя и знал о них: либо видел сам или читал, либо по письмам других лиц. 2. Сообщения о чешско-словацких книгах, некогда сделанные до стопоченным Голком-старшим и приведенные мною в порядок. 3. Сообщения о словацких книгах как моих собственных, так и известных мне из каких-либо источников, а также о тех, которые были напечатаны в Венгрии словаками».

План этот не был доведен Рибай до конца. Сохранилось 44 листа большого формата с планом работы и неполными первой и второй частями, третья отсутствует полностью.

Эти документы, а также многие другие, хранящиеся также в рукописном отделе Государственной библиотеки Сечени, позволяют судить о просветительской программе Рибай. Он активно стремится утвердить авторитет чешского языка и восстановить традиции чешско-словацкого сотрудничества на новой основе. Главное требование его программы — общность чешской и словацкой культурной жизни, основой которой он считает язык письменности.

Следует принять во внимание, что словацкая евангелическая интеллигенция пользовалась в качестве языка письменности и в богослужении чешским языком. Так, Рибай неоднократно называет в письмах чешский язык «нашим церковным и письменным языком» и отрицает, что его использование поведет к «чехизации» словаков. Его основная цель — распространение, культивирование чешского языка и литературы в Северной Венгрии.

Большую роль в его программе отводится просвещению в рамках чешско-словацкого культурного единства. Он требует создания национальных школ, в которых учили бы и чешскому языку (как книжному), и словацкому (разговорному). Большие надежды возлагаются им на создание общедоступной библиотеки, на организацию типографии, на издание журнала на родном (т. е. чешском) языке — глашатая просвещения.

В конце века в его просветительской программе намечаются конкретные меры практической деятельности — план основания научного общества, которое направляло бы духовную жизнь Словакии, стало бы средоточием словацкой культурной жизни в Венгрии.

Словацкую евангелическую интеллигенцию связывала с чешскими будителями не только конкретная историческая ситуация, в которой находились чехи и словаки в австрийской монархии, но и давние традиции языка, культуры, интересы будущего национального развития Словакии. Усилиями этой интеллигенции, в том числе Ю. Рибай, в Венгрии в конце XVIII — начале XIX в. получают распространение чешские издания, в частности книги, издаваемые «Чешской экспедицией» Крамериуса. Предместье Пешта — Цинкота становится в 80—90-е годы заслугами Рибай, одним из очагов популяризации и распространения чешской просветительской литературы.

Активная деятельность Ю. Рибай в области чешской и словацкой письменности, славянской филологии, его интенсивная организаторская деятельность позволяют высоко оценить роль этого словацкого просветителя в складывающейся словацкой национальной культуре, в процессе воспитания национального самосознания словацкого народа, в развитии чешско-словацко-венгерских культурных и научных связей.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> «Jozefa Dobrovského korrespondence. IV. Vzájemné listy Jozefa Dobrovského a Jiřího Ribaje z let 1783—1810». Praha, 1913.

<sup>2</sup> О них, кстати, не упоминается в последней венгерской публикации об архивных материалах по истории связей с соседними народами: *G. Kémény. A szomszéd népekkel való kapcsolatok történetéből*. Budapest, 1962.

<sup>3</sup> *Commercium litterarum cum viris eruditis regni Bohemiae et Moraviae ab Dobrovskiy, Durich, Anton, Dlabač, Zlobičkziy, Rieger, Ceroni J. J. 1785—1800. Sign. Quart. germ.* 568.

<sup>4</sup> Письма Тама, Стаха, Рулика — на чешском языке, остальные — на немецком.

<sup>5</sup> *J. Jakubec. Dopis Václava Stacha z r. 1785, a Václava Tháma z r. 1787 Jiřímu Ribajovi. «Listy filologické», 1924, č. 1, str. 286—292.*

<sup>6</sup> Quart. germ. 568, l. 144.

<sup>7</sup> «Historie Velikého sněmu kostnického od kněze Kašpara Royko řádného učitele všeobecné církevní historie při vyšších školách, prv v Grácu nyní v Praze. Z něm. přel. od Václava Petřyna». Díl I. Praha, 1785; Díl II. Praha, 1786.

<sup>8</sup> *Ribay Georgii. Responsum autographum ad lomitem Franciscum Széchényi craratum super peropto Catalogo Bibliothecae Regnularis. Sign. 9 Fol. Boh. Slav.*

<sup>9</sup> *Předávek k listu děkugjcýmu za darovaný sobě wytistený katalog biblioteky kraginsko Sečjňowské, Běh života Giřjgo Ribay obsahujcý, a spolu s listem Geho Oswycenosti Grafowi Frantiskowi Sečjnemu odeslaný. Sign. 198, Fol. Germ.*

<sup>10</sup> «Böhmisch-deutsch-lateinisches mit Beifügung der dem Slowaken und Mährer Eigenenausdrücke und Redensarten zunächst für Schulen bearbeitetes Wörterbuch», I. Praha, 1820; II. Bratislava, 1821.

<sup>11</sup> См.: *J. Novotný. V. M. Kramerius. Praha, 1956, str. 218.*

<sup>12</sup> Об этом, в частности, свидетельствует письмо Я. Фухса от 24. IV 1892, сохранившееся в семейном архиве священника евангелической церкви в Цинкоте Е. Блатницкого, любезно познакомившего меня летом 1971 г. с документами, относящимися к деятельности Ю. Рибай — священника этой церкви в 1785—1796 гг., за что я приношу ему глубокую благодарность.

Хочется отметить, что традиции, заложенные Рибай в свое время, сохраняются и поныне. Бывшее словацкое с. Цинкота сейчас — один из районов Будапешта. В настоящее время там живет немало словацких семей, сохранивших свой язык, национальные обычаи, костюмы. В евангелической церкви, стоящей в центре Цинкоты, мы видели сборники словацких духовных песен, исполняемых прихожанами после церковной службы. Сохранился дом, в котором жил Ю. Рибай со своей многочисленной семьей. В конце XIX в. он был лишь немного перестроен дедом нынешнего священника. Бережно хранятся документы, в которых рукой Рибая сделаны записи о свадьбах, похоронах и других событиях в Цинкоте того времени.

<sup>13</sup> См.: *J. Novotný*. Указ. соч., стр. 93.

<sup>14</sup> Projectum instituti seu societatis slavo-bohemicae inter Slavos in Hungaria. 1793, 13 Nevembris. Sign. 5 Fol. Boh. Slav. L. 51—53.

<sup>15</sup> Чешский историк Ч. Аморт, автор книги о чешско-русских культурных связях в конце XVIII в., считает, что Рибай пишет свой проект под влиянием статута гимназии и университета при Российской академии наук, автором которого был М. В. Ломоносов. Труды Ломоносова находились в библиотеке русских книг Рибая.

<sup>16</sup> Следует учитывать, что «словацкий» у всех просветителей-протестантов служил синонимом «славянского».

<sup>17</sup> Bibliotheca Slavo-Bohemia sive Catalogus Scriptorum, tam Typis publicaeditorum, quam manu exanitorum, res totius gentis Slavica, profertim vero Bohemica, exponentium qui conquifiti atque congesti sunt, magno labore et expensis Georgii Ribay, genuini Slavi Trenchinensiv Ecclesia Aug. Confess. Czinkotae in toto Testhiciuvi V.D.M. distinctis formis atque dialectis conscripti. Serie alphabeticá. Anno Domini 1800.

<sup>18</sup> Litteraria Bohemsco-Slavica, aneb Zprava o wšelijakých knihách českých a slowenských we třech dílech obsažená. Sign. 5 Fol. Boh. Slav., l.2—46.

---

## ПРИЛОЖЕНИЕ

*Иржи Рибай.* «Добавление к благодарственному письму за подаренный печатный каталог отечественной библиотеки, основанной Сечени, Жизнеописание Иржи Рибая содержащее и посланное вместе с письмом его сиятельству графу Франтишеку Сечени».

«Чтобы известно было, от кого это письмо, я хочу кратко рассказать, откуда я родом, какими путями шла моя жизнь до сего времени, какими научными трудами я занимался.

Появился я на свет 27 марта 1754 г. в Тренчинской области, неподалеку от городка Бановце, в том краинем из придорожных трактиров, что носят название *«На Пажити»*. Отец мой, Павел Рыба, родом из Кохановец, занимался портновским ремеслом и служил трактирщиком в вышеупомянутой корчме. Мать звали Барбора, родом она — из-под Штявницы. Моя первая школа была в северных Озоровцах, в имении господ Оттликовских, куда в детстве я ходил вместе со своими сестрами. Продолжал тудаходить я и позже, когда мои родители переселились в Озоровцах. В 1763 г., когда королевским указом была запрещена евангелическая церковь, а священник по имени Каспаридос вместе со школьным учителем Яном Павловичем вынуждены были уйти в изгнание, я был отдан в Пирровскую школу, где, кроме грамматики, учился также играть на органе и немного читать и писать по-немецки. Весной 1766 г. я попал в Штявницкую школу и, посидев на грамматике у пана Марчека, с 4 июня 1768 г. перешел на синтаксис к кантору Яну Северини и тут же принялся за немецкий как сле-

дует. Долго, однако, я здесь не задержался, лишь до 12 июля 1769 г., а уже с 12 сентября этого же года посещал Модранскую школу. Там под руководством п. Кюблера я закончил синтаксический класс и 29 января 1770 г. поступил в класс риторики и логики. Здесь у меня был превосходный друг Як. Богш, а после его ухода — Вальтер. Желая научиться венгерскому языку, отправился я 24 июля 1771 г. за Дунай и прибыл в Немеш Човы, а оттуда на рождество поступил домашним учителем к сыну пана Ант. Карчай в Эдхазеш-Радовце. Оттуда я ушел 16 января 1773 г. и 19 прибыл в Шопронь. В Шопрони я стал учеником превосходного преподавателя и благодушного наставника Йонатана Виториса. На следующий же год принял я был на первый курс к учителю Адаму Фаркашу. Просыпали меня отсюда школьным учителем в Немеш, но я не поехал и продолжал здесь учиться до 1776 г. 4 октября этого же года я переехал в королевский вольный город Модру как субкантор и одновременно стал органистом немецкой церкви. Накопив немного денег, я собрался в Германию учиться в университете. Итак, 30 июня 1779 г., оставив службу, я посетил некоторые города, расположенные по ту и эту сторону Дуная; через Вену, Регенсбург и Нюрнберг попал в Эрланген, а 7 октября записался в Академическую Матрицу. Здесь, помимо теологии, я стал заниматься и естественной историей. О животных нам рассказывал преподаватель И. Кристиан Дан. Шребер, древнееврейскому языку обучал Гуфнагель, священному писанию — С. Рава и Рохемиллер, анатомии — Игенфлам. Осенью 1780 г. я переехал в Иену. Здесь учителями моими были Айхгорн, Грисбах, Данов — по теологии и истории; Ульрих, Шайдемантель — по философии и каноническому праву, Гомбергер — по ботанике и Суковиус — по естественным наукам (искусству знания лесов и гор). Напало на меня желание посмотреть далекие края и славные города, библиотеки и мужей. И на пасхальные праздники 1781 г. с моим сердечным другом Сам. Вальтердорфером отправились мы пешком в путь и через Галле, Дессау, Потсдам добрали мы до Берлина, а через Виттенбург и Лейпциг опять возвратились в Иену. В Потсдаме мы видели самого короля бранденбургского, Фридриха Великого, а в Берлине среди иных — ученого еврея Мендельсона, Телера и нашего земляка Амбрози. Случилось мне здесь обнаружить чешскую церковь, основанную чешскими эмигрантами, а у них много старых чешских книг. Некоторые из них я приобрел. Из Иены в начале сентября 1782 г. ушел я через Лейпциг в Дрезден, где посетил чешского священника родом из Пуканце п. Пехмана, и у тамошних чехов также накупил немало чешских книг. Оттуда поспешил я в Прагу, где познакомился с теми, кто признавал себя протестантами. Я остановился у них, и они мне посоветовали и поручили собрать по соседним селам всех тех, кто признает себя протестантами, и приписать их к пражской церкви. Это помогло бы им призвать священника. При этом они выразили желание видеть своим пастырем меня. И хотя сначала я не был против, но вскоре счел нужным поспешить на Родину, не дав им определенного ответа. Находясь в Праге в течение 16 дней, я познакомился со многими учеными чехами, например, с библиотекарем Унгаром, с Крамериусом, с Пельцелем, с Дурихом и Хладеком и др. Нигде далее не задерживаясь, отправился я 1 ноября в Пировец через Вену, Прешвурк, Модру и Тринаву, а отсюда еще до рождества ушел в Штьянницу. Здесь жил благожелательно расположенный ко мне п. суперинт. Як. Чернянский, старанием которого я стал репетитором молодого пана Остролуцкого и часто имел возможность вести богослужение в Штьянницкой церкви на немецком и словацком языках. Первое мое назначение было священником в Костоланех и Южных Стрегарах, затем, в октябре месяце 1784 г., — в новой церкви Пршибовской в Турце. Но на другой же день, а именно 24 октября, письмом меня пригласила и Пражская церковь, поскольку она лишилась своего священника Матея Марковича, который получил отставку. Я, однако, никак не мог собраться с духом переехать в Прагу, хотя мои хорошие знакомые из тамошних католиков весьма этого и желали. Письмо Крамериуса, свидетельствующее об этом, заслуживает того, чтобы привести его здесь:

«Любезнейший господин Риба! Так как эта несправедливая судьба уже коснулась моего искреннего друга Марковича и ему уже нельзя более исполнять обязанности в Праге, Вас жаждет видеть пражское общество и уже большая группа чешских ученых. Таково положение вещей. Это общество сожалеет, что Прага Вас некогда отпустила, и считает, что в Вашем присутствии оно не было бы обременено этими неудобствами; общество считает также, что в своем современном состоянии оно испытывает несправедливую участь из-за удаления Марковича. Что же касается наших ученых чехов, то Вам хорошо известно, что Вы всеми любимы, весьма все сожалеют, что Вы, наша надежда, так долго от Праги будучи удален, не могли публично (в печати) выразить присущую Вам с рождения патриотическую любовь к родной речи. Приезжайте же без всяких опасений, приезжайте! Вы — радость и утешение будущей церкви, наша добрая надежда, чтобы все мы — Унгар, Добровский, Хладек, Пельцель, Гранский, Мразек, я и другие — могли приветствовать Вас братским поцелуем. Приветствует и ожидает Вас преданный и почитающий Вас Крамериус.

М. В. Крамериус.  
Прага, 16 октября 1783 г.»

Итак, 29 октября 1783 г. паном Яном Чернянским я был посвящен в сан священника, а 1 ноября начал служить в Пршибовской церкви. Через некоторое время с помощью суперинт. п. Чернянского, который не желал отпускать меня далеко от себя, перебрался я в Богородицкий приход около Штявницы, и тогда же здесь вступил в брак, взяв в жены девицу Альжбету Рупrecht из Модры. Через полтора года я стал священником в Цинкоте близ Пешта, где каждое четвертое воскресенье отправлял богослужение и на немецком языке. Здесь родилось у нас шестеро деток, двое из которых умерло. В 1791 г. я отказался от приглашения п. Болджаржа Понграца перейти в Питерский приход. Оставаясь здесь выше 10 лет, я познакомился со многими учеными мужами в Буде и Пеште и имел с ними деловые отношения, поскольку я занимался, кроме словацко-чешской, и венгерской литературой. Многих словаков я обратил к тому, чтобы письма писали на славянском языке. Для них я написал также «Проект литературного словацкого общества в Венгрии *in folio*». И хотя из этого ничего не вышло, однако во многом способствовало прославлению чешского языка и литературы среди словаков. В 1793 г. с научными целями я совершил путешествие в Прагу. Там и в Вене я приобрел много друзей, подобно тому, как ранее путем обширной переписки с венцами и пражанами. Поскольку я в различных письмах Добровскому описывал свойства словацкого и хорватского языков, он напечатал это в своем сочинении: «Literarischs Magazin von Böhmen und Mähren» (11 экз. Прага, 1786, 8, на стр. 161—169). Это привело к тому, что и Фортунат Дурих в своем предисловии к книге «Bibliotheca Slavica» (1795, на стр. 29) с похвалой обо мне упомянул.

На свои средства я отдал печатать следующие книги:

1. Катехизис о здоровье для простого народа и школьной молодежи, с венгерского языка мною переведенный, в Пеште 1795.8.

2. Правила поведения, либо вежливости, а также бережливости и сохранения здоровья посвященные. В Пеште, 1795.8. Была мною местами изменена и исправлена по сравнению с той, что вышла в Праге в 1794 г.

3. Орфография славяно-чешская, издана у Мих. Лаудерера, 1795.12.

4. В сочинениях: Аналы экклезиастики и схоластики священником Родванском и [неразб.], Крист. Энглом изданных мои суждения о некоторых книгах также находятся.

С августа 1797 г. до ноября 1799 г. я бывал, но не по делам службы, в Пеште и в Буде, куда после замужества переехала от нас наша дочка Каролина. И там через мои руки прошли следующие книги:

1. М. Панкел. Краткая экономическая история. Буда 1797.8. Я исправлял находящийся в конце ее словацкий словарь, но не полностью, а лишь

в той степени, в какой мне было дозволено, и при печатании соответствующим образом его корректировал.

2. Краткая естественная история, сочинение и издание Бартоломеуса, еванг. священника Охтинского 1798 в Буде. 8. Правописание, произношение, да и многие другие вещи по просьбе самого автора еще в рукописи были мною в этой книге исправлены, а при печатании все откорректировано.

Ранее еще было мне дано для исправления сочинение: *Живой пример грешника язычника. С лат. яз. перевел Ант. Йозеф Гашко в местечке Балашу*, но издатель не был удовлетворен моей работой, и она была издана с большим количеством ошибок.

Cithara Sanctarum. Песни духовные Иржика Тршановского в Пеште, 1791, у Матея Траттера.

Они также были мною откорректированы».

### III

---

В. МАТУЛА, И. В. ЧУРКИНА

АРХИВ М. Ф. РАЕВСКОГО  
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ СВЯЗЕЙ  
МЕЖДУ СЛАВИСТАМИ РОССИИ И АВСТРИИ  
(40—70-е ГОДЫ XIX В.)

В связи с разработкой истории межнациональных культурных связей славянских народов большое значение приобретает вопрос об источниках исследований. Среди них наряду с личными фондами отдельных славистов большую ценность представляют и другие, до сих пор не известные архивные материалы, дающие возможность более широкого, комплексного освещения данного вопроса. Одним из таких источников является архив М. Ф. Раевского.

Михаил Федорович Раевский (1811—1884) был священником православной церкви при русском посольстве в Вене более сорока лет (1842—1884). Все это время он был посредником в сношениях между русскими научными и общественными деятелями и национальными деятелями славянских народов Австрии. Раевский пользовался среди славян большой популярностью: к нему обращались с разнообразными просьбами, касающимися науки, церкви, литературы, эмиграции и пр., самые разные люди: и такие признанные славянские вожди, как Палацкий, Добрянский, Штур, и такие известные ученые, как Ф. Миклошич, В. Караджич, И. Кукулевич, и полуграмотные священники из захудальных православных и униатских приходов Боснии и Буковины, и гимназисты из бедных семей, желавшие получить вспомоществование, и многие, многие другие.

Популярность Раевского в Австрии объяснялась рядом обстоятельств. Прежде всего были известны его тесные связи с влиятельными кругами русского общества: с придворными (вел. кн. Елена Павловна, гр. А. Д. Блудова), правительственныеими (кн. А. М. Горчаков, гр. Д. Н. Блудов, Д. А. и Н. А. Милютины), дипломатическими (гр. Игнатьев, послы в Вене: В. П. Балабин, Е. П. Новиков, директора Азиатского департамента министерства иностранных дел Е. П. Ковалевский и П. Н. Стремо-

ухов и т. д.), с синодом. Кроме того, уже с 1860 года Раевский являлся главным представителем славянских комитетов в Австрии и личным другом таких видных славянофилов, как И. С. Аксаков, А. Ф. Гильфердинг, В. И. Ламанский и др.

Раевский сыграл определенную роль в развитии общественных, культурных и научных связей между славянами Австрии и Россией как практический деятель. Роль М. Ф. Раевского и его действительное место и значение в этой области до сих пор недостаточно изучены и оценены. Об его многосторонней деятельности до сих пор писалось больше на основании отдельных, вырванных из общего контекста этой деятельности фактов, чем на основании критического анализа всего доступного материала.

Современники Раевского оценивают его по-разному. Одни рассматривают его «славянскую миссию» с точки зрения «русского панславизма» и «панруссизма» и его (настоящих, но чаще только фиктивных) политических целей и акций, направленных на их достижение. Совершенно иначе характеризуют Раевского его русские единомышленники. Наконец, третий аспект оценки его деятельности дают нам свидетельства многочисленных представителей интеллигенции славянских народов австрийской монархии. Для первых Раевский являлся непревзойденным мастером панславистской агитации или даже просто агентом русского правительства. Для вторых он был выразителем мыслей и чувств русского общества, выдающимся русско-славянским деятелем, который представлял Россию перед славянскими народами лучше, чем ее официальные дипломаты. Наконец, для третьих — и самых многочисленных — своих славянских друзей или просто корреспондентов Раевский был прежде всего представителем могущественного братского славянского народа, на помощь которого они надеялись в самые трудные минуты<sup>1</sup>.

Общая оценка личности М. Ф. Раевского и его роли в истории русско-славянских отношений 40—80 годов XIX в. должна быть результатом анализа его деятельности не только с точки зрения его личных мотивов и целей и не только с точки зрения интересов и политических стремлений тех кругов русского общества, с которыми он был связан и которым служил. При этой оценке необходимо исходить также из интересов тех общественных сил отдельных славянских народов и их представителей, с которыми Раевский поддерживал тесные связи, на которые влиял и в то же время под влиянием которых он находился. Непременно нужно учитывать и объективное значение результатов его деятельности, положительных и отрицательных, в общественно-политическом развитии отдельных славянских народов. Образ М. Ф. Раевского как панславистского агитатора и злого гения наивных славянских политических деятелей может быть приемлемым для некоторых поборников «русского панславизма», проводивших истасканные «исторические параллели» в духе идеологии антикоммунизма и антисоветизма, но вряд ли может удов-

летворить серьезного исследователя. Наряду с этим и сусальный образ всепонимающего благодетеля славян, альтруистски заботящегося о них, не соответствует действительности, ибо Раевский был проводником политики правящих кругов Российской монархии, связанных с царским правительством, русской православной церковью, славянофильскими деятелями.

В данной статье мы не беремся исчерпывающе оценить сложную и противоречивую деятельность Раевского во всех ее аспектах, но хотим обратить внимание только на одну из сторон этой деятельности, а именно на его посредничество в сношениях между русскими и славянскими учеными. Основным источником по данной теме является архив М. Ф. Раевского. В нем большой интерес представляют письма, адресованные ему. В результате систематического обследования советских архивов и рукописных фондов<sup>2</sup> нам удалось найти внушительную коллекцию, насчитывающую до 7500 писем более чем от 1750 авторов. В ней представлены и письма от русских ученых и политических деятелей, и письма самых разных представителей почти всех остальных славянских народов. Среди русских корреспондентов Раевского наряду с влиятельными деятелями политической, церковной и культурной жизни широко представлены видные славянофилы, ученые-слависты и деятели славянских благотворительных комитетов. Славянских (нерусских) корреспондентов представляют вожди национальных славянских движений, политические, культурные и общественные деятели, ученые, в той или иной мере причастные к идее славянско-русского сотрудничества, деятели православной церкви, а также рядовые представители интеллигенции, студенты, гимназисты и пр. Не останавливаясь здесь подробно на характеристике этого важного источника, отметим только, что обширный том избранных писем славянских деятелей М. Ф. Раевскому, который подготавливается нами к изданию в Институте славяноведения и балканстики АН СССР, даст, несомненно, более полное представление о его характере и значении.

Общественно-политические взгляды Раевского отличались консерватизмом. На протяжении всей его жизни для него непреложными были два принципа: верность русскому престолу и православной церкви. Их интересы были для него всегда на первом плане. В 40-х годах Раевский был наиболее близок с консервативными деятелями славян, в частности с митрополитом, а затем патриархом И. Раячичем. После революции 1848 г. оказалось, что консервативные круги славянских народов, в том числе и высшее православное духовенство, являясь верноподданными Габсбургов, начали с опаской относиться к укреплению культурных и общественных связей с Россией. Напротив, славянские либералы, недовольные тем, что Габсбурги не предоставили более широких национальных прав славянским народам, в известной степени стали фрондировать против австрийского правительства.

и возлагать все большие надежды сначала на моральную, а позднее и материальную поддержку их национальных стремлений со стороны России. Они пытались войти в контакт с представителями России, для чего в широкой мере использовали М. Ф. Раевского, который в свою очередь и сам стремился понять основные проблемы национального движения австрийских славян. Очень близкие отношения у Раевского в это время устанавливаются с Л. Штуром, А. И. Добрянским. Их взгляды на социальную сущность славянских национальных движений, на ряд национальных проблем и способов их решения оказали на него значительное влияние. Уже в начале 60-х годов Раевский был убежден, что у австрийских славян «аристократии нет, богатых людей нет, одни поселяне», и считал, что развитию славянских национальных движений способствует то, что хорошо и выгодно для «поселян».

Формирование такой точки зрения у Раевского произошло и благодаря тесным связям его со славянофилами, которые установились и стали укрепляться именно в 50-е годы XIX в. Практически с конца 50-х годов Раевский был близок по своим взглядам на славянское движение в Австрии к славянофилам аксаковского толка.

И все же во взглядах Раевского, даже при известной их либерализации в 50—60-е годы, имелись консервативные моменты. Однако он умел находить общий язык с либеральными и даже с демократически настроенными славянскими деятелями. Этому способствовали некоторые его личные качества: доброжелательность по отношению к людям, обязательность при исполнении их просьб независимо от ранга просящего — будь то князь или бедный студент; а главное — неподдельный интерес и сочувствие к национальному движению славян, к их культуре. Помогло и то, что Раевский был очень способен к языкам. Ему писали на всех славянских, французском, немецком, шведском языках, на латыни. По-немецки он писал сочинения на религиозные темы, по-сербски нередко читал проповеди в венской русской церкви в дни праздников сербских святых.

Во второй половине XIX в. переписка и книгообмен между австрийской монархией и Россией были затруднены. Особенно сложно было писать в Россию славянским деятелям, которым, помимо почтовых препон, угрожала австрийская цензура, склонная видеть в любых связях славян с Россией проявление антиавстрийских, «панславистских» настроений и стремлений. В этих условиях наиболее удобной формой сношений между славянскими учеными в Австрии и русскими славистами являлась дипломатическая почта русской миссии в Вене, которая доставлялась довольно быстро и минуя рогатки австрийской цензуры. Поскольку посылка писем и книг непосредственно в адрес русского посольства была опасна вследствие позиции австрийских властей, они посыпались славистами на имя Раевского, который не был

официально дипломатом, но вместе с тем был близок к посольству и охотно выполнял такого рода поручения.

Уже само количество писем, написанных Раевскому славистами, как русскими, так и славянскими, говорит об очень активной взаимной переписке. Так, Н. А. Попов за 1865—1881 гг. послал Раевскому 116 писем, О. М. Бодянский за 1854—1870 гг.—40 писем, А. Ф. Гильфердинг за 1855—1872 гг.—86 писем, В. И. Ламанский за 1860—1879 гг.—52 письма. Кроме этих русских славистов, в переписке с Раевским состояли И. И. Срезневский, М. П. Погодин, А. С. Будилович, В. Макушев, Н. Берг, И. А. Бодуэн де Куртене, В. И. Григорович. Из славянских ученых следует отметить следующих корреспондентов Раевского: В. Ганка (171 письмо), А. Патера (15 писем), К. Эрбен (43 письма), И. Коларж (11 писем), Л. Штур (14 писем), В. Караджич (13 писем), В. Богицич (15 писем), Ф. Рачки (10 писем), И. Кукулевич (42 письма), Я. Ф. Головацкий (36 писем), а кроме того Ф. Миклошич, В. Ягич, А. Берлич, М. Маяр, О. Ранк, О. Утешенович, И. Ткалац и мн. др.

Уже в 40-е годы Раевский был в курсе событий научного мира в Вене. 16/28 февраля 1845 г. он послал российскому министру просвещения каталог книг библиотеки только что умершего ученого-слависта Е. Копитара. Правда, Российская Академия наук отказалась купить ее, так как подавляющее большинство находившихся в библиотеке книг у нее уже имелось. Книги Копитара приобрела библиотека Люблянского лицея. «Дань, достойная достойному человеку»,— писал по этому поводу Раевский А. С. Норову 30 августа/11 сентября 1845 г. В это же время Раевский начал свою деятельность посредника при обмене научной литературой между русскими и славянскими учеными. Эту деятельность Раевский ставил в центр своего внимания, ибо считал главным средством «действовать на славян и направлять умы и сердца их по возможности в пользу России» литературные сношения. Под ними он подразумевал прежде всего книгообмен. Таким образом, в своем посредничестве между славистами России и Австрии Раевский видел возможность быть полезным России, той самодержавной царской России, горячим патриотом которой он являлся.

Постоянные связи Раевский поддерживал с В. Ганкой уже с 1843 г. Через Раевского Ганка получал книги от русских ученых М. П. Погодина, И. И. Срезневского, О. М. Бодянского не только для себя и Чешского музея, но и для Шафарика, Палацкого, Ригера и даже видного деятеля возрождения лужицких сербов Я. Смолера<sup>3</sup>. Через Раевского же посыпали книги чешским ученым Петр II Негош, владыка Черногории<sup>4</sup>, и болгары из Одессы<sup>5</sup>. Через Раевского шли книги Вуку Караджичу и Ф. Миклошичу — двум крупнейшим славистам, жившим в Вене. Нередко к Раевскому обращались как русские, так и славянские ученые с просьбой приобрести для них книги в России или Австрии.

Так, в письме от 6 сентября 1855 г. В. Караджич просил его достать для него новую карту Болгарии<sup>6</sup>. Ценную помощь оказал М. Ф. Раевский Л. Штуру, доставая ему русскую научную литературу, необходимую для работы по всеобщей истории славянства, над которой Штур усиленно трудился в последние годы своей жизни, а также для задуманного второго, переработанного и расширенного, издания его труда «О народных повестях и песнях славянских племен»<sup>7</sup>.

Позднее Раевский стал выполнять ту же посредническую функцию между русскими и славянскими научными учреждениями. Так, с помощью Раевского «Общество истории и древностей южнославянских», во главе которого стоял И. Кукулевич, установило книгообмен с рядом русских научных учреждений, в том числе и с Российской Академией наук. «Я Вас не мог дождаться,— писал Кукулевич Раевскому 28 декабря 1859 г. по случаю его возвращения из России,— ибо, когда Вас нет в Вене, прекращаются все мои живые литературные связи с Россией»<sup>8</sup>. В конце 60—начале 70-х годов Раевский по указанию славянских комитетов много сделал для налаживания постоянных связей между славянскими матицами и русскими учеными обществами. Матица словенская избрала его своим первым почетным членом<sup>9</sup> за то, что он «склонил русские литературные общества [подарить] ей много драгоценных русских и других славянских книг». Особенно много книг через Раевского шло матицам словацкой и галицко-русской. Словакие национальные деятели высоко ценили помощь М. Ф. Раевского, который пользовался у них уже в 50-е годы большой популярностью и уважением. Когда в 1863 г. словаки основали свою матицу, Раевский был избран одним из первых почетных ее членов-учредителей. Вице-председатель словацкой матицы Карол Кузманы на протяжении 50-х и 60-х годов (до своей смерти в 1866 г.) являлся одним из близких друзей и сотрудников Раевского. Кроме матиц, большим вниманием славянофилов пользовались Чешский музей и Югославянская академия. Президент последней Ф. Рачки писал в феврале 1876 г. Штроссмайеру: «Русские проявляют живой интерес к нашему учреждению»<sup>10</sup>.

Те книги и газеты, которые было невозможно купить, Раевский нередко одолживал на время или же просто дарил (как, например, Штуру) славянским ученым из своей обширной личной библиотеки. Он регулярно посыпал «С.-Петербургские ведомости» Ганке с тем, чтобы тот возвращал их ему обратно «для сообщения и другим славянам»<sup>11</sup>. В октябре 1869 г. В. Богишич просил у Раевского на время ряд книг, в том числе А. Ф. Гильфердинга — «О полабских и балтийских славянах» и «Письма об истории сербов и болгар», В. Макушева «Сведения иностранцев о быте древних славян» и др.<sup>12</sup> В 1867 г. из библиотеки Раевского М. Маяр получил книгу И. П. Сахарова «Сказания русского народа», которую он держал у себя более года<sup>13</sup>.

Через Раевского славянским ученым и научным обществам шло большое количество русских книг, главным образом русской классической литературы, научных сочинений, учебников. Это давало возможность славянским ученым не только знакомиться с новейшими достижениями русской литературы и науки, но и, опираясь на русские научные понятия, создавать свою собственную научную терминологию.

Ценные услуги Раевский оказывал ряду русских славистов, приобретая для них в Австрии необходимую литературу и получая от славянских ученых конкретные справки и данные. Богатый материал об этой стороне деятельности Раевского также содержится в его архиве. Его посредничеством широко пользовались многие славянские ученые, желавшие послать надежным и быстрым путем свои новые произведения русским коллегам или же (что являлось особенно деликатным делом) преподнести их официальным представителям правительственные кругов России. За свои научные труды ряд славянских ученых (В. Караджич, В. Ганка, Ф. Миклошич, Ф. Палацкий и др.) получали от русского правительства различные вознаграждения — пенсии, единовременные пособия, ордена, ценные подарки, причем часто сами эти вознаграждения определялись на основе предложений и советов Раевского.

Раевский помогал русским славянофилам популяризировать славянскую проблематику в России. Когда славянофилы в 50—60-х годах стали издавать периодические издания («Русская беседа», «Парус», «День» и др.), они обратились к Раевскому с просьбой о посредничестве между этими изданиями и славянами в Австрии. «Нельзя ли Вам и самим извещать иногда о том, что пишется и делается у славян, и заставить кое-кого сообщать сведения и статьи обо всем, что касается литературы и народного быта разных славянских племен», — писал Раевскому Гильфердинг<sup>14</sup>. Раевский принял это предложение. Уже в апреле 1856 г. А. Кошелев отмечал в письме Раевскому: «А. Ф. Гильфердинг сказал нам, что Вы принимаете на себя труд быть посредником между издаваемым нами журналом „Русская беседа“ и известными славянскими учеными»<sup>15</sup>.

Каковы же были требования, предъявляемые славянофильскими журналами к корреспонденциям из славянских земель? В этом отношении очень интересно письмо Раевского Ганке, написанное, по-видимому, в конце 1858 г.: «Убедите, пожалуйста, Ваших гг. литераторов, — писал он, — вникнуть в программу „Беседы“ и „Паруса“ и присыпать мне корреспонденции чаще: большие — для „Беседы“, малые — для „Паруса“... Вот бы о чём могли написать Ваши литераторы:

1. Обозрение славянской журналистики в 1858 г.
2. Обозрение слав. литературы в 1858 г.
3. Описание народного быта в Чехии. Не осталось ли гуситских обычаяев и верований.

4. О внутреннем устройстве сел и деревень в Чехии.
5. Есть ли общинное управление? Какое?
6. О состоянии сельского хозяйства. Как стоит земледелие? Как обрабатывается земля?
7. Как переходит наследство. Вообще.
8. Пишите о жизни народа, его обычаях, преданиях, верованиях.
9. О народных юридических обычаях и воззрениях, народный суд, наследство и пр.
10. Об отношениях славян к земле.

Если появится какой замечательный роман или повесть славянские — укажите мне. Обратите на все это внимание, голубчик Вячеслав Вячеславович, и заставьте Ваших молодых литераторов работать, писать и присыпать мне корреспонденции»<sup>16</sup>.

Как можно видеть, круг вопросов, интересовавших славяно-фильские издания, был широк, упор делался на этнографию. При этом особое внимание обращалось на такие моменты, которые так или иначе могли бы подкрепить типично славянофильские теории: на остатки общины, гуситских верований (славянофилы хотели видеть в гусизме элементы православия) и пр. Письма такого содержания получили и другие лица. В частности, профессор гимназии в Риеке Винко Пацел в начале лета 1858 г. сообщал Раевскому о том, что два его друга согласились писать в «Русскую беседу»<sup>17</sup>.

Старания Раевского не пропали даром. При его посредничестве в «Русской беседе» были напечатаны статьи Винко Клюна о словенцах<sup>18</sup>. Редактор «Русской беседы» высоко оценил их. В письме к Раевскому от 20 декабря 1856 г. он отмечал: «Статьи др. Клюна чрезвычайно интересны... др. Клюн славно пишет — и живо, и глубокомысленно»<sup>19</sup>. Через православного священника в Ироме, близ Буды (Венгрия), В. Войтковского Раевский получил в мае-июне 1859 г. статьи для «Русской беседы» видного чешского политического деятеля и публициста Якуба Малого<sup>20</sup>. Позднее через Раевского в «День» посыпал статьи о галичанах Я. Головацкий. Из словаков для «Дня» обещали писать Я. Францисци, Я. Гончар и др.<sup>21</sup>.

Раевский собирал корреспонденции не только для славяно-фильских изданий. Через Войтковского и Раевского В. И. Ламанскому была передана обширная статья словацкого политического деятеля Ш. М. Дакснера о политическом положении и национальных стремлениях словаков. Эта работа, опубликованная без указания автора под названием «Словаки и словенское околье в Угоршине» в «Журнале министерства народного просвещения» (август 1868 г., стр. 555—745), была встречена с большим интересом и долгое время являлась важным источником сведений об угнетенном словацком народе и его борьбе за национальные права, из которого черпали многие русские ученые-слависты, отнюдь не только славянофильского толка (например А. Н. Пыпин). Редактор ЖМНП воспользовался услугами М. Ф. Раевского при

передаче гонорара Дакснеру, так же как и Любену Каравелову, за его статью «Южнославянская библиография за 1867 год», напечатанную в июньской книге 1868 г. того же журнала<sup>22</sup>.

Статьи Клуна, Головацкого, Дакснера и других носили научно-популярный характер и имели положительное значение в деле ознакомления русской общественности с культурой, экономикой, этнографией, политическим положением словенцев, словаков и галичан.

Раевский заботился о популяризации русской славистики в Австрии. Он рассыпал славянским ученым произведения русских славистов, побуждая последних рецензировать русские книги в австрийских журналах. «Благодарю Вас за „Вестник“, за сочинение Майкова; последнее произвело здесь изумительное впечатление,— сообщал он Бодянскому 25 сентября 1857 г.— Вук наотрез сказал, что здешним ученым и не придется написать такое сочинение, и хочет послать Майкову свои книги в знак признательности. Братцы! До которых пор Вы не будете посыпать разбора подобных сочинений и летописи Вашей деятельности... За незнание, как делать, вечно немец останется ученым, а русский невежею... Да и славян-то вы хоть бы заинтересовали, а то дожидаетесь, пока они будут читать по-русски! Читают по-русски из них одни только избранные ученые»<sup>23</sup>.

Раевский помогал русским славистам, приезжавшим с научными целями в Австрию, ориентироваться в стране, давал им рекомендации к своим многочисленным славянским друзьям. Архив Раевского дает интересный материал о пребывании русских славистов в славянских землях. Уже В. И. Григоровичу, одному из первых русских ученых-славистов, побывавшему в Австрии в 1846 г., Раевский пытался помочь, чем мог. Григорович еще только прибыл в Вену, а оттуда собирался отправиться к южным славянам, а лишь потом, через Словакию,— в Прагу, а Раевский уже сообщал Ганке: «Теперь гостит у нас г. Григорович, прибывший из Константинополя, Святой Горы и турецко-европейских владений. Много, очень много собрал интересного и поделится своею находкою с Вами, только еще не скоро... Наперед Вам его рекомендую»<sup>24</sup>.

В 50-е годы А. Ф. Гильфердинг, прежде чем приехать в Вену для занятий славянской филологией и историей, послал Раевскому письмо, в котором прямо указывал: «Для успеха в них [т. е. занятиях].— М. и Ч.] главная моя надежда на Вашу доброту и Ваше благосклонное содействие. От Вас, высокопреподобный отец, смею ожидать милостивых советов и указаний так же, как и знакомства с главными деятелями славянской науки»<sup>25</sup>. Помогал Раевский по просьбе Гильфердинга и И. А. Бодуэн де Куртене, который изучал в конце 60 — начале 70-х годов словенские говоры: посыпал ему книги, давал рекомендации к словенским национальным деятелям. Пользовался советами Раевского В. И. Ламанский, дважды за 60-е годы посетивший австрийскую монар-

хию и усиленно занимавшийся в библиотеках Праги, Любляны, Загреба. В Вене в доме М. Ф. Раевского, где на протяжении многих лет регулярно встречались видные представители политической и культурной жизни славян и где часто гостили русские ученые-путешественники, горячо обсуждались актуальные вопросы внутреннего положения России, развития национального движения подвластных Австрии славянских народов, перспективы славянского единения и сотрудничества. Именно здесь русские ученые впервые знакомились не только со многими славянскими политическими и культурными деятелями, но и начинали понимать большую сложность славянского вопроса и его значение. Не случайно один из представителей С.-Петербургского славянского комитета, рекомендая Раевскому в 1879 г. кандидата историко-филологических наук В. В. Каченовского, отмечал: «Вам известны, глубокочтимый Михаил Федорович, все углы и закоулки этого мира, Вы знаете всех бывших и настоящих передовых друзей и врагов славянства, Ваши указания, советы, рекомендации, связи откроют г. Каченовскому доступ всюду. Помогите ему словами и делами, как помогали всем нашим труженикам-ученым, посетившим Австрию и славянские земли»<sup>26</sup>.

Через Раевского русские университеты приглашали славянских ученых на свои кафедры. Обычно он непосредственно вел переговоры с теми учеными, которых руководство университетов желало видеть в качестве профессоров, содействовал оформлению их документов. Раевский помог переезду в Россию таких крупных ученых, как В. Богишич, В. Ягич, И. Первольф. «Позвольте мне искренно и от всей души поблагодарить Вас от лица Новороссийского университета,— писал 12 ноября 1869 г. ректор университета в Одессе Ф. Леонтович,— за Ваши заботы, ничем не заслуженные нами, по наполнению нашего университета достойными профессорами. Гг. Богишич и Войтковский, как мне известно, согласились перейти к нам благодаря Вашим советам»<sup>27</sup>.

Много нового и интересного материала дает архив М. Ф. Раевского по вопросу о Московской этнографической выставке и Славянском съезде 1867 г. В их подготовке Раевский сыграл важную роль как пропагандист самой идеи выставки и съезда среди австрийских славян и как очень деятельный организатор сбора славянского этнографического и фольклорного материала. Раевский вел по этим вопросам обширную переписку со многими известными деятелями славянской культуры и науки, с политическими вождями национальных движений славянских народов. В дошедшем до нас эпистолярном материале, сохранившем интересные впечатления и наблюдения некоторых участников «славянского паломничества» о встречах в России, хорошо отражена вся эта подготовительная работа, большие усилия Раевского и славянских комитетов, направленные на то, чтобы из всех славянских земель в Москву поехали как можно более многочисленные и представительные делегации. Например, известный деятель ста-

рочешской партии др. Ф. Браунер после своего возвращения писал Раевскому: «Я увидел и узнал целый новый мир, до тех пор не виданный и даже не ожидаемый. Хотя гостеприимство, оказанное нам в России, превзошло все наши ожидания и представления, однако оно все же являлось второстепенным делом по сравнению с тем, что мы нашли более глубоко в публичной и общественной жизни наших братьев в святой Руси... Везде, где я хоть немного проник глубже в жизнь простого народа, например в радиусе приблизительно одного дня езды от Москвы, я повсюду нашел большое, иной раз прямо поразительное сходство с жизнью чешского народа. Такие признаки были для меня как глас неба, подтверждающий родство племен славянских, вопреки всем расстояниям, всем отличиям климата и исторического развития»<sup>28</sup>.

Говоря об архиве М. Ф. Раевского как источнике для исследований в области славистики, необходимо хотя бы коротко отметить еще один существенный момент. В материалах архива Раевского, и прежде всего в его переписке, исследователь может найти ключ к решению многих, до сих пор не выясненных или спорных вопросов, касающихся, например, авторства ряда анонимных работ, конкретной исторической обстановки или субъективных побуждений, приведших видных представителей славистики к написанию тех или иных работ, к тем или иным поступкам и т. п. Приведем, и опять только выборочно, ради иллюстрации, несколько примеров. Найденные в архиве М. Ф. Раевского письма известного словацкого культурно-политического деятеля и ученого-слависта Людовита Штура не только подтвердили до тех пор лишь гипотетически предполагаемые близкие дружеские отношения между ним и Раевским, но и пролили новый свет на процесс формирования взглядов Штура на Россию и ее роль в славянском мире. В частности, в одном из этих писем был найден ответ на вопрос о генезисе работы Л. Штура «Славянство и мир будущего». Она возникла на основе собранного им после революции 1848—1849 гг. материала для задуманной всеобщей истории славянства и была направлена летом 1855 г. как своего рода памятная записка великому князю Константину Николаевичу, считавшемуся сторонником новой концепции внутренней и внешней политики России. Целью записи было побуждение русских правительственные кругов к более активной политике в пользу угнетенных славянских народов. Новые данные помогают нам по-новому понять и оценить общий характер и отдельные стороны политического трактата Л. Штура, ставшего впоследствии предметом многих догадок, споров и односторонних положительных или отрицательных оценок<sup>29</sup>.

Или другой пример. Всем исследователям жизни и творчества Вука Стефановича Караджича и русско-сербских отношений 50—60-х годов XIX в. хорошо знакома история с резкой критикой великого сербского писателя и ученого на страницах «С.-Петербургских ведомостей» в декабре 1859 г. Автором этой зла-

получной корреспонденции, полной нападок на Вука за его якобы коварное стремление «отделить сербов от славян» и всячески призывающей его научные заслуги, считается Яков Живанович. Однако свидетельство Раевского против авторства Живановича, высказанное им в одном из его писем директору Азиатского департамента министерства иностранных дел П. Н. Стремоухову, заставило нас усомниться в правильности этой гипотезы. А через некоторое время в письмах К. Н. Алексича Раевскому мы нашли неопровержимое доказательство того, что автором упомянутой корреспонденции был не Я. Живанович, а К. Н. Алексич. Кроме того, эти письма помогли установить авторство того же К. Н. Алексича большого количества (свыше ста) статей и корреспонденций в «С.-Петербургских ведомостях» (1854—1860 гг., в рубриках «Из славянских земель» и «Из Венгрии»), а также более крупных статей в других русских периодических изданиях того времени.

Из писем известного хорватского публициста и политического деятеля И. Ткалаца, очень интенсивно занимавшегося в 50-е годы XIX в. идеей и перспективами славянского единения, можно уз-нать много нового и интересного, например, об обстоятельствах издания и основной идеи его известной работы (тоже своего рода памятной записи) «Сербский народ и его значение для восточного вопроса и европейской цивилизации» (Лейпциг, 1853), об его намерении переселиться уже тогда в Россию, а также о целом ряде его статей в загребской газете «*Südslawische Zeitung*» (1849—1851), авторство которых до сих пор не было установлено.

Подобных примеров можно было бы привести очень много.

Разносторонняя деятельность Раевского как посредника в спо-шениях между русскими славистами и славянскими учеными нашла широкое отражение в материалах его архива, о которых настоящая статья дает лишь частичное представление.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Об этом более подробно см.: V. Matula. M. F. Rajevskij a slovensko-ruské vztahy 40—80 rokov 19. stor. «Ceskoslovenské přednášky pro VII mezinárodní sjezd slavistů». Praha, 1972, sv. 2, s. 375—385.

<sup>2</sup> Эта работа была начата в 1957 г. В. Матулой и с 1966 г. велась совместно с И. В. Чуркиной.

<sup>3</sup> ОПИ ГИМ, ф. 347, ІІІ 264/17, л. 175.

<sup>4</sup> Literární archiv Národního muzea. Praha (далее — NM), Раевский — Ганке, л. 21.

<sup>5</sup> Там же, л. 48.

<sup>6</sup> ОПИ ГИМ, ф. 347, ІІІ. 570—634.

<sup>7</sup> Там же, а также: V. Matula. Ludovít Stúr a M. F. Rajevskij. «Slovenská literatúra», XIII, 1966, č. 4, str. 361—384.

<sup>8</sup> ОПИ ГИМ, ф. 347, ІІІ. 570—634.

<sup>9</sup> И. В. Чуркина. Матица словенская и русские славянофилы. «Славяне и Россия». М., 1972, стр. 118.

<sup>10</sup> ОПИ ГИМ, ф. 347.

- <sup>11</sup> Literární archiv NM Раевский — Ганке, л. 28.
- <sup>12</sup> ОПИ ГИМ, ф. 347, Щ. 148/68, л. 143.
- <sup>13</sup> Там же, Щ. 264/21, лл. 297, 301, 303, 305.
- <sup>14</sup> Там же, Щ. 683/3.
- <sup>15</sup> Там же, Щ. 570—634.
- <sup>16</sup> Письмо публикуется впервые (Literární archiv NM. Раевский — Ганке, лл. 50, 51).
- <sup>17</sup> ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, отдел рукописей, ф. 680, В. Пацел, л. 150.
- <sup>18</sup> «Русская беседа», 1857, № 3, 1859, № 1—2.
- <sup>19</sup> ОПИ ГИМ, ф. 347, Щ. 264, пис. 3.
- <sup>20</sup> Там же, Щ. 264/16, лл. 152—157.
- <sup>21</sup> Там же, л. 198.
- <sup>22</sup> Там же, Щ. 264/18, лл. 14—15, 22—25.
- <sup>23</sup> Там же, Щ. 682/1, лл. 27, 28.
- <sup>24</sup> Literární archiv NM. Раевский — Ганке, л. 49.
- <sup>25</sup> ОПИ ГИМ, ф. 347, Щ. 683/3, пис. 5/17, VI 1855.
- <sup>26</sup> Там же, Щ. 570—634.
- <sup>27</sup> Там же.
- <sup>28</sup> Там же, Щ. 530/4, пис. 4. VIII 1867.
- <sup>29</sup> Более подробно об этом см.: *B. Matuľa*. Людевит Штур и Россия. В сб.: «Ľudovít Stúr und die slawische Wechselseitigkeit». Bratislava, 1969, стр. 361—393.

ЧЕПСКИЕ СВЯЗИ И. И. СРЕЗНЕВСКОГО  
В 60-е ГОДЫ XIX В.

Чепские связи известного русского слависта, профессора С.-Петербургского университета, академика И. И. Срезневского до сих пор почти не изучены ни в нашей, ни в чехословацкой литературе. А связи эти были весьма обширны и многогранны. Это и личные контакты-встречи с чешскими учеными, общественными деятелями, переписка с ними, регулярный обмен новинками научной литературы, популяризация исследований чепских ученых и содействие в признании их заслуг русскими научными учреждениями и обществами, помочь в устройстве в России чешских эмигрантов, наконец, обращение к чепской тематике в научных трудах и лекционных курсах в университете самого И. И. Срезневского, обмен мнениями и научные дискуссии со своими чешскими коллегами по различным проблемам славистики. Двум последним из указанных выше вопросов мы предполагаем в будущем посвятить специальную работу. В настоящей статье мы остановимся подробно только на некоторых аспектах многосторонних связей И. И. Срезневского с чехами.

60-е годы также выделены нами не случайно. Подъем общественной жизни в России и оживление национального движения в Чешских землях повлекли за собой и активизацию русско-чешских научных связей, а это в свою очередь отразилось и на интенсивности чешских связей И. И. Срезневского именно в 60-е годы XIX в.

\*

Прежде всего в этот период возобновляются личные контакты И. И. Срезневского с чешскими учеными и общественными деятелями. Летом 1860 г. впервые<sup>1</sup> после своего известного путешествия в славянские земли в 1839—1842 гг. И. И. Срезневский выезжает в научную командировку за границу. Целью его научных изысканий при осмотре славянских рукописей было, как он пишет в своем отчете: «1) найти какие-нибудь любопытные указания относительно древности письма кирилловского и глаголического; 2) найти новые списки произведений письменности уже известных или новые, еще не известные произведения письменности, преимущественно русской»<sup>2</sup>.

Он усиленно работает в библиотеках Стокгольма, Копенгагена, Вены, Праги, Парижа и делает несколько интересных находок. Но не только научная работа занимала И. И. Срезневского в этом путешествии. На этот раз он ехал за границу не один, а с

женой и старшими детьми, которых он хотел не только «обогатить новыми впечатлениями и дать пищу их художественным вкусам», но и, как писал его сын Всеволод, «сблизить их с западным славянством и заставить их ощутить его не только в качестве простых наблюдателей»<sup>3</sup>.

Естественно, на первом месте в путешествии И. И. Срезневского стояла Чехия и столь полюбившаяся ему когда-то Прага. Здесь Срезневские пробыли с 14 по 28 июня<sup>4</sup>; вторично Срезневский заезжал туда за сыновьями в августе 1860 г.

Срезневские сразу же окунулись в гущу общественной жизни Праги, еще взбудораженной майскими национальными демонстрациями чешской молодежи и последующими репрессиями австрийской полиции. Дочь И. И. Срезневского Ольга отмечает в своих воспоминаниях: «Настроение чешской молодежи, направленное против австрийского правительства, передалось и нам», и приводит выдержку из письма брата Владимира деду: «Ах, милый дедушка, если бы Вы знали, что делают эти австрийцы с несчастными чехами. За то, что они поют народные песни и одеваются в народные костюмы, они сажают их в полицию, т. е. в холодную камору, и это во время самых жестоких морозов (немецких). Это они делают не только со взрослыми чехами, но большею частью с детьми, мальчиками 14—15 лет, которые решительно ничем не могут вредить им. Чуть только кто-нибудь подпадет под их подозрение, его сейчас хватают и сажают в полицию»<sup>5</sup>.

В Праге И. И. Срезневский возобновил старые связи и завязал новые знакомства с чехами. Среди его пражских друзей и знакомых О. И. Срезневская упоминает Ганку, Палацкого, Ригера, Браунера, Кузмани, Коларжа, Прохазку, Гейдука и др. Все они одновременно являлись членами популярного в Праге клуба «Мещанская беседы», где Срезневский проводил почти все вечера. Можно полагать, что предметами их разговоров были и упоминавшиеся уже студенческие волнения в Праге, угнетенное положение чехов, их национальные чаяния и т. д. Вероятно, именно в этой связи шла речь о необходимости практического претворения в жизнь идеи славянской взаимности, о возможности созыва ученых славянских съездов, хотя бы по предмету истории и филологии славян<sup>6</sup>.

Самым давним и близким из пражских знакомых Срезневского был Вацлав Ганка. Их знакомство завязалось еще со времени путешествия Срезневского в славянские земли в начале 40-х годов XIX в. и впоследствии поддерживалось регулярной перепиской.

Срезневский предварительно известил Ганку о своем намерении посетить Прагу, на что последний ответил: «Мы все Вас ждем с большим нетерпением»<sup>7</sup>. Через Ганку шла переписка семьи Срезневских, он же хлопотал об устройстве их в Праге, неудивительно поэтому, что уже через час после приезда туда Срезневских состоялась их первая встреча. «Ганка,— вспоминает

О. И. Срезневская,— конечно, первым делом познакомил нас с народным музеем и со всеми достопримечательностями Праги<sup>8</sup>. Как библиотекарь Национального музея он, несомненно, помогал русскому слависту в отыскании интересовавших его славянских рукописей, он же снабдил его фотографическим снимком с рукописи «Суда Любуши»<sup>9</sup>.

Вместе с женой и дочерью И. И. Срезневский по приглашению Ганки побывал на его лекции по русскому языку в Пражском университете. Срезневские были там не простыми слушателями. «Перед его студентами,— писал И. И. Срезневский тестю,— читал по-русски не только я, но и Оля — она о Бородинском сражении, а я о Кремле и отрывки из Годунова Пушкина. Ганке было это так приятно, что вечером в беседе (клубе), где я бываю почти каждый день в кругу писателей чешских... он всем рассказывал о причине своей радости и вспоминал, между прочим, что это случилось в день рождения Гуса, день, памятный для многих чехов и до сих пор»<sup>10</sup>.

Вообще Срезневские подметили в Праге в этот период большой интерес чешского общества к русскому языку, общее расположение к русским. Так, Измаил Иванович пишет тестю: «Нельзя, впрочем, не заметить, что знание русского языка, по крайней мере в некоторых кругах, заметно здесь распространяется: не только мужчины, но даже и некоторые дамы говорят по-русски очень порядочно. Распространяется даже мысль о необходимости общего знания русского языка, о необходимости (знания) литературы (русской)»<sup>11</sup>.

Путешествие 1860 г. значительно расширило круг знакомых Срезневского среди чехов. Не только сам И. И. Срезневский, но и его дети нашли здесь новых друзей, с которыми потом долго переписывались. Личные встречи, несомненно, способствовали установлению более тесных контактов русского слависта с чешскими учеными и общественными деятелями.

И. И. Срезневский всегда интересовался и сочувственно следил за событиями, происходившими в Чехии, и не только по газетам, в этом ему помогали его пражские корреспонденты. Особенно интересны в этом отношении последние письма Ганки Срезневскому, где тот подробно описывает русскому ученому обстановку в Праге. Так, он пишет о дискуссии в «Чешской беседе» между ним и Ригером<sup>12</sup>, о необходимости как можно более скорого введения преподавания на чешском языке, сообщает и о последствиях выступления чешских студентов: «Гонение на студентов несколько утихло, но здесь даже и по улицам распевают сатирические песни на простонародные мелодии»<sup>13</sup>,— и приводит далее текст сатирических куплетов о трех австрийских министрах — Бахе, Бруке и Туне.

И как завещание прозвучали слова последнего письма Ганки Срезневскому от 1(13) декабря 1860 г.: «У нас опять настает очень серьезное время, как Вы можете вычитать это в газетах,

но, к сожалению, у нас нет никакой опоры, это застало нас врасплох. Новый наш наместник, венгерский граф Форгач, обещает, что не будет против чешского языка и будет все охранять, но если и не будет, это нам нисколько не поможет потому, что status quo заключается еще в господстве немецкого, и помощью нам это не будет. Жаль, что земляки Ваши так мало нас знают, и даже большая часть считает еще нас богемцами, под чем подразумеваются немцы, как я и от образованных Ваших западников слышал, так как они думают, что нас этим не задевают, раз немцы нас не уничтожают и даже, напротив, что мы должны быть им благодарны за их цивилизацию. Не было бы ничего удивительного, если бы мы пали, не встречая ни сочувствия, ни поддержки, но я не теряю надежды, раз мы столько перенесли, что бог нас не напрасно и не для того создал славянами, чтобы превратить в немцев»<sup>14</sup>.

\*

Смерть В. Ганки 12 января 1861 г. вызвала многочисленные сочувственные отклики не только в Чешских землях, но и в других славянских странах, в том числе и в России. Естественно, что И. И. Срезневский, два десятилетия состоявший с Ганкой в дружеских отношениях, отзывается одним из первых.

В этой связи хотелось бы сказать несколько слов об отношении самого Срезневского к Ганке. Оно не было однозначным. Русский ученый высоко ценил и уважал Ганку как славянского деятеля, «имевшего сильное влияние на новое нравственное оживление славян вообще, не только чехов, и любил как человека за чистоту его души, прямодушие и бескорыстие»<sup>15</sup>, но вместе с тем относился к нему как к ученому критически. В своих воспоминаниях о Ганке он замечает: «...как писатель, несмотря на множество книг и книжек, им изданных, он не может быть поставлен в число очень важных потому, что не оставил о себе ни одного, что называется «капитального» произведения»<sup>16</sup>. Этот приговор стал еще более суровым на склоне лет. В феврале 1879 г. И. И. Срезневский писал А. В. Шембере: «Не говорю о Ганке, которого любил как доброго человека, никогда не цения в нем ни знаний, ни дарований»<sup>17</sup>.

Тем не менее Срезневский считал своим долгом отдать должное памяти Ганки.

Одним из первых в России он получил известие о смерти Ганки (в телеграмме Й. Коларжа) и публикует его на страницах газеты «Северная пчела» (№ 2 от 3 января 1861 г.). В первую же субботу после смерти Ганки Срезневский читает у себя в небольшом кружке воспоминания о нем. В эту же субботу он посетил так называемую чешскую сходку — что-то вроде небольшого клуба проживающих в Петербурге чехов. Об этом он сообщает в письме Й. Коларжу. Эта «сходка» целиком была посвящена памяти Ганки: «Пелись песни народные, любимые Ганкой,

его собственные песни (например, «Porodila mne moja matička mezi ružemi»), краковяки, припоминали, кто что знает о Ганке, свидетельствуя и признательность ему за помощь, им оказанную<sup>18</sup>.

Немногим более чем через неделю после зимних каникул И. И. Срезневский начал свои славянские чтения в университете с воспоминания о Ганке. В это же время он помещает в «С.-Петербургских ведомостях» и «Северной пчеле» статьи о нем<sup>19</sup>.

13 января И. И. Срезневский прочел в заседании второго Отделения Академии наук свое «Воспоминание о Ганке», где кратко обозревает его жизненный путь, его ученую и патристическую деятельность и делает попытку, по существу впервые в России, научно оценить заслуги Ганки.

В это время у Срезневского рождается обширный план издания сборника в память Ганки, в котором он предполагал поместить:

«1. Воспоминания о Ганке, его письма, его неизданные сочинения, письма к нему, выдержки из памятных книжек и т. д. Тут же — воспоминания о современниках Ганки. 2. Неизданные памятники славянские всякого рода — древние, старинные, народные, насколько нужно с объяснениями». «Материалов у меня самого много,— пишет он в письме И. Коларжу,— но чем будет более, тем можно лучше сделать выбор»<sup>20</sup>.

23 января, выступая с обозрением филологических и археологических трудов Ганки на заседании Археологического общества, Срезневский поделился этим планом со своими учеными коллегами. Многие выразили готовность оказать содействие. Сообщение об этом заседании было напечатано в «Северной пчеле» (№ 24 от 30 января 1861 г.). Заметка получила отклик у читателей. В архиве Срезневского сохранилось письмо В. А. Стороженко<sup>21</sup>, который, узнав из газет о намерении Срезневского, поспешил прислать ему несколько писем Ганки к его покойному отцу.

С просьбой о присылке материалов о Ганке И. И. Срезневский обращался к М. П. Погодину, П. А. Лавровскому, П. И. Кеппену, чешскому литератору Й. Коларжу и др. Средства, вырученные от продажи сборника, Срезневский также предполагал употребить на какую-нибудь акцию в память Ганки.

План издания памятной книги о В. Ганке был осуществлен лишь частично<sup>22</sup>. В четвертом выпуске «Известий Академии наук», а затем и отдельным оттиском в конце 1861 г. был издан сборник «Воспоминание о В. В. Ганке», куда вошли упоминавшиеся выше выступления Срезневского, а также отрывок из статьи П. А. Лавровского, известия о кончине Ганки из газеты «Cas», о погребении Ганки, надгробные стихотворения и т. п.

Непосредственное участие принял И. И. Срезневский и в организации славянских концертов в память В. Ганки 23 марта и 14 апреля 1861 г. В это предприятие он вовлек и своих студентов,

которые занялись составлением программы концерта и переводами произведений Ганки на русский язык.

Тесную связь поддерживал Срезневский и с профессором Петербургской консерватории чехом И. К. Воячеком, сочинившим реквием в честь Ганки, впервые исполнявшийся в католическом костеле в Петербурге 17 января 1861 г., о чем Срезневский поместил объявление в газетах.

Воячек взял на себя роль непосредственного организатора концерта. Он руководил репетициями, предварительно сообщив И. И. Срезневскому программу концерта, составленную преимущественно из произведений славянских композиторов<sup>23</sup>. Объявление о концерте Срезневский также поместил в газетах<sup>24</sup>.

Деньги, вырученные от этих концертов (500 флоринов), Срезневский переслал на имя Ф. Палацкого в Прагу, прося присоединить «эти деньги к сумме, собираемой чехами „во имя Ганки“, и, если найдете возможным и удобным, выдать в память Ганки 1/4 часть их одному из даровитых молодых чехов, который посвятил себя изучению славянской филологии, как пособие для продолжения его занятий»<sup>25</sup>. Срезневский высказал также в письме Палацкому желание «распорядителей концерта и других особ», «чтобы избранный Вами даровитый молодой чех приехал сюда для продолжения своих славянских занятий, по крайней мере на год. Средства для его жизненного поддержания здесь могут быть мало-помалу собраны»<sup>26</sup>. Таким образом, уже приведенные выше факты показывают, что поминание Ганки в России получило большой размах, чему в немалой степени содействовал И. И. Срезневский. Все эти мероприятия способствовали привлечению внимания русского общества к чешскому народу как таковому, к его нуждам и чаяниям. И в этом большие заслуги принадлежат И. И. Срезневскому, который в своих многочисленных выступлениях в печати и перед аудиторией, повествуя о Ганке, всегда подробно останавливался на истории чешского национального Возрождения, описывал настоящее положение чешского народа и т. д.

\*

И. И. Срезневский активно содействовал признанию в России заслуг чешских ученых и общественных деятелей. Будучи в курсе научных изысканий своих чешских коллег, он мог по достоинству оценить их труды и часто рекомендовал их кандидатуры к избранию почетными членами тех или других научных учреждений Российской империи.

Так, при содействии и рекомендации Срезневского были избраны членами-корреспондентами Российской академии наук<sup>27</sup> К. Я. Эрбен (в 1857 г.), М. Гаттала (в 1862 г.), Ф. Палацкий (в 1863 г.), А. В. Шембера (в 1868 г.). Осенью 1867 г. Ф. Палацкий был избран по случаю юбилея Карамзина почетным доктором С.-Петербургского университета<sup>28</sup>, а Я. Водель в 1869 г.—доктором славянской словесности того же университета<sup>29</sup>. Срез-

невский явился также составителем адресов от имени Академии наук в 1868 г. по случаю 50-летнего юбилея Чешского национального музея и 50-летия научной деятельности Ф. Палацкого. В последнем адресе выражалось пожелание, чтобы Палацкий «еще долго действовал трудами и примером на пользу науки, исторической истины и славянского мира»<sup>30</sup>.

В свою очередь чешские научные общества считали честью для себя избрать Срезневского своим почетным членом. В 60-е годы он становится почетным членом чешского литературного общества «Сватобор» (1867) и Музея Королевства чешского (1868)<sup>31</sup>.

Почетное членство в русских научных учреждениях чехи считали для себя высокой честью, как признание их заслуг учеными великой славянской державы, что в свою очередь служило в какой-то степени поддержкой в их национальной борьбе.

\*

Середина прошлого столетия была временем интенсивной эмиграции чешской интеллигенции за границу, в том числе и в Россию.

В условиях жестокого национального и полицейского гнета в австрийской монархии представители чешской интеллигенции не находили достойного применения своим знаниям и способностям. Воодушевленные идеей славянской взаимности, они устремляли свои взоры к России — могучей славянской державе.

В свою очередь Россия, в условиях интенсивного развития капитализма, остро нуждалась в специалистах высокой квалификации в различных областях науки и техники и т. д. и в то же время ощущала недостаток в преподавательских кадрах.

Вполне естественно, что многие чехи, искавшие себе места в России, через знакомых или непосредственно обращались к И. И. Срезневскому как русскому слависту, имя которого было широко известно в кругах чешской интеллигенции.

В 60-е годы с подобной просьбой обращались к И. И. Срезневскому архитектор И. Шимонек (1865)<sup>32</sup>, через К. Я. Эрбена профессор классической филологии, протестантский священник Я. Шрамек<sup>33</sup>, филолог Б. Едличек<sup>34</sup>, студент-филолог П. Качера (1866)<sup>35</sup>, через И. Коларжа — журналист Я. Вацлик (1868)<sup>36</sup>, через своего отца Я. Е. Пуркине — профессор ботаники Э. Пуркине<sup>37</sup> и др.

К сожалению, материалы архива Срезневского в большинстве случаев не дают нам сведений о том, как решались подобные дела по приему чехов на службу в Россию. Подробно известно только о судьбе Яна Шрамека, который по рекомендации Срезневского стал преподавателем классических языков в Петербурге, а затем в новгородской гимназии<sup>38</sup>. И. И. Срезневский даже подал в этом случае специальную записку попечителю С.-Петербургского учебного округа о возможности получать хороших учителей древних языков из западных славянских краев.

Вообще русский славист хорошо сознавал тогда большую потребность России в хороших преподавательских кадрах и неспособность министерства народного просвещения своими силами решить эту проблему. Этими мыслями он делится в своем письме к К. Я. Эрбену от 25 октября 1865 г.: «... Нам нельзя не жаловать, чтобы к нам приезжали хорошие чехи всякого рода: люди нам нужны, нужно распространение знаний и хорошего ремесленного умения.

Между прочим, нужны и хорошие учителя. Только в самом деле хорошие: таких, на коих мы напали за пять лет перед этим в Дрездене, и у нас много, и цена такая же. Все-таки не должно представлять Россию землей дикарей. Научная литература наша доказывает противное. Были бы даже и учителя хорошие, если бы не жалкое состояние МНП»<sup>39</sup>.

Срезневский был хорошо знаком и с чешскими эмигрантами, проживающими в Петербурге. Дружеские отношения связывали его, например, с упоминавшимся уже профессором Петербургской консерватории И. К. Воячеком. Очевидно, через него Срезневский был вхож в тот своеобразный клуб выходцев из Чехии, который известен под названием «Чешская сходка».

«На чешскую сходку,— писал Срезневский И. Коларжу в январе 1861 г.,— собираются чехи, здесь живущие, обыкновенно у Зейферта; поют чешские песни, разыгрывают чешские музыкальные произведения, добрым словом и рассказами поминают свою Родину, разумеется, по-чешски.

Мысль эта принадлежит добному властенцу И. К. Воячеку и затеяна им ненапрасно: число чехов на этих сходках все более увеличивается, каждый... желает быть принятым. Сходки получают разные чешские газеты, книги и т. д.»<sup>40</sup>. Среди членов сходок Срезневский упоминает Зейферта, Воячека, Марека, Покорного, Черного, Судича, Роглека, Свободу и др. В большинстве своем это были чешские музыканты<sup>41</sup>.

Дом Срезневского был всегда открыт для славянских гостей. Здесь находили себе прием, а иногда и временное пристанище и многие приезжавшие из Чехии, чаще всего с рекомендательными письмами от его пражских знакомых<sup>42</sup>.

В этой связи следует остановиться на приезде в Россию Йозефа Коларжа и на том участии, которое принял в нем И. И. Срезневский.

Й. Коларж был молодым чешским литератором, уже известным своими переводами русских и иных славянских писателей и статьями по русской и другим славянским литературам.

Со Срезневским Коларж лично познакомился еще летом 1860 г. и даже стал на время воспитателем его сыновей, пока Срезневский с женой и старшей дочерью, продолжая свое путешествие, ездил в Вену, в Италию и т. д.

Коларж питал искренние симпатии к России и мечтал получить в Москве или Петербурге место преподавателя славянской

филологий или литературы, о чем писал Срезневскому уже в августе 1860 г.<sup>43</sup>

Весной 1863 г. литературное общество «Сватобор» предоставило Коларжу средства для поездки в Россию. Он был радушно, «как родной», принят Срезневским в Петербурге и с этого времени в своих занятиях постоянно пользовался консультациями и советами почтенного русского слависта.

Прозанимавшись в Петербурге около двух месяцев, Коларж направился в Москву; Срезневский снабдил его несколькими рекомендательными письмами, в частности к Вельтману, Горскому, Бодянскому и другим, за что молодой чех был ему очень признателен. «Благодаря Вашим рекомендательным письмам,— писал он Срезневскому,— я здесь видел все, что только можно видеть»<sup>44</sup>. Между ними установилась регулярная переписка. Коларж делился в своих письмах с русским ученым своими впечатлениями, мыслями и сомнениями и в ответ получал умные, благожелательные советы. В частности, приветствуя занятия Коларжа по изучению старославянских рукописей, Срезневский рекомендует ему не ограничиваться только ими. «Мне кажется,— писал он Коларжу в письме от 29 сентября 1863 г.,— что ознакомиться отчетливо с русской литературой и с ходом просвещения у нас, по крайней мере в последние 100 лет, важнее... Хорошо было бы употребить на это времени сколько возможно более, не забыв при этом и посещения лекций в университете и в других заведениях. Чем более соберется сведений, чем более соедините их с личными наблюдениями, тем вернее будут и Ваши выводы»<sup>45</sup>.

Срезневский вообще придавал большое значение поездке Коларжа в Россию, искренне желая, чтобы тот получил разностороннее, непредвзятое представление о ней, «потому что от него в его Чешской земле ждут правдивого слова о нас и о России»,— писал он Горскому<sup>46</sup>. Почти этими же словами напутствовал он и самого Коларжа: «Не забудьте, что Вы первый из чехов нашего времени, которые предположили себе научное путешествие по России, и что на Вас ляжет ответственность перед родиной и перед всеми теми, которые пойдут по Вашим следам»<sup>47</sup>.

Известные московские купцы братья Мамонтовы, с которыми Коларж подружился в Москве, предоставили ему средства продлить свое пребывание в России почти на год. За это время он осмотрел главные достопримечательности Москвы и ее окрестностей, много занимался в Синодальной библиотеке, в Румянцевском музее, в библиотеке Троице-Сергиевой лавры, съездил в Нижний Новгород и т. д.

И везде ему помогали советы и указания Срезневского, которого Коларж называл теперь своим учителем и даже «духовным отцом». Они служили ему как бы путеводителем в обширном море знания, так как Коларж сам признавал, что он «ни в наших школах, ни в нашем обществе не получал никакого осно-

вательного «напутка» в славянской науке — в этом отношении я почти самоучка, а Россия — море для меня...»<sup>48</sup>

Коларж навестил Срезневского уже перед самым отъездом из России в конце мая 1864 г. и искренне благодарил его за помощь в своих занятиях. Чешское общество «Сватобор», пославшее Коларжа в Россию, также выразило благодарность Срезневскому. Посыпая диплом почетного члена общества, Ф. Палацкий писал Срезневскому в январе 1868 г.: «Любовь свою ко всему чешскому Вы засвидетельствовали... и обществу нашему тотчас после его основания тем, что охотно помогали советом и делом узнать литературную и общественную жизнь в России молодым писателям, посланным с помощью «Сватобора» с литературными целями на Вашу Родину»<sup>49</sup>.

Впоследствии И. Коларж преподавал славянские языки в Политехническом институте и Пражском университете, составил учебник русского языка и т. д.<sup>50</sup>

И. И. Срезневский служил как бы связующим звеном не только чехов с Россией, но и многих русских с Чехией. Имея обширные связи со славянами, Срезневский часто давал рекомендательные письма в Прагу молодым русским ученым, большей частью славистам, отправляющимся в командировку за границу, прося своих чешских знакомых о всяческом содействии им. Такие рекомендации от него в 60-е годы получали П. А. Лавровский, А. С. Троянский, Е. Ф. Фортунатов, Н. И. Утин, В. В. Макушев, Л. Н. Майков, В. И. Ламанский, В. Ю. Хорошевский, О. Ф. Миллер<sup>51</sup> и др.

\*

И. И. Срезневский не остается в стороне и от такого знаменательного события, каким были Всероссийская этнографическая выставка в Москве и Славянский съезд в мае—июне 1867 г.

Хотя и устроители этнографической выставки — Московский славянский комитет и приехавшие в Россию славянские делегации — постоянно подчеркивали отсутствие у них каких-либо политических интересов, даже для современников политическая подоплека этого события была очевидна. Для чехов посылка делегации в Россию стала своеобразной демонстрацией австрийскому правительству, готовящему дуалистическое соглашение с Венгрией, свидетельством того, что Чехия имеет мощных союзников и поддержку у других славян, прежде всего в России<sup>52</sup>. Сам замысел созыва общеславянского съезда, как претворение в жизнь идеи славянской взаимности, весьма импонировал И. И. Срезневскому, но ко всяkim политическим целям он относился отрицательно. Эти мысли он высказал, например, К. Я. Эрбену еще перед началом съезда: «... Во всем деле с корня до шелухи нет ничего политического, да и быть не может и не должно»<sup>53</sup>. По мнению Срезневского, Славянский съезд должен был стать демонстрацией славянской взаимности в культурной и

научной областях, в этом он видел его «нравственную пользу». «Последнее одно,— писал он тому же Эрбену,— для меня важно и ценно, и тесно связано с личностями, которые приедут. Чем они будут достойнее общего уважения, тем все дело выиграет более с нравственной стороны. Само собой разумеется, что достойными общего уважения могут быть только те, которые отличаются самостоятельными знаниями, заслугами науке, литературе, искусству и т. д. Важно, чтобы они были у нас узнаны и оценены; важно, чтобы и они нас узнали и оценили»<sup>54</sup>. Вышесказанное стало своеобразной программой участия Срезневского в подготовке съезда и приеме славянских гостей в Петербурге<sup>55</sup>.

И. И. Срезневский оказался в числе тех помощников в организации Славянского съезда, которые рассылали чехам приглашения приехать в Россию. По побуждению В. И. Ламанского И. И. Срезневский пишет специальное (уже цитированное выше) письмо К. Я. Эрбену (от 22 марта 1867 г.), где не только сообщает еще раз о готовящейся в Москве этнографической выставке, но и делится с ним своими мыслями о съезде и о тех лицах, которые должны приехать туда: «Приезжайте сами, испытайте сами, как мы, русские, умеем или не умеем ценить заслуги Ваши и подобных Вам. Хотелось бы также видеть в числе гостей Палацкого, Ригера, Гатталу, Воцеля, Гамерника...»<sup>56</sup>.

По приезде славян в Петербург Срезневский постоянно сопровождает чешскую делегацию, участвует вместе с ней почти во всех торжествах, устроенных в честь славянских гостей в северной столице России. Его приветственная речь отмечается корреспондентом «Голоса»<sup>57</sup> среди других речей, произнесенных в первый же вечер по прибытии славянских делегатов в Петербург на ужине в гостинице «Бель-Вю» 8 мая 1867 г.

Утром 9 мая И. И. Срезневский сопровождает славянских гостей при посещении ими публичной библиотеки. Корреспондент «Русского инвалида» счел нужным отметить: «И. И. Срезневский объяснялся с Палацким и др. по-чешски; почтенный декан университета, видимо, был в своей сфере и живо вел беседу со своими спутниками»<sup>58</sup>.

Вечером 10 мая происходил респектабельный раут у графа Кушелева-Безбородко: «Первые прибыли гг. Палацкий, Ригер и д-р Гамерник в сопровождении известного нашего слависта И. И. Срезневского, узнавшего их за границей и поддерживающего с ними ученую корреспонденцию»<sup>59</sup>.

11 мая И. И. Срезневский радушно принимает славянских гостей в Академии наук, куда они были приглашены «на обыкновенное, назначенное как будто нарочно на этот день, заседание Отделения русского языка и словесности».

«Председатель этого отделения,— сообщалось в газете «Голос»,— профессор Срезневский открыл заседание, пригласив гг. Палацкого (отца) и Эрбена, состоящих членами-корреспондентами отделения, занять место между академиками: г. Палацкий

поместился по правую руку от председателя, г. Эрбен — возле него.

Заседание состояло из речи профессора Срезневского, в которой, после краткого обращения к славянским гостям, академик заявил о вновь открытом памятнике глаголитской письменности, который, судя по сохранившимся отрывкам, составляет первый открытый доселе образчик текста ветхого завета, писанного глаголицей. Затем он перечислил издания, доставленные в Академию по отделу славянской литературы. В числе таких изданий, доставленных западными славянами, оказались сочинения присутствовавших на заседании славян — чеха Эрбена (чл.-корр. Академии) и кашуба Цейновы»<sup>60</sup>.

Естественно, что И. И. Срезневский общался с чешскими делегатами не только на официальных встречах и торжествах. Вероятно, многие побывали у него в гостях дома. Срезневский снабдил рекомендательным письмом к А. А. Котляревскому А. Патеру, прося помочь ему «сблизиться более с наукой и литературой нашей». Патера, по мнению Срезневского, «тем более достоин внимания и содействия, что принадлежит к числу очень немногих из приехавших славян, у которых в глазах не политические, не корыстные расчеты и не простое любопытство»<sup>61</sup>.

Измаил Иванович принял участие в обсуждении с чешскими делегатами так называемого плана Ригера о созыве раз в год или два ученых славянских съездов. «Эта мысль обсуждалась уже во время пребываний в Праге Лавровского, Срезневского и Попова. Но тогда говорилось только о филологии и истории славянской. Теперь программа распространилась на все науки...»<sup>62</sup>.

Но, как ни откреплялся Срезневский от политических проблем, он не мог, питая искренний интерес к славянам, совсем остаться от них в стороне. О его отношении к политике австрийского правительства по славянскому вопросу можно судить из высказывания В. И. Ламанского, записанного Э. Вавром в письме К. Сабине: «Я, Попов, Срезневский и все, которые там [в Праге.— М. Д.] были, сходимся в том, что вас ваше [правительство.— М. Д.] не хочет иметь славянами и к вам относится как мачеха... Австрия лелеет только немцев и хочет погубить славян»<sup>63</sup>.

После пышного приема, оказанного славянским гостям в Петербурге, они направились в Москву на этнографическую выставку. Срезневский по газетам, несомненно, следил за дальнейшим ходом событий. Чехи не преминули сообщить ему о политическом выступлении Ригера на банкете в «Сокольниках», дав телеграмму из Москвы от 2 июня 1867 г. В ней, между прочим, сообщалось: «...Ригер горячо ратовал за признание прав народапольского и его политической суверенности и за то, чтобы русские помирились с поляками»<sup>64</sup>.

После возвращения чехов из Москвы в Петербург Срезневский еще неоднократно встречался с ними<sup>65</sup>. В частности, Э. Вавра упоминает в письме К. Сабине о «малом чае», на который пригла-

сили чехов некоторые петербургские профессора сразу по возвращении славян в Петербург 28 мая 1867 г. Здесь, несомненно, был и Срезневский. Это была неофициальная встреча, где обо всем говорилось весьма откровенно. Характерно, что Вавра счел нужным отметить, что «некоторые из этих профессоров неоднократно бывали в Праге и знали нас лучше, чем мы их. Они следят за всем, что у нас происходит, и особенно за политикой»<sup>66</sup>. «При звоне бокалов,— сообщал Вавра Сабине,— присутствовавшие здесь русские присягали, что «русский народ не оставит чехов в беде»<sup>67</sup>.

Активное участие И. И. Срезневского в приеме чешских делегатов в Петербурге еще более укрепило его научные связи с чехами, расширило его представление об общественной жизни в Чехии и т. д. В свою очередь и чехи были благодарны ему за радушный прием. «Я только могу присоединиться,— писал Срезневскому К. В. Зап,— к общему голосу нашего народа, к голосу сердечной благодарности Вам за все хорошее, что Вы сделали нашим путешественникам»<sup>68</sup>.

\*

Летом 1869 г. И. И. Срезневский снова получил возможность побывать в Чехии и встретиться со своими пражскими знакомыми. Он вновь был послан в научную командировку за границу, целью которой были осмотр и копирование древних рукописей. В Прагу Срезневский с женой и тремя средними детьми попал уже после путешествия по Германии, Швейцарии и Италии в середине августа (по ст. ст.). Здесь он усиленно работает в Национальном музее, о чем подробно писал старшим детям в Петербург: «Я осмотрел рукописи и выписки из рукописей, доставшиеся от Шафарика, почти все, за исключением той [так!—М. Д.] части глаголической, нашел много любопытного, кое-что выписал, кое-что снял». В этом же письме он дал и беглую оценку собранию рукописей Шафарика: «Не могу, впрочем, сказать, чтобы собрание было богатым; большая часть рукописей не стоит никакого внимания. Хорошо, можно сказать богато, собрание первопечатных книг; не бедно также собрание снимков с сербских грамот, замечательно, велико и чисто сообщенное нашим Григоровичем. Древняя замечательная рукопись XIII в.— только одна: ее бы стоило и всю списать»<sup>69</sup>.

И в этот раз, несмотря на всю свою занятость, Срезневский не упускал случая пообщаться со знакомыми чехами. Наиболее близки ему были Патера, Коларж, Эрбен, Врятко, Гамерник и другие, с которыми он неоднократно встречался в «Беседе», музее, у себя в гостинице, бывал у них в гостях<sup>70</sup> и т. д.

Срезневский по-прежнему живо интересовался текущими событиями общественной жизни Чехии. Его пребывание в Праге совпало с торжествами по случаю 500-летия со дня смерти Гуса, и он стал свидетелем разногласий, возникших между младочехами и старочехами при организации этих торжеств. Вот что он

писал по этому поводу домой: «Праздник идет как подобает, с большим сочувствием участвующих, участвуют, впрочем, не все, лучше сказать: все, кроме партии Палацкого и Ригера. Почему так, кто их разберет. Может быть, и потому только, что затеявшие празднество не попросили Палацкого и Ригера встать во главе, а может быть, и почему другому. На мой вопрос об этом слышал я ответ: празднество это раздражает аристократию и духовенство».<sup>71</sup> Сам Срезневский осуждал разногласия, возникшие между чешскими национальными партиями. Не случайно, что из всех речей на торжественном обеде 26 августа (7 сентября) 1869 г., посвященном памяти Гуса, он особо отметил лишь речь Ригера, проповедовавшего национальное единение<sup>72</sup>. С этой точки зрения он критикует младочехов за их неуступчивость, выражая тем самым свое сочувствие старочехам: «Можно было бы, конечно, быть почтительнее к духовенству в некоторых возгласах, можно было получше обдумать, как отпраздновать, но затем не ссориться, не холодеть взаимно и осуждать друг друга взаимно тем, которые хотят быть деятелями главными в народном деле»<sup>73</sup>.

Интенсивная работа Срезневского в Национальном музее не дала ему возможности в этот раз осматривать достопримечательности Праги; он не мог также посещать все мероприятия гусовских торжеств и отказался даже от поездки в Гусинец, на родину Гуса. Срезневского выручали его жена и дети, активно интересующиеся культурной жизнью Праги. Всеми своими впечатлениями они, конечно, делились с Измаилом Ивановичем. Так, 16 августа они, в числе еще 12 приглашенных, присутствовали на показательном экзамене в детской приходской школе<sup>74</sup>, посетили почти все гусовские торжества, вместе со знакомыми чехами основательно осмотрели Прагу и т. д.

Пробыв здесь полмесяца, Срезневские покидают Чехию. Прощали их, «как родные родных» 29 августа (10 сентября) 1869 г. Патера и Коларж.

\*

Многочисленные и многогранные контакты И. И. Срезневского в 60-е годы XIX в. с чешскими учеными и общественными деятелями, его усилия по распространению сведений о чешской науке и культуре в русском обществе, по признанию заслуг чешских ученых российскими научными учреждениями, конкретная помощь чешским эмигрантам и путешественникам в Петербурге и т. д.— все это, несомненно, способствовало укреплению этих связей и росту симпатий в чешском обществе к русскому народу.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Этот факт нам удалось установить на основании архивных материалов, например: ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 2, д. 56, 57, 61 и др. Указания чехословацкого ученого В. Войтишека, что Срезневский был в Праге в 1847 и 1856 гг. (*Věstník CSAV*, гоč. 66, 1957, č. 7—8, str. 325) и советского — К. И. Ровды, что Срезневский встречался с Эрбеном в Праге в 1862 г. (*Русский фольклор*, VIII. М.— Л., 1963, стр. 332) являются неточными.

<sup>2</sup> Й. Й. Срезневский. Палеографические заметки, сделанные во время путешествия летом 1860 г. СПб., 1860, стр. 3.

<sup>3</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 2, д. 56, л. 100.

<sup>4</sup> Отметим, что в начале июня в Праге был ученик И. И. Срезневского по Главному педагогическому институту Н. А. Добролюбов, с которым Срезневские встретились только в Интерлакене в Швейцарии (*A. Florovskij. Z dějin rusko-českých vztahů v 19. století. Sovětska historie*, 1955, č. 3—4 и ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 2, д. 55, л. 25).

<sup>5</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 2, д. 56, л. 82.

<sup>6</sup> Упоминание об этих планах, обсуждавшихся во время пребывания Срезневского, П. А. Лавровского и впоследствии Н. А. Попова в Праге, содержится в письме Э. Вавры К. Сабине от 12 июня 1867 г. (см.: *K. Kazbunda. Pouť Čechů do Moskvy 1867 a rakouská diplomacie*. Praha, 1924, str. 131).

<sup>7</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 6, д. 25, л. 6.

<sup>8</sup> Там же, оп. 2, д. 56, л. 81 а.

<sup>9</sup> Выписки из протоколов заседаний II отделения Академии наук за сентябрь 1860. «Известия Отделения русского языка и словесности». СПб., 1860, т. IX, вып. 2, стб. 179.

<sup>10</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 2, д. 298—300, л. 3.

<sup>11</sup> Там же, л. 3 об.

<sup>12</sup> Там же, оп. 6, д. 25, л. 20.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же, л. 27.

<sup>15</sup> Там же, оп. 1, д. 1054 б, л. 9 об.

<sup>16</sup> И. И. Срезневский. Воспоминание о Ганке. СПб., 1861, стр. 6.

<sup>17</sup> J. Macůrek. Z dějin česko-ukrajinských vztahů v minulosti. In: *Z dějin československo-ukrajinských vztahů*. Slovanské štúdie, I. Bratislava, 1957, str. 405.

<sup>18</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 1, д. 1054 б, л. 8 об.

<sup>19</sup> См.: «Северная пчела», № 12, 15 и 29: «С.-Петербургские ведомости», 1861, № 29.

<sup>20</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 1, д. 1054 б, л. 2 об.

<sup>21</sup> Архив АН СССР, ф. 216, оп. 5, д. 582.

<sup>22</sup> В архиве И. И. Срезневского сохранились наброски плана сборника и обращения об его издании, а также заметка «Петербургская летопись поминаний В. Ганки» (см. «Документы к истории славяноведения в России (1850—1912)». М.—Л., 1948, стр. 32—33).

<sup>23</sup> Архив АН СССР, ф. 216, оп. 5, д. 138, лл. 8—9.

<sup>24</sup> «С.-Петербургские ведомости». 25. III 1861.

<sup>25</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 1, д. 1083, л. 2 об.

<sup>26</sup> Там же. Дальнейшая судьба этого сбора нам неизвестна. Возможно, как вспоминает бывший студент Срезневского А. И. Старк, эта сумма была передана вдове покойного («Русская старина», 1882, т. 36, № 11, стр. 286).

<sup>27</sup> Этот список можно продолжить. В 70-е годы членами-корреспондентами АН при содействии Срезневского стали Й. Эмлер и А. Патера.

<sup>28</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 1, д. 1141, л. 4.

<sup>29</sup> Архив АН СССР, ф. 216, оп. 5, д. 137, л. 5.

<sup>30</sup> «Документы к истории славяноведения в России», стр. 64.

<sup>31</sup> В 70-е годы чехи избрали И. И. Срезневского почетным членом Академического читательского общества в Праге (1874), Славянского литературного общества в Праге (1879), иностранным членом Королевского чешского общества наук (1878) и т. п.

<sup>32</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 1, д. 1547.

<sup>33</sup> R. Bráň. Uzak. soch., стр. 170—171.

<sup>34</sup> Архив АН СССР, ф. 216, оп. 5, д. 231.

<sup>35</sup> Там же, д. 283.

<sup>36</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 1, д. 1478.

<sup>37</sup> Там же, д. 1513.

<sup>38</sup> В архиве Срезневского сохранились письма Я. Шрамека (ф. 436, оп. 1, д. 1549), которые свидетельствуют о теплых дружеских отношениях между ними.

<sup>39</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 1, д. 1141, л. 2.

<sup>40</sup> Там же, д. 1054, л. 8 об.

<sup>41</sup> К сожалению, нам больше ничего не известно об этом обществе чешских эмигрантов в Петербурге. Возможно, что некоторые сведения о нем сообщают «Воспоминания» Воячека, которые хранятся в Окружном архиве в г. Готтвальдове. Упоминание об этом см.: «*Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků*», 1. Praha, 1965, str. 173.

<sup>42</sup> Так, по рекомендации И. Коларжа Срезневский принимает в Петербурге в 60-е годы И. Шебора и И. Квачала, от Эрбена — Елинека и Малину, по рекомендации Шембры — Ф. Ламбля и др.

<sup>43</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 1, д. 1478, л. 1 об.

<sup>44</sup> Там же, л. 7 об.

<sup>45</sup> Там же, д. 1054б, л. 6 об.

<sup>46</sup> Там же, д. 1044, лл. 5 об.—6.

<sup>47</sup> Там же, д. 1054б, л. 6 об.

<sup>48</sup> Там же, д. 1478, л. 14 об.

<sup>49</sup> Там же, д. 1504, л. 1.

<sup>50</sup> Подробнее см.: N. Perglová. Neznámé české učebnice ruštiny let 1867—68. «Ruský jazyk», 1956, č. 9.

<sup>51</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 1, д. 1042, 1054б, 1141 и др.

<sup>52</sup> Подробнее о политической подоплеке и политических целях Славянского съезда 1867 г. см., например: Dějiny česko-ruských vztahů 1770—1917, díl 1. Praha, 1967, str. 218—222; а также: С. А. Никитин. Славянские комитеты в России в 1858—1876 годах. М., 1960, стр. 185—186.

<sup>53</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 1, д. 1141, л. 3 об.

<sup>54</sup> Там же, л. 3.

<sup>55</sup> В Москву И. И. Срезневский не смог поехать по обстоятельствам служебным (предстоящие научные командировки) и семейным (рождение сына), хотя персонально вместе с В. И. Ламанским был приглашен организаторами выставки стать «гостем Москвы» на время съезда.

<sup>56</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 1, д. 1141, л. 3.

<sup>57</sup> «Голос», 9 (21). V 1867.

<sup>58</sup> «Русский инвалид», 10 (22). V 1867.

<sup>59</sup> «Голос», 12 (24). V 1867.

<sup>60</sup> Там же. Об этом же см.: «С.-Петербургские ведомости», 13 (25). V 1867.

<sup>61</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 1, д. 1060, л. 11 об.

<sup>62</sup> K. Kazbunda. Указ. соч., стр. 131.

<sup>63</sup> Там же, стр. 117.

<sup>64</sup> Архив АН СССР, ф. 216, оп. 1, д. 964.

<sup>65</sup> В архиве Срезневского сохранились автографы Палацкого, Эрбена и Врятко с указанием их общественных должностей от 3 (15) июня 1867 г. (Архив АН СССР, ф. 216, оп. 3, д. 137).

<sup>66</sup> K. Kazbunda. Указ. соч., стр. 120.

<sup>67</sup> Там же, стр. 121.

<sup>68</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 1, д. 1465, л. 13. Письмо от 19 июня 1867 г.

<sup>69</sup> Там же, оп. 2, д. 280—297, л. 9.

<sup>70</sup> В архиве Срезневского сохранилось письмо Браунера с приглашением к нему на дачу (Архив АН СССР, ф. 216, оп. 5, д. 72).

<sup>71</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 2, д. 280—297, л. 33. Интересно, что примерно также описывает атмосферу, царившую в начале гусовских торжеств, корреспондент «С.-Петербургских ведомостей» (№ 236 за 1869 г.).

<sup>72</sup> ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 2, д. 280—297, л. 19 об. Текст речи Ригера см.: «С.-Петербургские ведомости», 1869, № 242.

<sup>73</sup> ЦГАЛИ, ф. 435, оп. 2, д. 280—297, л. 33.

<sup>74</sup> Там же, л. 18 об.

Т. В. ПОЛЯНИНА

Я. Ф. ГОЛОВАЦКИЙ (1814—1888) —  
ПРОПАГАНДИСТ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В 1888 г. в Вильну, на похороны Я. Ф. Головацкого — западно-украинского ученого и общественного деятеля, был прислан венок из Галичины с надписью: «Своему Ломоносову — Червонная Русь». Эта надпись имела глубокий смысл. Деятельность Я. Ф. Головацкого, охватывающая 30—80-е годы XIX в., многосторонна и подчинена идеи «славянской взаимности», столь популярной в среде межславянской общественности. Поэт и ученый, активный участник национального Возрождения славян, он поднялся в уровень с крупнейшими славистами середины XIX столетия, был «сведомый с филологическими сочинениями Добровского, Копитара, Шафарика, Миклосича<sup>1</sup>, которому не чужды дела первейших филологов Боппа, Гримма, Раска»<sup>2</sup>.

В современной критике неравномерно распределяется внимание к двум периодам деятельности Я. Ф. Головацкого. Изучение второго периода (50—80-е годы) освещается односторонне. В вину ученому ставится его монархизм, близость к русским славянофилам, защита православия и недооценка новой украинской литературы.

Эти заблуждения Головацкого объяснимы. Надежды на Россию питали многие деятели западного и южного славянства. В творчестве Головацкого никогда не иссякала социальная и демократическая струя, что выгодно отличало его от правого крыла русских славянофилов. Защита православия в его работах, лозунги «веры и народности» были своеобразной формой утверждения национальной независимости западноукраинского народа в условиях наступательных действий католической и униатской церкви. Многочисленные его статьи, обличающие католицизм и унию,<sup>3</sup> не утратили своей злободневности и в настояще время.

Человек большой нравственной силы, он словом и делом боролся с духом племенной замкнутости и пропагандировал научное и культурное общение славянских народов. Эта идея освещает всю его многостороннюю деятельность.

В своем кратком сообщении я пытаюсь обозначить ведущие проблемы творчества Я. Ф. Головацкого 50—80-х годов, из которых каждая может быть предметом отдельного исследования, определить круг идей, созвучных нашему времени. Такой путь представляется целесообразным при данном состоянии изучения вопроса. В творческой биографии Я. Ф. Головацкого, участника галицкого Возрождения 30—40-х годов, этот период характери-

зуется ростом масштабности научных интересов, углублением методологии и методики исследования истории и культуры западноукраинского народа.

Научный метод ученого действительно служил идею «тесного союза славянского братства» (Головацкий). Каждую отрасль науки он рассматривает в ее взаимосвязях, широко применяет сопоставительный анализ, типологические аналогии и параллели. Это особенно наглядно выявляется в работах на лингвистические, фольклорные и этнографические темы; в описаниях памятников древней письменности он неустанно подчеркивает факты истории, элементы языка, доказывающие общность культуры и исторических судеб славянских народов.

История и культура западноукраинского народа выступают в его трудах не изолированно, а в соотношении с историей и культурой западного, восточного и южного славянства. Заслуживают внимания исследователей общеисторические труды Я. Ф. Головацкого — от ранних его «Заметок по истории Галичины», хранящихся в архиве Срезневских (Москва, ЦГАЛИ), написанных в 30—40-е годы, до большой статьи «Карпатская Русь. Историко-географический очерк», опубликованной в 1875 г. в Москве.

Насыщенность фактическим материалом сочется в этих трудах с постановкой важных проблем славянского этногенеза и этнической общности славян. В духе передового славяноведения той эпохи он доказывал необходимость включить историю славянских народов во всемирно-исторический процесс.

Русскому читателю эти работы открывали малоизвестную область исторический жизни «единоплеменного, единокровного, единоверного» западноукраинского народа, а в соотечественниках они будили патриотические чувства. Ученый пользуется каждой возможностью вызвать в «русских людях» сочувствие к своей попробованной Родине, призывает их включиться «в круг своей деятельности и умственно-литературного общения»<sup>4</sup>.

Самые, казалось бы, далекие от современности темы своих исследований Я. Ф. Головацкий наполняет острым публицистическим содержанием. Страстным протестом против разрушения памятников истории проникнута его статья «Об исследовании памятников русской старины, сохранившихся в Галичине и Буковине» (М. 1871). Она прежде всего и сегодня может служить путеводителем для археолога этих мест. Цель статьи — напомнить о находящейся под иноплеменным игом Родине, «о моей родной земле, незабвенной для меня Галичине». Со скорбью он пишет об уничтожении памятников старины: «Все достояние князей наших расхищено, растеряно, попрано, погублено». Ученый призывает «поощрить и поддержать галицких ученых и любителей старины», мобилизовать силы для «критического, систематического исследования» славного и независимого исторического прошлого, которое, правда, предстает в несколько романтизированном освещении.

Одним из первых на западноукраинской земле Я. Ф. Головацкий обратился к изучению топонимики и использовал ее как средство для доказательства автохтонности населения Галичины и Закарпатья: «Все заселенные места, реки и горы, ручьи и холмы, ключи и естественные урочища, поля и луга, словом,— все дышит и звучит чистым славянством».

Большой и кропотливый труд его — «Географический словарь западнославянских и югославянских земель и прилежащих стран» (Вильна, 1884) — справедливо был признан в свое время полезной и важной книгой.

Отдельные факты в работах ученого выявляют глубокие корни славянского единства в далеком прошлом. Так, например, он напоминает в одной из работ «об охотности русинов Львовской области соучаствовать в Гуситской войне»<sup>6</sup> и о большом «сообщении» с чешским народом в те времена. В другом месте<sup>7</sup> рассказывает о галичанине Петре, который «нашел дружественный прием у русских братьев на дальнем Севере», в Москве, и заботился об укреплении Русского государства во времена татарского нашествия. Он вспоминает о Петре I, который в бытность свою во Львове в 1707 г. дал письменное дозволение беспошлино продавать церковные книги по всей Украине. Таких примеров можно привести множество.

Глубоко содержательны, вдохновлены горячим патриотическим чувством труды Я. Ф. Головацкого по истории культуры и просвещения Галичины. Современными исследователями забыты такие его работы, как «Исторический очерк основания Галицко-Русской Матицы» (Львов, 1850), «Начало и действование Львовского ставроигийского братства по историко-литературному отношению» (Львов, 1860), «О первом литературном движении русинов в Галиции со времен австрийского владения в той земле» (Львов, 1865), «Львовское ставроигийское братство и князь Острожский» (1866), «Несколько слов о Библии Скорины и о рукописной русской библии из XVI столетия, обретающейся в библиотеке св. Онуфрия во Львове» (Львов, 1865), «Порядок школьный, или устав Ставроигийской греко-русской школы во Львове» (Львов, 1863), «Образование славяно-русской письменности и народного образования в Червонной Руси до занятия Галиции и Лодомерии австрийским кордоном» (Львов, 1889) и мн. др. Эти работы несут в себе заряд большой познавательной и воспитательной силы и являются собой своего рода культурно-историческую энциклопедию Галичины.

Я. Ф. Головацкого радовали успехи развития славянской культуры, о чем он писал в 1878 г.: «Колесо истории и развития славянства движется с неимоверной быстротой»<sup>8</sup>.

Источником этого движения Головацкий считает неиссякаемую творческую энергию народов. Эта мысль определяет пафос статьи «Исторический очерк основания Галицко-Русской Матицы»: «Гляньмо на вспаки — перед четвертью веку були Чехове,

Сербове, Иллиры, майже в дитинячих пеленах, а ныне взросли на сильных мужей»<sup>9</sup>. Но развитие культуры и просвещения славян имеет и глубокие, давние традиции. Отвечая тем, кто приижал достоинство народа, он писал: «Наша словено-русская литературная деятельность, имеючи начало и источник свой в ста-ринной письменности Южной Руси, тягнулась непреторженным пасмом», а не возникла в 1848 г. благодаря разрешению австрийских властей. В воссоздании картины духовной жизни Западной Украины XVI—XVII вв. заключается пропагандистская задача Я. Ф. Головацкого.

«...Славился наш Львов просвещенными людьми не только помежи духовенством, но и между почетными мещанами». Но развитие просвещения народа сопровождалось великими трудностями, в условиях господства «надменной шляхты и латинского духовенства». «Первые труженики в науке и обучении юношества» ценой самоотверженных усилий отстаивали национальную культуру. Он пишет о равнодушии правительства, никогда не пожертвовавшего «ни гроша» на народное образование. В этих исследованиях особенно выявляется социальное и демократическое начало во взглядах ученого. Он дает характеристику настроений различных слоев, их социального поведения.

Дворянство «отошло в чужой обоз», т. е. изменило народности. «Сельский народ» «беззащитен, порабощен, обременен налогами» и «предан презренному невежеству». Но благодаря самоотверженной борьбе просветителей не замерла культура. Центром ее в XVI в. становятся львовское ставропигийское братство, «славное на весь мир», его школы и типографии. Рассматривая историю братства, Я. Ф. Головацкий ставит проблему взаимовлияния культур: «Школа наша ставропигийская была источником наук для всего Северо-Востока Европы, ибо из Киева, куда науки пересажены из Львова, распространились они по Великой России»<sup>10</sup>.

На страницах этих работ выступают рядовые участники культурного процесса — львовские мещане, учредители школ и типографии. Определяется значение деятельности духовных писателей, ученых, проповедников. Л. Барановский, И. Голятовский, С. Коссов, К. Т. Ставровецкий, И. Борецкий, Г. Конисский и многие другие внесли свой вклад в дело защиты национальной культуры и языка. Памва Бердында и Мелетий Смотрицкий способствовали развитию языковедения во всей Европе. Выходцы из Галичины и Закарпатья были участниками культурного процесса в России — такова роль Ф. Прокоповича, С. Яворского, И. Земанчика, П. Лодия.

Демократический характер братства, его гуманизм, установление культурных связей с другими городами Украины и России справедливо рассматриваются ученым как его великая историческая заслуга, о которой следует вспомнить потомкам «в оныи смутныи времена, когда любовь к народности в высших слоях

начала остыгать, когда правительство ничем не заботилось об образовании народа»<sup>11</sup>.

Крупным событием в истории славянских народов был переход от рукописного к полиграфическому способу воспроизведения информации. Ждут своего исследователя труды Я. Ф. Головацкого по истории славянского первопечатания. Это и перечисленные ранее статьи, и отдельная работа о Ш. Фиоле<sup>12</sup>.

В этих трудах содержатся ценнейшие сведения о биографии и деятельности Ивана Фелорова и его сына, князе Острожском, Ф. С. Скорине и др. При этом все свидетельствует о понимании труднейших обстоятельств развития славянского книгопечатания. В основе этих разысканий содержится мысль о том, как оно мужало, крепло и превращалось в крупную историческую силу. Мысль о создании сводного каталога славянских изданий, четко выраженная в статье-предисловии «Дополнение к очерку славяно-русской библиографии В. М. Ундорского» (СПб., 1874), близка современным задачам славянского книгопечатания.

Далекое прошлое в трудах ученого связано с насущными потребностями времени, которое, справедливо полагал Головацкий, требует прежде всего объединения сил. Обращаясь к молодому поколению славистов, он пишет: «...Нужно согласия и единодушия всех членов русской Родины»<sup>13</sup>.

Задача пропаганды научных и литературных достижений славянских народов лежит в основе деятельности Головацкого-библиографа. Информация о книгах на славянских языках составляет важнейшее звено его научной и общественной деятельности. Те же цели преследует он в своих неустанных заботах о книжном обмене. В своих письмах он сетует на «непростительную заключительность России» и провинциализм своих земляков. Его «Записка о необходимости снабжения публичных и других библиотек в России книгами на славянских языках» (М., 1872) посвящена той же задаче «скрепити теснейший союз умственных сил наших для образования и просвещения милого нам народа».

Активный участник культурно-просветительного общества Галицко-Русской Матицы, Ф. Головацкий до конца жизни осуществляет важный пункт программы: «...Звертати также на словесны дела великоруссов, поляков, чехов, словаков и южных славян»<sup>14</sup>. Он был составителем учебников, хрестоматий, читанок для гимназий и университетов. Ознакомление с изданиями Головацкого дает возможность оценить его роль популяризатора лучших образцов древней и новой литературы. Он мечтает в Галичине об издании «сборника малороссийских сочинений нового периода». В «тюрьме народов», как называли Галицию, где жестоко преследовалась русская книга, он смело выступает как пропагандист украинской и русской литературы. Я. Ф. Головацкий знакомит западноукраинского читателя с произведениями Квитки-Основьяненко и Гоголя, Пушкина и Шевченко, И. Котляревского и Лермонтова. В русской литературе, которая, сле-

дует отметить, рассматривалась им несолько односторонне, он видел «источник живой воды, которым наповалась жаждущая Галицкая Русь». Первый биограф М. Шашкевича и И. Вагилевича, Я. Ф. Головацкий в России выступает как популяризатор западноукраинской литературы и знакомит русского читателя с творчеством поэтов Галичины и Закарпатья. В издании Н. В. Гербеля «Поззия славян» он помещает стихотворения М. Шашкевича, Н. Устиновича, А. Духновича, А. Павловича и мн. др.

Однако, пропагандируя взаимообщение культур, он предостерегает от опасности рабского поглощения одной культуры другой: «Заемствование может быть полезно,— писал он,— только при самостоятельности умственной жизни»<sup>15</sup>.

Я. Ф. Головацкий обращается к литературе западных и южных славян, выступая как переводчик и критик, популяризатор славянских литераторов, поэтов, ученых.

В научных трудах Я. Ф. Головацкого на темы истории, народного творчества, этнографии и фольклористики постоянно даются ссылки на польские, чешские, словацкие, русские источники. З. Ходаковский, Ф. Миклошич, Добровский, И. И. Срезневский помогают ученому в утверждении международного авторитета славянской науки и зримо воплощают его главную идею «общения между соплеменными славянскими народами».

Многолетний труд Я. Ф. Головацкого «Народные песни Галицкой и Угорской Руси» обратил внимание всей славянской общественности на народное творчество Галичины и Закарпатья и доказал, что, несмотря на тяжкие условия общественного быта, народ сохранил свое духовное богатство и память о родстве со всей Русью.

В 30—80-е годы Головацкий был живым звеном во взаимоотношениях западного и восточного славянства. Ему принадлежит честь защиты кириллицы во время «азбучной войны» в Галичине в конце 50-х годов. Он был деятельным участником этнографической выставки в Москве в 1867 г. Благодаря его организаторскому таланту отдел Галичины и Закарпатья был достаточно широко представлен на выставке. Во время Славянского съезда в Москве галицкий ученый-славист выступил перед студентами Московского университета, провозгласив деятелем славянской науки того, кто утверждал «новые начала единоплеменности и родства». Профессор, декан, ректор Львовского университета в 40—60-е годы, он безбоязненно, несмотря на преследования, выступал в газетах и журналах, перед львовскими студентами с пропагандой идей научного и литературного сотрудничества.

Председатель Археологической комиссии в Вильне, Головацкий в 70-е годы участвовал в организации помощи жителям Боснии и Герцеговины.

Он горячо любил Россию, радовался успехам распространения русского языка в славянских странах, защищал его достоинство: «Ныне всякий образованный чех, мораванин, словинец, хорват

читает свободно по-русски, не говоря о русинах, сербах и пр»<sup>16</sup>. Головацкий придавал этому большое значение: «Тысячи познакомятся с русской литературой, для них перестанет русский язык считаться московским, а станет в их воображении, как должно быть, европейским».

Знаменательно его пожелание на новый, 1883, год в письме к А. В. Викторову: «Дай бог, чтобы он был счастливее и богаче происшествиями в пользу России и братских народов славян и чтобы мы дожили, наконец, до освобождения неосвобожденной Руси, и чтобы наслаждались в ней благами мира»<sup>17</sup>.

Мы дожили до времени, о котором мечтал Я. Ф. Головацкий, хотя славянские народы нашли к нему иные пути. В новых исторических условиях идея славянской взаимности получила принципиально новое звучание и воплотилась в жизнь в политике дружбы и взаимопомощи Советского Союза и стран социалистического содружества. Ленинский принцип историзма обязывает нас судить о Головацком с учетом сложности его биографии и исторических обстоятельств. Ход истории отверг ошибки ученого. Но нельзя забыть о большом вкладе замечательного славянского патриота в дело защиты и развития национальной культуры славянских народов, укрепления идей братства и сотрудничества.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Здесь и далее сохраняется правописание Я. Ф. Головацкого.

<sup>2</sup> Львовская государственная научная библиотека, рукописный отдел, архив Я. Ф. Головацкого, 60, № 846.

<sup>3</sup> «Львовская русская епархия сто лет тому назад». Львов, 1860; «Попытки и старания римской курии ввести греко-православный календарь у славян православных и униатов». СПб., 1877; «Монастыри Юго-Западной России вообще и Креховский монастырь». СПб., 1886; «Протест Пинского православного духовенства 1595 г. против введения униатства». Вильна, 1888; статьи об иезуитах и др.

<sup>4</sup> «Об исследовании памятников русской древности...», стр. 1.

<sup>5</sup> «Карпатская Русь. Историко-этнографический очерк». ЖМНП. 1875, CL XXIX, стр. 350.

<sup>6</sup> «Несколько слов о библии Скорины и о рукописной русской библии из XVI столетия, обретающейся в библиотеке Св. Онуфрия во Львове». Львов, 1883.

<sup>7</sup> «Из настоящих и давних времен». Львов, 1883.

<sup>8</sup> Всесоюзная государственная библиотека им. В. И. Ленина, отдел рукописей. Письма Я. Ф. Головацкого Н. А. Попову, Фонд Попова Н. А., п. 7, д. 35.

<sup>9</sup> «Библиография Галицко-Русская с 1772 до 1848 года». — «Галичанин», 1863, кн. I, вып. III—IV, стр. 310.

<sup>10</sup> «Школьный устав Ставро-Пигийской школы во Львове 1586 г.». Львов, 1863, стр. 3.

<sup>11</sup> «Начало и действие Львовского ставро-Пигийского братства», стр. 36.

<sup>12</sup> «Sweipolt Fiol und seine kirilische Buchdruckerei in Krakau vom Jahre 1491». Wien, 1876.

<sup>13</sup> «О первом литературном... движении русинов...», стр. 38.

<sup>14</sup> Предисловие к ж. «Галичанин», 1865, кн. I, вып. I, стр. 188.

<sup>15</sup> «О первом литературном... движении русинов...», стр. 37.

<sup>16</sup> ГБЛ, отдел рукописей, ф. Викторова А. Е., п. 17, д. 66.

<sup>17</sup> Там же, ф. Попова Н. А., п. 7, д. 3.

Л. П. КОНДАУРОВА  
ВАЦЛАВ ГАНКА И РОССИЯ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГО ПЕРЕПИСКИ)

Имя Вацлава Ганки (1791—1861 гг.) тесно связано с историей чешского национального Возрождения. Оно широко известно современному ученому миру установлением чешско-славянских научных связей.

В. Ганка не был выдающимся ученым, он не оставил после себя ни одного крупного сочинения, которое бы обладало большой научной ценностью. Однако вся его деятельность была подчинена высокой патриотической цели — способствовать возрождению чешского народа, его языка и культуры.

Своей огромной прижизненной славой В. Ганка был обязан «открытием» знаменитых «памятников древнечешской литературы» — Краледворской и Зеленогорской рукописей. Виртуозные подделки (сделанные совместно с Й. Линдой) не были раскрыты при жизни Ганки и способствовали известной дезориентации исторической и лингвистической наук. Однако эти рукописи сыграли большую роль в воспитании патриотических чувств, национального самосознания чешского народа в литературном развитии.

Что касается установления чешско-русских научных контактов, то здесь заслуги В. Ганки как одного из зачинателей этих контактов неоспоримы.

Большое значение для установления связей со славянскими народами имело положение В. Ганки в чешском Национальном музее, где он занимал должность хранителя библиотеки в течение сорока лет, а также практическое знание им всех славянских языков.

Славянские гости, посещавшие этот крупнейший центр чешской культуры, с радостью находили в лице В. Ганки друга, который с большой охотой разговаривал с ними на их родном языке. К личным связям прибавились связи письменные и литературные. Они не имели столь крупного научного значения, как славянская корреспонденция И. Добровского или П. Шафарика, но их роль в организации практических контактов между славянами была огромной.

Основным источником изучения связей В. Ганки с Россией является его обширная корреспонденция со славянскими учеными. Значительная часть этих писем была опубликована русским ученым В. А. Францевым в 1905 г. в Варшаве под названием «Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель». Хронологи-

чески письма охватывают более четырех десятилетий. Среди корреспондентов Ганки — славянские ученые, литераторы, государственные деятели, лица самого разного общественного положения.

В. А. Францев собрал в свое издание письма 173 корреспондентов. Среди них — 98 русских ученых, государственных и общественных деятелей. Русская часть славянской корреспонденции Ганки представлена наиболее богато. Самую активную переписку Ганка вел с первым поколением славяноведов в России: П. И. Кеппеном (52 письма за период с 1823 по 1858 г.), И. И. Срезневским (53 письма, 1840—1860 гг.), О. М. Бодянским (30 писем, 1841—1859 гг.).

Состояли в переписке с Ганкой и представители второго поколения русских славяноведов, где на первое место выдвигаются А. Ф. Гильфердинг, а также М. М. Стасюлевич, М. И. Сухомлинов, А. Н. Пыпин, В. И. Ламанский и др.

Политические взгляды В. Ганки отличались русофильством, постепенно переросшим в царофильство и резко отличавшимся от прогрессивного русофильства, например, П. Шафарика. Поэтому не удивительно, что среди его русских друзей был автор пресловутой формулы «православие, самодержавие, народность» граф С. С. Уваров, в переписке с которым Ганка состоял с 1838 по 1850 г., а также А. С. Шишков и М. П. Погодин. Характерно, что среди русских писателей-корреспондентов Ганки мы встречаем П. А. Вяземского, И. С. Аксакова, Ф. И. Тютчева.

Всю корреспонденцию Ганки с Россией можно разделить на две части: первая, меньшая, — это переписка Ганки с официальными учреждениями России (Российской академией наук, министерством просвещения и др.), вторая, большая часть, — переписка Ганки с отдельными русскими учеными, писателями, государственными деятелями и т. д.

Однако для более полного уяснения сущности русских связей Ганки и уточнения некоторых деталей интересным представляется неопубликованный материал, который был привлечен для настоящей статьи. Речь идет о письмах самого Ганки и переписке русских ученых и общественных деятелей между собой. В этой корреспонденции, хранящейся в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, также имеется немало сведений по интересующему нас вопросу.

Первым русским, с которым В. Ганка вступил в активную переписку, был А. С. Шишков, писатель, президент Российской академии наук. Поводом для непосредственного обращения Ганки к Шишкову было издание последним переведенной им на русский язык «Краледворской рукописи» в «Известиях Российской академии» в 1820 г.<sup>1</sup> В знак благодарности Ганка послал Российской академии четыре томика «Starobylá skladanie»<sup>2</sup>. Российская академия, по предложению Шишкова, в признание заслуг Ганки в собирании материалов, касающихся древнечешской словесности, наградила Ганку серебряной медалью,

С 1824 г. А. С. Шишков, будучи министром народного просвещения, повел разговор об открытии славянских кафедр во всех русских университетах и о приглашении славянских ученых из-за границы для занятия мест на этих кафедрах.

Первое предложение относительно приглашения в Россию было сделано Ганке. Посредником переговоров между Ганкой и Россией был П. И. Кеппен, который в письме от 18 ноября 1826 г. извещал Ганку о предполагаемом открытии кафедр славянской литературы, спрашивал мнение Ганки о сотрудниках, которые могли бы занять места на указанных кафедрах, и сделал Ганке предложение переселиться в Россию<sup>3</sup>.

В 1827 г. министерство народного просвещения поставило вопрос о необходимости повышения уровня изучения славянских языков в России и приглашения Ганки, Шафарика и Челаковского занять кафедры по славянской литературе и истории, причем для Ганки предназначалась профессура при Петербургском педагогическом институте. Однако на этом дело и остановилось. Николай I отклонил проект А. С. Шишкова, так как государственный бюджет того времени не предусматривал подобные расходы на образование в России.

Но в 1828 г. в России встал вопрос уже не о создании славянских кафедр при университетах, а о славянской библиотеке при Российской академии и составлении сравнительного словаря славянских наречий при академии. В качестве хранителей этой библиотеки было решено пригласить тех же чешских ученых — Ганку, Шафарика, Челаковского — и вменить им в обязанность составить славяно-русский словарь.

Уже в феврале 1830 г. Ганка получил письмо от Кеппена с официальным извещением об условиях приглашения в Россию, а также о том, что в Петербурге, возможно, откроется при университете кафедра славянской филологии, профессором которой мог бы стать один из библиотекарей академии<sup>4</sup>.

Ганка с радостью встретил это известие Кеппена. В письмах к нему<sup>5</sup> и Шишкову<sup>6</sup> Ганка изъявил свою готовность работать в области славянской филологии и просил Шишкова вспомнить о нем в случае открытия кафедры славяноведения в Петербургском университете. Одновременно он известили Шишкова о необходимости подумать о немедленной покупке книг для будущей библиотеки.

Однако из письма М. М. Сперанского к Ганке мы видим, что у Ганки созрел новый план: остаться в Праге и на месте, имея необходимую литературу, работать над всеславянским словарем<sup>7</sup>.

Окончательное решение не ехать в Россию Ганка принял в конце 1831 г. в связи с польским восстанием, когда русский царизм раскрыл свое истинное отношение к угнетенным славянским народам.

С другой стороны, в России не торопились с учреждением

славянской библиотеки при академии: не было ни подходящего для библиотеки здания, ни средств на пополнение ее книжного фонда.

Таким образом, переезд Ганки в Россию не состоялся. Но, несмотря на это, его связи с Российской академией не прекратились, а продолжались еще долго и состояли в основном из посылки славянских книг, в которых нуждалась академическая библиотека.

В 1836 г. Российская академия наградила Ганку за труды в области славянской филологии золотой медалью, в 1838 г. выдала денежное пособие в размере 3 тыс. рублей.

В 1840 г. Петербургская академия наук избрала Ганку членом-корреспондентом по разряду литературы славянских народов и истории литературы.

В 1841 г. Российская академия была присоединена к Академии наук в виде особого отделения русского языка и словесности, с которым Ганка поддерживал контакты до последних лет своей жизни.

В. Ганка был почетным членом многих научных учреждений России: Петербургского университета, московского Общества истории и древностей российских, московского Общества любителей русской словесности, одесского Общества любителей истории и древностей, Виленской археологической комиссии, Русского географического общества и т. д.

Имя Ганки было широко известно в России. Многие русские журналы приглашали Ганку принять участие в их изданиях: прислать различные сведения, отзывы, материалы и т. д. К таким журналам относятся «Журнал министерства народного просвещения», «Русский вестник», «Денница», «Русская беседа», «Русское слово», «Известия Имп. академии наук», «Парус», «Вестник промышленности» и т. д.

Первым русским ученым, с которым Ганка познакомился лично, был П. И. Кеппен, совершивший в 1823 г. путешествие на славянский Запад для изучения культуры, истории и языков славянских народов. Переписка Ганки с Кеппеном продолжалась с 1823 по 1858 г. и имела для Ганки большое значение, особенно в первые десять лет, когда Кеппен был для Ганки едва ли не единственным представителем научной России.

В 1823—1824 гг. Ганка получил от Кеппена посылки с книгами, среди которых, в частности, были «История российской словесности» Н. Греч, «Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник» А. С. Пушкина, «Академический словарь»<sup>8</sup>.

В 1825—1826 гг. Кеппен издавал один из первых библиографических журналов в России — «Библиографические листы». Получая журнал, Ганка имел возможность знакомиться со всеми новинками русской литературы в различных областях науки.

В свою очередь Ганка посыпал Кеппену литературные труды деятелей чешского Возрождения, что имело очень большое зна-

чение, так как русско-чешские научные связи только начинали развиваться.

У Ганки сложились тесные дружеские отношения с М. П. Погодиным, посетившим Прагу во время заграничной поездки 1835 г. Погодин хлопотал о приобретении книг для славянской библиотеки, которая создавалась при Московском университете. У Ганки была небольшая библиотека, насчитывавшая около 800 произведений старой и новой чешской литературы, которую он намеревался продать непременно в Россию. Переговоры Ганки с Погодиным относительно продажи библиотеки велись до 1840 г., но не дали результатов, так как Московский университет не имел в то время средств для покупки славянских книг, и приобретение их не состоялось<sup>9</sup>.

О. М. Бодянский также вел переговоры с Ганкой о покупке его библиотеки для Московского университета. Но пока Ганка собирался отправить книги в Москву, С. С. Уваров, находившийся в это время в Праге, перекупил библиотеку Ганки для Петербургского университета.

Чтобы не оставаться в долгу перед Бодянским, Ганка посыпал ему книги по каталогу, составленному Бодянским. Так, в 1843 г. было послано четыре ящика книг<sup>10</sup>. О том, как Бодянский ценил услуги Ганки в пересылке славянских книг, видно из следующего письма Бодянского: «...Я не знаю, как и благодарить Вас... тем более, что вот уже пятый год тому как ничего не получаю из славянских произведений по ту сторону Карпат и Дуная...»<sup>11</sup>.

Тесные связи установились у Ганки с И. И. Срезневским, командированным, как и Бодянский, в славянские земли для подготовки к научно-педагогической деятельности. Путешествуя в 1841 г. по землям южных и западных славян, Срезневский присыпал Ганке обширный материал в письмах, касающийся истории, этнографии, литературы и искусства южных и западных славян. Эти письма Ганка публиковал на страницах «Журнала Чешского музея». Публикация их имела большое значение, так как знакомила чешское общество с родственными ему славянскими народами.

Будучи профессором Харьковского, а потом Петербургского университетов, Срезневский посыпал Ганке письма, представляющие собой своеобразную летопись русской научной жизни. В них давалась подробная характеристика русской литературы, славянской филологии в России, деятельности различных русских научных обществ, сообщались сведения о трудах русских филологов, историков, писателей, поэтов. Ганка печатал эти письма в «Журнале Чешского музея», и таким образом чешское общество получало постоянную информацию о последних достижениях русской науки, новинках русской словесности, фактах общественной жизни и т. д. Но Ганка установил научные контакты не только с теми русскими учеными, которые приезжали в Прагу. Он находил-

ся в переписке с целым рядом русских ученых: историками — С. В. Ешевским, Н. Д. Иванишевым, М. И. Касторским, А. Н. Поповым, археологами — А. В. Ашиком, А. Б. Лакиером, топографами П. А. Лукашевичем, Д. О. Шеппингом, филологами — Я. Ф. Головацким, И. И. Давыдовым, А. И. Селиным, путешественником Е. П. Ковалевским и т. д.

В своих письмах русские ученые обращались к Ганке по самым различным вопросам. Чаще всего просили Ганку прислать сведения о состоянии чешской литературы, о трудах самого Ганки. Но были и вопросы более узкого характера. Так, археолог Ашик обратился с просьбой написать отзыв о его «Боспорском царстве» и раздать несколько экземпляров этой книги в чешские и немецкие библиотеки. Этнограф Шеппинг просил Ганку издать его «Рассуждения о русской мифологии» и исправить черновые записи этого труда.

Своебразной страницей истории научных связей Ганки с русскими учеными был обмен книгами, рукописями, монетами. Постоянной заботой Ганки было пополнение библиотеки Чешского музея русскими книгами. Литература, которую Ганка получал из России, была очень разнообразной. Преобладали издания по истории и филологии, по русской грамматике и фольклору, сборники народных песен и публикаций летописей, общие курсы и отдельные монографии по вопросам филологии и истории русского народа.

Редкое письмо Ганке из России не содержало известий о посылке книг. Среди книг, посланных Ганке, «Русская грамматика» А. Востокова, «Обозрение мифологии славян российских» П. Строева, «Полное собрание русских летописей» А. Оленина, «Русская геральдика» А. Лакиера, «Исторический очерк серболужицкой литературы» и «Мысли об истории русского языка» И. Срезневского, «Свод законов Российской империи» М. Спенсера, «История России с древнейших времен» С. Соловьева, первые русские газеты 1703 г., сочинения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Веневитинова и т. д.

Ганка получал из России следующие журналы: «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Библиотека для чтения», «Северная пчела», периодические издания различных научных обществ и министерств России.

В. Ганка также стремился высылать русским коллегам интересующие их материалы: книги, монеты. После своего избрания в 1850 г. почетным членом Публичной библиотеки в Петербурге Ганка неоднократно посыпал туда в дар новейшие работы по истории и славяноведению, издававшиеся в Праге. Директор Публичной библиотеки барон М. А. Корф писал Ганке: «...Мы давно уже считаем Вас в числе самых щедрых наших благотворителей...»<sup>12</sup>.

Ганка посыпал также книги в библиотеку Карамзина в Симбирске<sup>13</sup> и в одесскую библиотеку.

Переправка книг из России в Прагу и обратно была делом нелегким, так как регулярные книготорговые связи в то время отсутствовали. Ганка был в контакте с книготорговцем Кронбергером, который покупал книги в лейпцигской русской книжной лавке, имевшей связи уже с петербургскими книгопродавцами.

Ганка посыпал в Россию не только произведения деятелей чешского Возрождения (Добровского, Палацкого, Юнгмана, Шафарика, Челаковского, Коллара), но и старую чешскую литературу. Особенным спросом пользовался «Журнал Чешского музея».

Ганка был для русских ученых главным посредником в деле приобретения славянских книг за пределами Чешских земель и пересылки книг из России в другие славянские страны. Так, в письмах из России можно встретить такие просьбы: «...Не можете ли Вы при случае отправить два пакета с четырьмя книгами Московитянина: один — к владыке Черногорскому, другой — в Дубровник...»<sup>14</sup>.

Подводя итог, следует констатировать, что переписка Ганки с русскими учеными носила в основном деловой, практический характер. Корреспонденты редко обсуждали чисто научные вопросы. Обе стороны были в первую очередь заинтересованы в получении книг и сведений по отдельным вопросам славистики, в организации публикаций и т. д. Корреспонденты почти не обсуждали политических проблем.

Такое содержание писем Ганки и русских ученых вполне объясняется характером деятельности Ганки и его ролью в чешском Возрождении. Он был главным образом организатором межславянских связей в первой половине XIX в., пропагандистом и популяризатором достижений молодой тогда еще славистики.

Не отрицая недостатки в деятельности Ганки, нельзя не поставить ему в заслугу ту кипучую энергию, которую он проявил в сношениях с русским образованным миром.

Его практическая работа по распространению сведений о русской литературе среди западных славян и о западных славянах в России играла огромную роль в деле развития и укрепления научных и культурных связей западных славян с Россией, в особенности чешско-русских связей. Непосредственное знакомство русских ученых с чешской действительностью, изучение истории чешского народа, его культуры, получение через Ганку информации о состоянии интеллектуальной жизни других славянских народов — все это оказало положительное влияние на развитие славицноведения в России.

Связи Ганки с Россией благоприятно отразились и на чешском национальном Возрождении. Они служили развитию в чешском обществе чувства славянской взаимности, укреплению дружеских отношений чехов с Россией и ее народом, способствовали использованию достижений русской литературы, искусства, науки в процессе формирования чешской национальной культуры.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> «Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель». Варшава, 1905, стр. 1192.
- <sup>2</sup> Там же, стр. 1194.
- <sup>3</sup> Там же, стр. 458—460.
- <sup>4</sup> Там же, стр. 473—475.
- <sup>5</sup> Там же, стр. 471.
- <sup>6</sup> Там же, стр. 1205—1206.
- <sup>7</sup> Там же, стр. 940.
- <sup>8</sup> Там же, стр. 444—446.
- <sup>9</sup> Письмо В. Ганки М. П. Погодину от 28.II 1836. ГБЛ, отдел рукописей, ф. Погодина 2, к. 52, д. 18, лл. 1—2.
- <sup>10</sup> Письмо В. Ганки О. М. Бодянскому от 10.X. 1843. ГБЛ, отдел рукописей, ф. 203, п. 56, д. 31, л. 1.
- <sup>11</sup> «Письма к Вячеславу Ганке...», стр. 147.
- <sup>12</sup> Там же, стр. 531.
- <sup>13</sup> Письмо В. Ганки М. П. Погодину от 30.XII 1847. ГБЛ, отдел рукописей, ф. Погодина 2, д. 102, л. 23 об.
- <sup>14</sup> «Письма к Вячеславу Ганке...», стр. 845.

## СОДЕРЖАНИЕ

От редактории . . . . .	3
I	
<i>В. И. Злыднев</i>	
Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (итоги и перспективы исследования) . . . . .	7
<i>Л. А. Обушенкова</i>	
Влияние польского национально-освободительного движения на развитие национального самосознания (конец XVIII—60-е годы XIX в.) . . . . .	20
<i>А. С. Мыльников</i>	
«Чешское» и «моравское» общественное сознание в XVIII в. К вопросу о вызревании национального самосознания и роли исторической альтернативы в процессе формирования нации . . . . .	41
<i>Ю. И. Смирнов</i>	
О народном самосознании (по фольклорным материалам) . . . . .	55
II	
<i>И. А. Богданова</i>	
Введение в проблематику становления словацкой национальной культуры . . . . .	63
<i>М. Б. Богданов</i>	
Исходные основы и главные тенденции формирования сербской национальной культуры . . . . .	72
<i>Ю. П. Гусев</i>	
Роль литературы в общественно-политической жизни Венгрии конца XVIII — начала XIX в. . . . .	82
<i>Ю. А. Кожевников</i>	
Формирование румынской нации и становление реализма в румынской литературе . . . . .	93

<i>И. Ф. Бэлза</i>	
Школа Эльснера и ее роль в формировании польской национальной культуры . . . . .	104
<i>И. И. Свирида</i>	
Некоторые особенности польской художественной жизни первой половины XIX в. . . . .	122
<i>Ю. И. Ритчик</i>	
Театральный вопрос в чешском национальном движении в 50 — начале 60-х годов XIX в. . . . .	136
<i>Г. Л. Маньковская</i>	
К изучению вопроса о формировании албанской национальной культуры . . . . .	149
<i>Л. Н. Титова</i>	
Из наследия словацкого просветителя Ю. Рибай . . . . .	155
III	
<i>В. Матула, И. В. Чуркина</i>	
Архив М. Ф. Раевского как источник по истории связей между славистами России и Австрии (40—70-е годы XIX в.) . . . . .	166
<i>M. Ю. Досталь</i>	
Чешские связи И. И. Срезневского в 60-е годы XIX в. . . . .	179
<i>T. В. Полянича</i>	
Я. Ф. Головацкий (1814—1888) — пропагандист славянской культуры . . . . .	195
<i>Л. П. Кондаурова</i>	
Вацлав Ганка и Россия (по материалам его переписки) . . . . .	202

**Культура и общество  
в эпоху становления наций**  
**(Центральная и Юго-Восточная Европа  
в конце XVIII — 70-х годах XIX в.)**

*Утверждено к печати  
Институтом славяноведения и балканистики  
Академии наук СССР*

Редактор издательства *A. E. Сидоренко*  
Художественный редактор *B. Н. Тикулов*

Художник *L. A. Грибов*  
Технический редактор *F. M. Хенок*

Сдано в набор 27/VIII 1973 г.  
Подписано к печати 29/XII 1973 г.  
Формат 60×90<sup>1/16</sup>. Бумага типогр. № 1. Усл. печ. л. 13,5.  
Уч.-изд. л. 14,8. Тираж 1750. Т-16299.  
Тип. зак. 2858. Цена 93 коп.

Издательство «Наука»  
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21  
2-я типография издательства «Наука»  
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

93 EOU.

КУКУШКА И ОБИЛЕСТВО

